
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОГ МОЛЧАТЬ...

*Современники о выдающемся борце за Права Человека
генерале Петре Григоренко*

(в двух частях)

Часть первая

**ХАРЬКОВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2015**

УДК 821.161.1'06(477)-94:929Григоренко](082)
ББК 84(4Укр=Рос)6-442я43
Ч-39

Художник-оформитель
Б. Е. Захаров

Под общей редакцией
А. П. Григоренко



Эта публикация печатается
при финансовой поддержке Правительства Швеции.
Взгляды и интерпретации, представленные в этом издании,
не обязательно отражают позицию
Правительства Швеции

Человек, который не мог молчать... Часть первая /
Ч-39 под общ. ред. А. П. Григоренко; ООО «Харьковская правоза-
щитная группа». — Харьков: ООО «Издательство права челове-
ка», 2015. — 336 с. фотоилл.

ISBN 978-617-7266-17-3

В книгу включены избранные воспоминания различных людей об од-
ной из центральных фигур движения за права человека в несуществующем
более СССР. Это — ветеран Второй мировой войны, генерал, обществен-
ный деятель, правозащитник и публицист Петро Григорьевич Григоренко
(1907–1987). Покойный генерал получил широкую международную извест-
ность во второй половине XX века, стал единственным советским гене-
ралом, лишенным советского гражданства и наиболее известным в мире
украинским патриотом. Его деятельность и публицистика остаются во
многом актуальными и сегодня.

УДК 821.161.1'06(477)-94:929Григоренко](082)
ББК 84(4Укр=Рос)6-442я43

© by General Petro Grigorenko
Foundation, Inc., 2015
© Коллектив авторов, 2015
© А. П. Григоренко, переводы
с английского и украинского
языков, 2015
© Б. Е. Захаров, художественное
оформление, 2015

ISBN 978-617-7266-17-3

Часть
ПЕРВАЯ

Од молдаванина до фінна
На всіх языках все мовчить.
Бо благоденствує!

Тарас Шевченко

И в декабре не каждый декабрист.
Трещит огонь, и веет летним духом
Вот так сидеть и законный свист,
Метельный свист ловить привычным ухом.
Сидеть и думать, что вокруг зима,
Что ветер гнет прохожих, как солому,
Поскольку им недостает ума
В такую ночь не выходить из дома.

Феликс Кривин

От составителя

Предлагаемая читателю книга — сборник воспоминаний различных людей об одной из центральных фигур Движения за Права Человека в несуществующем более СССР — ветеране Второй Мировой Войны (ВМВ), генерале, публицисте и общественном деятеле Петре Григоренко. Подавляющее большинство авторов лично знали покойного генерала. Исключения из этого правила сделаны для того, чтобы представить и точку зрения на общественную деятельность Петра Григоренко людей с ним не встречавшихся.

Первоначально предполагалось, что этот сборник будет опубликован к столетию со дня рождения П. Григоренко. Однако различные обстоятельства, включая продолжительную болезнь составителя, задержали выход книги более чем на пять лет. Срок в наш быстротекущий век достаточно значительный. За эти годы поколение молодых людей, не помнящих время коммунистического тоталитаризма, достигло зрелости и успело во весь голос заявить, что далеко не все их устраивает в режимах, установившихся на посткоммунистическом пространстве.

Новое поколение ищет ответов на то, каким должно быть их будущее, и каким путем к этому будущему идти.

В то же самое время стало очевидным, что посткоммунистическое общество зачастую имеет весьма смутное

представление о тех, кто противостоял молоху тоталитаризма, невзирая ни на драконовские репрессии, ни на клевету и шельмование в государственных средствах массовой информации. Даже прямые потомки правозащитников второй половины XX века имеют весьма туманное представление об этом беспрецедентном противостоянии, в чем я убедился в недавнем разговоре с двумя внучатыми племянниками. Параллельно с этим в последнее время оживился и интерес к недавнему прошлому, равно как и возможным урокам из него для современного поколения.

Все это дает основание думать, что настоящий сборник не только не потерял затребованности, а скорее такая востребованность только возросла. Не в последнюю очередь убежденность в своевременности и актуальности публикации правдивой информации о деятельности правозащитников прошлого столетия подкрепляется резким всплеском гражданского самосознания на посткоммунистическом пространстве. Я глубоко убежден, что передача правдивой истории противостояния тоталитаризму нынешнему и будущим поколениям борцов за гражданские права — это моральный долг правозащитников недавнего коммунистического прошлого.

Хотя воспоминания современников покойного генерала сфокусированы на одной личности, составитель надеется, что собранные здесь материалы смогут отразить достаточно широкую картину противостояния свободного человеческого духа одной из самых жестоких репрессивных политических систем в истории человечества на последней стадии ее существования — в 60-х — 80-х годах XX века.

Вместе с тем, хотя предлагаемая книга посвящена одному человеку, каждый из представленных в ней авторов рассказывает одновременно и о себе, о своем давнем или недавнем прошлом. В их числе есть люди, для кого журналистика и писательство — про-

фессия, но есть и такие, кто впервые пробует себя в этом жанре. Порядок расположения материалов имеет, на мой взгляд, свою логику, как бы отражая групповой портрет той небольшой части советского общества, которую власти, не жалея бранных слов, именовали и отщепенцами, и антисоветчиками, и буржуазными националистами и т. д. Мне, однако, ближе точка зрения одного из этих «отщепенцев», известного барда и драматурга Юлия Кима, высказанная им в песне, сочиненной в январе 1968 г. в дни суда над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой:

«На тыщу академиков и член-корреспондентов,
На весь на образованный культурный легион
Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов,
Вслух высказать, что думает здоровый миллион».

К слову сказать, «больные интеллигенты» — это люди не только разной социальной принадлежности, но и разного образовательного уровня. Среди них были и представители рабочего класса, как Владимир Гершуни, Анатолий Марченко, Виктор Хаустов и Юрий Гримм. Были и профессиональные военные, как Петро Григоренко и Генрих Алтунян. Были председатель колхоза Иван Яхимович и академик Андрей Сахаров. Само собой разумеется, что после крушения коммунизма (интернационал-социализма) люди из этого слоя, являясь в каком-то смысле совестью нации, не смогли непринужденно влиться в толпу вчерашних комсомольских и партийных функционеров, в одно мгновение перекрасившихся в демократов. Они «не стали бороться за место под солнцем в политической элите, — как писал Григорий Померанц. — От нее пахло продажностью. Лидерами демократии стали приспособленцы, спокойно жившие с партбилетом в кармане и спокойно выкинувшие свои партбилеты. Соединение нравственности с политикой, как в польской «Солидарности», у нас не могло получиться.

Честных людей слишком долго уничтожали. И память о диссидентстве — чисто нравственная память. Остался образ гражданского мужества, парящего над страхом, гражданского возрождения традиции Николки, сказавшего царю Борису: не могу молиться за царя Ирода, Богородица не велит. А то, что к ядру диссидентства прилипают разные люди (любители сильных ощущений, авантюристы, провокаторы), не меняет дела: отступники были и среди ранних христиан».

Составитель сборника надеется, что читатели смогут лучше представить себе этих людей, оболганных и советской властью, и посткоммунистическими карьеристами, без зазрения совести присвоившими себе титул демократов и патриотов.

В то же время хотелось бы напомнить, что любые воспоминания — документ, как правило, неточный, где читатель может встретиться и с внутренними нестыковками (в том числе и в рамках данного сборника) и с фактами несогласованности с другими источниками. Я не ставил себе задачи корректировать представленные здесь воспоминания, хотя в отдельных (не во всех) случаях снабдил комментариями ряд более или менее известных фактов и уточнил некоторые даты.

Особо хотелось бы обратить внимание на разночтения в имени главного героя сборника. Некоторые авторы называют его Петро Григоренко, то есть так, как это имя звучит на его родном украинском языке, другие используют русифицированную форму, как было принято в советские времена. В конце концов я решил оставить и то, и другое написание. Ведь до поры до времени сам Григоренко терпимо относился к русификации своего имени. Однако с середины 70-х годов, и позднее в эмиграции, вернувшись к своим корням, он настаивал на аутентичном произношении и написании своего имени. Во всех официальных документах, полученных после лишения советского гражданства, он именовался

Петро (Petro Grigorenko¹). Следует также заметить, что разночтение распространяется и на отчество генерала. Строго говоря, отчество в украинском языке — это русизм, получивший широкое распространение. Тем не менее написание отчеств в украинском языке отличаются от русского написания, и пусть читателя не удивляет, что в текстах украинских авторов генерал именуется как Петро Григорович.

Следует заметить, что далеко не все известные или опубликованные воспоминания о Петре Григоренко вошли в этот сборник. Я пытался по возможности избежать повторов. В силу этого в сборник не вошли воспоминания даже некоторых близких Григоренко людей, таких как Лев Копелев, Раиса Орлова, Анатолий Левитин-Краснов, Борис Цукерман и др.

К сожалению, я не могу включить в этот сборник воспоминаний более старых друзей покойного генерала. Случилось так, что старое поколение ушло в небытие, не оставив воспоминаний, а когда они были живы я, к моему сожалению, не расспросил их. Были, разумеется среди них такие, кто испугался и постарался забыть, что когда-либо знал «мятежного» генерала, но не о них речь. Я сожалею что у меня нет воспоминаний верных фронтовых друзей покойного генерала: Саввы Печененко, Ивана Мануйлова, Ивана Леусенко, Павла Берсенёва. Нет у меня и воспоминаний друзей за пределами армии: Зинаиды (Зельды) Штейнберг, Ивана Зуева, Моисея Черненко, Анны Зубковой, Алексея Костерина и особенно Василя Теслы, который, возможно не в малой степени, помог Петру Григоренко разорвать психологические оковы коммунизма. Единственно, что осталось мне — это выразить им искреннюю благодарность.

¹ Тем, кому интересно, почему английское написание фамилии не соответствует официальной современной аллитерации украинских имен, я советую прочитать комментарий интернетной энциклопедии Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Grigorenko

И еще одно замечание, которым я хотел бы завершить это краткое предисловие. Дело в том, что многие авторы сборника по старой советской традиции пользуются термином «Великая Отечественная Война (ВОВ)», вошедшим в языковой обиход вскоре после ее окончания. Я, однако, считаю, что этот термин, искажающий истинное положение вещей, — порождение советской пропаганды, стремившейся замести следы участия СССР в качестве союзника Третьего Рейха в первые два года ВМВ. Кроме того, он принижает, на мой взгляд, роль западных союзников, сражавшихся на других театрах Мировой Войны, а также моряков Великобритании и США, которые, не щадя собственных жизней, доставляли важнейшие для страны грузы, поставляемые СССР по ленд-лизу: продукты питания, обмундирование, обувь, боеприпасы, автомобили («виллисы»), транспортные грузовики («студебекеры»), самолёты («дугласы» позднее переименованные в «ЛИ-2»), танки («ЭМКи») и прочая, и прочая. Наконец, тех иностранцев, что воевали на советско-германском фронте, как, например, французские летчики из эскадрильи Нормандия-Неман, и многих, многих других.

Вырывая из истории ВМВ военные действия на советско-германском фронте советская власть и её последователи вершат надругательство над памятью сотен тысяч погибших на фронтах советско-финской войны 1939–1940 годов, советско-японском фронте, аннексии балтийских стран, западной Украины, западной Беларуси, Тувы, Бессарабии и северной Буковины², не говоря уже о миллионах депортированных с аннексированных территорий.

² Известная статистика советско-финских потерь 1939–1940 годов: финские потери — 28 925; советские потери — 126 875. (источник — Colonel-General G. F. Krivosheev, “The Secret stamp has removed: casualties of the Soviet Armed Forces in wars and military conflicts”, Moscow, 1993). *Прим. А. Григоренко (А. Г.)*.

Опять же по следам коммунистической пропаганды некоторые авторы называют нацистов (национал-социалистов) фашистами, что не соответствует исторической истине. Фашизм — это разновидность социалистической доктрины, господствовавшей в Италии в 20–40 годах XX столетия. Фашизм был, если так можно выразиться, более мягкой формой тоталитаризма, чем нацизм (национал-социализм) и коммунизм (интернационал-социализм).

К сожалению, ограниченный объем сборника заставил меня пойти на сокращение некоторых воспоминаний, но это ни в коем случае не было проявлением какого бы то ни было вида цензуры с моей стороны. Следует также отметить, что украинское издание Сборника является наиболее полным; готовящееся российское издание представляет собой сокращённый вариант и имеет иное название. В то же время отдельные принадлежащие авторам оценки и суждения могут не всегда совпадать с мнением составителя сборника.

В заключение я хотел бы высказать глубокую признательность всем, кто согласился внести свою лепту в это мемориальное издание, в первую очередь авторам, предоставившим свои статьи для этого сборника, а также Джемме Квачевской-Бабич за редактирование и корректуру некоторых статей сборника, Римме Алтунян, Людмиле Терновской, Елене Копелевой, Майе Литвиновой, Светлане Ивановой, Марии Орловой, Раисе Руденко, Елене Боннэр, предоставившим для публикации материалы тех, кого с нами уже больше нет, словом, всем тем, кто в той или иной степени поддержал подготовку этого сборника. Особую признательность я выражаю Игорю Рейфу и Гульнаре Бекировой за редакцию ряда материалов сборника и дружеские советы по его компоновке.

В подготовке и финансировании как украинского, так и российского издания мемориальных сборников принимали участие

и многие другие люди, среди которых Евгений Захаров, Олексий Скорик, Дмитрий Зимин, Анна Пиотровская, Ирина Кантемирова, Александр Даниэль, Борис Альтшулер, Людмила Улицкая, Владимир Леви, Сергей Лукашевский и многие другие. Всем им я приношу свою искреннюю благодарность.

В заключение я хочу выразить глубокую благодарность Харьковской Правозащитной Группе, Фонду Развития Крыма и Правительству Швеции без поддержки которых этот сборник вряд ли смог бы быть опубликован в Украине.

Несколько слов дополнения. Окончательная рукопись Сборника была доставлена в издательство еще в прошлом году. Все исправления и согласования были выполнены в короткий срок, и уже весной я получил гранки для последней авторской проверки. Дальше же, назовите это судьбой если угодно, цепь непредвиденных и неподконтрольных мне событий катастрофически затянули мою работу. Только в конце ноября окончательная считка первой части была полностью завершена.

В те же самые месяцы в Украине происходили и происходят судьбоносные события. Коррупцированная администрация Президента Януковича попыталась вопреки воле украинского народа торпедировать европейское развитие страны, вызвав бурю негодования. После продолжительного мирного противостояния администрация приказала открыть огонь на поражение по безоружным демонстрантам. Под прицельным снайперским огнем было убито более ста человек — Небесная Сотня, как их теперь называют. Среди убитых украинские граждане из большинства областей Украины, включая Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Житомирскую и другие, Крымской АР, граждане России, Грузии, Беларуси, люди различных вероисповеданий. На варварскую расправу Украина

ответила многомиллионными демонстрациями протеста вынудив Януковича и Ко. бежать из страны и скрыться в России.

Однако праздновать победу пришлось недолго — контрреволюция пришла с севера и принесла с собой войну.

Первым актом российско-украинской войны стал захват Крымской Автономии «зелеными человечками» — людьми в военной форме без знаков отличия и указания национальной принадлежности. Эти военнослужащие были вооружены современным оружием более высокого качества чем оружие Украинской Армии, проводили оккупацию полуострова слаженно и профессионально. Сразу же Украинская сторона заявила, что это российские части особого назначения, но кремлевские «политтехнологи», не моргнув глазом заявили, что они ничего не знают и не ведают, а «человечки» — это крымские отряды самообороны. Впрочем, маскарад продолжался недолго: украинские вооруженные силы в Крыму были моментально заблокированы и не оказали, или не смогли оказать, сопротивление захватчикам. В спешном поряе сцену поддке было сформировано «новое» крымское правительство, проведен «референдум» и Крым «попросился» в состав России, а российский президент объявил, что до поры до времени «неизвестные» вооруженные силы в действительности регулярные российские войска. Затем на радости такой последовало кремлёвское объявление, что «Крым наш и всегда был нашим». Попирая все международные нормы Россия повторно аннексировала Крым полностью проигнорировав мнение коренного народа Крыма и украинских граждан иной этнической принадлежности.

Насчет того, что «Крым всегда был нашим» обозначает одно из двух: либо господин Путин был двоечником по истории, либо историю в школе КГБ не изучали вовсе.

Крым разумеется только пролог к кремлёвскому проекту «Новороссия», и выстрелы не заставили себя долго ждать. Не будем га-

дать, напортила ли российская разведка или нет, но «сепаратистские» путчи в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Мариуполе, Одессе получили решительный отпор. В Луганской и Донецкой областях воли к сопротивлению московским провокаторам оказалось недостаточно.

Я не собираюсь объяснять прекрасноту средствами массовой информации и политикам в розовых очках, почему я ни в грош не ставлю российскую пропаганду и байки про «киевскую фашистскую хунту». Всякий, кто хочет слышать и видеть, может найти информацию, не зависящую ни от Москвы, ни от Киева. Однако не могу удержаться, чтобы не упомянуть, что всемирно известный правозащитник, многолетний узник совести, лидер крымскотатарского народа избирался депутатом Верховной Рады Украины на протяжении всех лет независимого существования страны, включая выборы этого года, что в Украине нет дискриминации русского или иного языка, что в Украине существует свобода слова, совести и вероисповедания, что многие центральные газеты издаются одновременно на украинском и русском языках.

Ну и для сбалансированной картины биографические данные двух «лидеров сепаратистов»:

Александр Юрьевич Бородай (25 июля 1972, Москва, РСФСР, СССР) — российский генерал-майор ФСБ, специалист по провоцированию межэтнических конфликтов; официальное «прикрытие» — «журналист», «политолог»; один из идеологов так называемого «русского мира». С 16 мая по 7 августа 2014 — премьер-министр самопровозглашенной «Донецкой народной республики». До 2014 года в Украине не жил и не имеет никакого отношения к Донбассу.

Игорь Всеволодович Гиркин (17 декабря 1970, Москва, РСФСР, СССР) — по данным СБУ — российский полковник ГРУ Генерально-

го штаба Вооруженных сил РФ. Также известен под псевдонимом Игорь (Иванович) Стрелков, прозвище «Стрелок». Причастен к захвату Верховной Рады АР Крым, руководитель российской диверсионной группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области; один из организаторов деятельности «пророссийских сепаратистов» и так называемого «Народного ополчения Донбасса», а с 16 мая — «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Участвовал в Приднестровском конфликте, Боснийской войне, Первой чеченской войне, Второй чеченской войне. До 2014 года в Украине не жил и не имеет никакого отношения к Донбассу.

Комментарии, как говорится, излишни.

А что же принесла «братская помощь» Украине? Прежде всего войну, в то время когда Украина нуждается в мире и периоде восстановления после затянувшегося периода коррупции и попыток установления в стране авторитарного режима.

В Крым Россия принесла иностранную оккупацию, ущемление гражданских свобод, похищения активистов крымскотатарского народа, украинских священников, пытки и убийства, ограничение или прямое запрещение крымскотатарских и украиноязычных организаций, искоренение украинского языка и средств информации на украинском и крымскотатарском языках, прекращение украинского образования и десятки тысяч беженцев. В одном только Киеве более 50 тысяч беженцев из Крымской АР.

В Восточную Украину российские «зеленые человечки» принесли войну и разруху. На оккупированной территории распалась инфраструктура, перестала функционировать промышленность, прекратились украинские социальные услуги, в боях погибли тысячи людей и около двух миллионов беженцев покинуло район

боевых действий. Тем не менее «проект Новороссия» не прошел. Как все хорошо помнят, у московских правителей заняло всего лишь несколько дней до признания, что «зеленые человечки» в Крымской АР — это российские регулярные военные части. На востоке Украины они по-прежнему поют песню «я не я, и лошадь не моя». Но у меня ни на минуту не возникает сомнения, что рано или поздно кремлёвским кукловодам придется платить по вексялям, что не далеко то время, когда все без исключения военные базы России будут демонтированы на всей украинской территории и последний российский солдат покинет пределы Украины.

Я также верю, что Украина полностью избавиться от газонефтяной зависимости от России, что Украина сможет реформировать национальную армию в боеспособную патриотическую силу, создаст всенародную территориальную оборону, укрепит и фортифицирует российско-украинскую границу и построит преуспевающее правовое государство. Я также надеюсь, что настоящий Сборник внесет свою посильную лепту на пути Украины к демократическому и процветающему обществу.

Андрей Григоренко

5 декабря 2014 года.

ВЗГЛЯД ИЗ ДАЛЕКА

Лицом к лицу лица не увидеть —
Большое видится на расстоянии...

Сергей Есенин

Эдвин Поляновский

Мятежный генерал

«Это был вечер памяти их всех...»

В декабре 1993 г. в Москве на ул. Герцена, в здании Союза писателей, состоялся первый в постсоветской России вечер памяти генерала Григоренко. Вечер был организован Алексеем Смирновым, бывшим лагерником, а в ту пору директором только что созданного Московского исследовательского центра по правам человека. Деньги на аренду зала дал тоже бывший политзаключенный, выдворенный из страны в 1970-е годы, Владимир Буковский. Ни представителей прессы, ни телевидения на том вечере не было. И, может быть, он так и остался бы только в памяти непосредственных его участников, не оказись тогда в зале журналиста-известнца Эдвина Поляновского, пришедшего сюда не от своей газеты, а как частное лицо. Именно благодаря ему это в общем-то скромное мероприятие превратилось в событие общественной жизни, а о выдающемся советском правозащитнике впервые узнала, наконец, вся страна. Три дня, из вечера в вечер, печатали «Известия» трехполосный очерк «Мятежный генерал»³, и были они тогда нарасхват. Построенный как репортаж об одной мемориальной акции, он вышел

³ Этот очерк Поляновского впервые напечатан: Известия. 1994. № 59–61. Следует также заметить, что эпитет «мятежный» к покойному генералу вряд ли имеет какое-либо отношение. Прим. А. Г.

фактически далеко за ее рамки, превратившись в своего рода рекем всему героическому поколению диссидентов-шестидесятников. Исполненный горьких размышлений об их драматическом прошлом и не менее драматичном настоящем, об их неостребованности и отверженности в ельцинской России, он не утратил, к сожалению, своей актуальности и по прошествии десятилетий. Скажем больше: до преступной войны в Чечне, до череды политических убийств и массированного наступления на свободу слова автор провидит в нем наш сиротский сегодняшний день, помогает многое понять и заново переосмыслить. Думается поэтому, что в дни 100-летия П. Г. Григоренко этот 13-летней давности очерк недавно ушедшего от нас журналиста должен по праву открывать нынешний юбилейный сборник. Ведь в свое время именно с него началось возвращение на постсоветское пространство опального и лишённого гражданства генерала. Возвращение, увы, посмертное, а в последние годы к тому же и существенно приторможенное. Впрочем, что ж, сам Петр Григорьевич может, пожалуй, и подождать: ведь времена меняются, и нет сомнений, что его время рано или поздно придет. Но ждать не можем мы, живущие его соотечественники.

Игорь Рейф

1. Это была война

На исходе минувшего года состоялся вечер памяти генерала Петра Григорьевича Григоренко.

Сейчас столько генералов по разную сторону баррикад. Кто это — Григоренко? Меня спрашивают, а я отвечаю: боевой генерал, который привел к власти нынешнего президента России. Без оружия и стрельбы, со свечой в руке. Кому не нравится нынешний

президент, могу сказать, что конкретный выбор от генерала не зависел, президент пришел к власти уже после смерти Григоренко в 1987 году.

Вечер несколько раз откладывали, ждали Зинаиду Михайловну — жену. Она теперь живет в Нью-Йорке, одна, в преклонном возрасте.

Она звонила, очень хотела прилететь, но — занемогла, сломала руку.

В итоге помянули без нее. На Герцена, в Доме писателей.

Мятежное поколение — те, кто не был убит советской властью, кто не умер, не уехал за границу, собрались на этом вечере.

Фамилии многих людей в зале я знаю по западным, «вражеским» радиоголосам 60-х, 70-х, 80-х годов. Наверное, оттого, что передачи нещадно глушились, трудно было что-то уловить, а каждый день мы воочию видели других, накрахмаленных дикторов и популярных героев, те события казались почти нереальными, происходящими где-то за тридевять земель. Но вот эти люди рядом.

Мальва Ланда — две судимости, два срока. Второй раз не могли подобрать статью закона, дом ее сожгли. И судили за... самоподжог. Валерий Абрамкин — две судимости, два срока. В тюремной камере ему «привили» туберкулез. Генрих Алтунян. Его взяли в Харькове. Две судимости. Два срока. Татьяна Великанова отбывала срок, затем ссылку. Владимир Гершуни — легенда правозащитного движения. Раньше всех сел, позже всех вышел — в конце восьмидесятых. Делил нары и с Солженицыным в лагере, и с Григоренко в психушке — случай редкий.

На Голгофу шли семьями. Лариса Богораз — она тоже здесь, в зале — свои сроки отбыла. (В августе 1968 года после оккупации Праги советскими войсками она вышла с друзьями протестовать на Красную площадь). Первый ее муж — поэт Юлий Даниэль — был осужден вместе с Синявским. Советская власть травила и затравила его.

Остался сын. Второй муж — Анатолий Марченко объявил голодовку в тюрьме и в декабре 1986-го погиб. Остался сын.

Мятежное поколение. Сколько собралось их в зале — человек, может быть, сто пятьдесят. Зато все — свои. Если перемножить на годы, которые они отсидели в тюрьмах и лагерях, этот зал потянет на тысячелетие.

Я хочу воспроизвести этот вечер. Лишь разобью выступления по векам.

ПОГАС свет — с этого началось. В темноте, в глубине сцены, выхваченный диапроектором — портрет Григоренко в генеральской форме, при наградах.

...Счастливый: прошел Халхин-Гол, Отечественную, и ранен был, и контужен, и в окружении бывал, а жив.

Погибнуть не только мог, но и должен был — в самом конце войны. Поздно ночью он вернулся на КП и крепко заснул. Рассвет только занимался, когда его словно кто-то толкнул в бок. Такого за всю войну не было, его всегда будили. Он отправился в глубину двора, в туалет. И в этот момент услышал грохот. Когда вернулся, увидел дыру в стене, угол, в котором стояла его кровать, разворочен взрывом.

Ни до, ни после не было ни выстрелов, ни взрывов, это был единственный.

— *Это Бог вас спас — сказал стоявший рядом офицер.*

«*И я тоже поверил в руку Провидения*», — пишет Григоренко в воспоминаниях⁴.

Уже после войны, 12 мая 1945 года, в Чехословакии, он, соскочив с «виллиса», взбежал на откос и столкнулся с немецкой само-

⁴ *Григоренко П. Г.* В подполье можно встретить только крыс... Нью-Йорк: Детинец, 1981.

ходкой. Та с тридцати метров в упор выстрелила в него, но за долю секунды перед этим младший лейтенант-артиллерист успел сбросить полковника Григоренко в обрыв.

Действительно, в рубахе родился.

Шорох, потрескивание, подземельные гитарные аккорды:

И сух был хлеб его, и прост ночлег!
Но все народы перед ним — во прахе.
Вот он стоит — счастливый человек,
Родившийся в смирительной рубахе!

Я разглядываю генеральский портрет в глубине сцены. И вы, читатель, взгляните на него. Так не вяжутся строгая форма и ироничная улыбка. В эту пору генерал уже был разжалован в солдаты, уже отсидел несколько лет в психушках, он ждал ареста и поэтому генеральскую форму прятал у друзей, награды — у других друзей. Однажды они заставили его надеть все это — чтобы сфотографировать. Он упорствовал, но они убедили: «Для истории».

Этот снимок, где Петр Григорьевич Григоренко — при полном параде, оказался единственным.

ВЕДУЩИЙ Борис Альтшулер, один из правозащитников, предложил регламент выступления — 10 минут.

Полковник **Михаил Михайлович Лопухин**, сотрудник кафедры академии Фрунзе:

— *Петр Григорьевич Григоренко руководил недавно созданной кафедрой управления войсками. Он занимался вопросами кибернетики, автоматизации управления войсками. И сейчас — прошло более 30 лет, а кафедра работает в этом направлении. При всей своей решительности он ни разу ни на кого не повысил голос. Он умел сплотить людей, у него был, теперь это редкость, индивидуальный подход*

буквально к каждому человеку. При нем в офицерском клубе академии устраивались семейные вечера, Петр Григорьевич был очень компанейским человеком.

Он боролся за кибернетику в период ее поношения.

Из письма генерала Григоренко профессору Лунцу, психиатру, сыгравшему вместе с коллегами роковую роль в судьбе Петра Григорьевича:

*«Министр обороны. Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я. оценивает мою борьбу за внедрение кибернетических методов как научный, гражданский и партийный подвиг. Работе кафедры создаются до невероятия благоприятные условия. По сути, Министр дает мне право на свободный доступ к нему в любое время. Мне дают возможность подобрать блестящий научный коллектив. Для научной работы отпускаются практически неограниченные средства. У нас учатся работники Генерального штаба (проходят сборы), работники штабов округов и армий».*⁵

О чем еще можно мечтать ученому! Тем более что и материальное положение его высокое, и принадлежит он к военной элите — генерал. Единственная забота — научная работа и обучение.

Густой голос, армейская решительность, воля и — домашние, «внеуставные» отношения с подчиненными. Убежденность коммуниста-ленинца и — полное отсутствие жизненных реалий, житейская наивность.

Сергей Адамович Ковалёв:

— Григоренко хотел взять к себе на кафедру офицера, кажется, это был какой-то математик. И вот его приглашают в отдел кадров и говорят: «Понимаете, Петр Григорьевич, все хорошо, но вот

⁵ Письмо хранится в стационарной истории болезни 4337/69 Института судебной психиатрии им. Сербского. *Прим. автора.*

пятый пункт подводит». Генерал Григоренко говорит: «Какой пятый пункт?» — «Да вот, ну... он еврей же». И тогда генерал, начальник кафедры, человек немолодой, учиняет буквально скандал. Он говорит о Конституции, он называет всякие законы. Потом этого начальника отдела кадров вызвал то ли начальник академии, то ли его заместитель: «Ну что ты, с ума сошел? Ты с кем вообще говоришь о всяких пятых пунктах? Ведь это же Григоренко! Ты что, не знаешь, что он такой вот, он всем законам верит, он же к ним серьезно относится».

Удивительно, что этот человек сделал такую военную карьеру, и совсем не удивительно, что он кончил так, как кончил.

1961 год. Разгул диктатуры Хрущева. Роковое выступление на конференции Ленинского района Москвы. Из воспоминаний Григоренко:

«Я поднялся и пошел. Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, происходит с идущим на казнь. Во всяком случае, это было страшно. Но это был и мой звездный час. До самой трибуны дошел я сосредоточенный лишь на том, чтобы дойти. Заговорил, никого и ничего не видя.

— ...Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость. Необходимо прямо записать в программу — о борьбе с карьеризмом, беспринципностью в партии, взяточничеством. Если коммунист на любом руководящем посту культивирует бюрократизм, волокиту, угодничество, он должен отстраняться от должности, направляться на работу, связанную с физическим трудом...»⁶

Генерал Григоренко открыто заявил о том, о чем знала вся страна, но никто не решался вымолвить вслух — говоря о Сталине, сказал о Хрущеве:

⁶ *Петро Григоренко* «В подполье можно встретить только крыс...». Издательство «Детинец», Нью-Йорк, 1981 г.

«— Все ли сейчас делается, чтобы культ личности не повторился?»

Маршал Бирюзов из президиума пытался лишить его слова. *«Весь зал затих. В шоковом состоянии был и президиум. Я увидел, как секретарь ЦК Пономарев наклонился к Гришанову и что-то зашептал. Тот подобострастно закивал и бегом помчался к трибуне».*

В партийной среде существовал такой термин — «наемный убийца», так называли партийцы своих же коллег, приводивших в исполнение приговор начальства. Гришанов — секретарь райкома партии, выскочив к трибуне, предложил «осудить» генерала, «лишить депутатского мандата».

Григоренко никак не мог и не хотел понять, почему его открытое, честное выступление перечеркнуло всю предыдущую, почти 40-летнюю коммунистическую деятельность, 30-летнюю безупречную службу в армии, научную работу последних лет. И кровь, пролитая при защите Родины, огненные уже ничего не значила. По существу, это была речь коммуниста-ленинца, он осуществил свое право на мнение согласно Уставу партии и наказанию не подлежал. Если бы его просто «проработали» в партийном порядке, тем бы, наверное, все и кончилось, слишком дорога была ему научная работа. Но могучее государство решило раздавить, смять его, как это делало в миллионах случаев.

И тут оказалось вдруг, что генерал сильнее всесильной государственной машины.

В феврале 1964 года его арестовали⁷. Первый допрос вел сам председатель КГБ Семичастный вместе с ближайшим верховным

⁷ Этому аресту предшествовали увольнение из Академии им. Фрунзе и перевод на службу в Дальневосточный военный округ. Непосредственной причиной ареста послужила деятельность организованного П. Григоренко подпольного «Союза борьбы за возрождение ленинизма» и распространявшиеся им листовки с критикой режима.

окружением. Петру Григорьевичу предложили покаяться — его тут же отпустили бы. Он отвечал решительно и жестко.

Предать суду боевого генерала они не решились.

Власть применила способ хлестче тюремной пытки, который в это время еще только начинал входить в широкую практику⁸. Пленки тюремных разговоров Григоренко со следователем прослушивали члены Политбюро. Суслов сказал:

— Так он же сумасшедший...

Врач-психиатр Института судебной психиатрии им. Сербского Маргарита Феликсовна Тальце (*«искусственная блондинка с вытянутым сухим лицом, злыми глазами, тонкими губами»*) приступила к работе с Григоренко:

— *Петр Григорьевич, все же непонятно. Вы — генерал, начальник кафедры в такой прославленной академии, получали более 800 рублей⁹, кандидат наук с готовой докторской диссертацией. Перед вами широкий путь для продвижения — чего же вам не хватало?*

Он ответил:

— *Дышать мне нечем было.*

Тальце записала в акте экспертизы: *«ДАЕТ НЕАДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ»*.

КОГДА Григоренко впервые попал в Институт судебной психиатрии им. Сербского и познакомился там с Юрием Гриммом, тот, несмотря на молодость, был уже опытным бойцом.

⁸ Помещение политических заключенных в специальные тюрьмы, так называемые спец-психбольницы (СПБ), начало практиковаться еще при Сталине, но широкое распространение получило после Хрущевской оттепели. *Прим. А. Г.*

⁹ Если точно — 870 рублей. При прочих привилегиях приличная зарплата «на гражданке» составляла в ту пору 150 рублей. *Прим. А. Г.*

— Петру Григорьевичу тогда было 58 лет, как мне сейчас — вспоминает **Юрий Гримм**. — Мы еще в 1962 году после массового расстрела в Новочеркасске заготовили около тысячи листовок, в сарае печатали, фотоспособом. «Если ты гражданин, если тебе дорога судьба страны, ты должен требовать немедленного снятия Хрущева со всех его постов. И подпись — «Голос народа» ...

Когда мне дали срок, со мной сидели лесные братья из Прибалтики, оуновцы и бандеровцы из Западной Украины. Они сели пацанами, сразу после войны, за вооруженное сопротивление, убийства, им намотали по 25 лет, до меня они уже отсидели лет по 20 с лишним. Они удивлялись: — За листовки — срок? Из-за мелочи — садиться? Да коммунисты только пулю понимают.

...Шла война. Рядом с нами, среди нас. Выполнялись и перевыполнялись пятилетние планы, кипело социалистическое соревнование, принимали в пионеры, в комсомол, в партию, герои получали награды, эстрадные концерты в стихах и в прозе бичевали бездушных волокитчиков, веселя публику. А посреди всего этого шла война.

ДАЖЕ у самой маленькой страны, воюющей с могучим государством, есть своя армия, пусть плохонькая, свой народ, пусть немногочисленный, готовый уйти в партизаны. А значит, есть возможность если не выиграть, то затянуть войну, вызвать сочувствие мира.

Внутренняя же война горстки людей против огромного государственного и партийного аппарата с вековыми традициями и приемами надзора, с самой могучей в мире машиной размалывания человеческих жизней... При неведении и безучастности народа. Шансов, кажется, никаких,

И все же они воевали более четверти века.

Рубежи оставались за властью, их взять было невозможно, но правозащитники побеждали в окопных боях.

Ведущий вечера памяти **Борис Альтшулер**. Читает:

«Петр Григорьевич Григоренко был арестован в 1964 году первый раз. И объявлен невменяемым с разжалованием из генералов в рядовые. Он был освобожден вскорости из СПБ (спец-психбольницы — Авт.) благодаря отчаянной борьбе за него Зинаиды Михайловны Григоренко. Она сумела воспользоваться дворцовым переворотом — падением Хрущева и договорилась с ближайшими друзьями, и те начали по несколько раз звонить ей:

— Зина, ну как дела? Теперь должно быть все хорошо. Мы же знаем, что Петро — друг Брежнева. Ты обращалась к нему?

— Нет! Подожду. Я надеюсь, что сам вспомнит.

Конечно же, телефон Григоренко стоял на прослушивании КГБ, к тому же Петр Григорьевич действительно служил с Брежневым, что легко было проверить. А вот были ли они друзьями? Это проверить было почти невозможно, но КГБ решил не рисковать и угодить новому начальству».

Прекрасная ловушка. Окоп отвоеван.

В войну Григоренко 9 месяцев служил «под партийным руководством Брежнева». Встречались, конечно, неоднократно.

После войны — ни разу.

Из воспоминаний Григоренко:

«Вечером «вожди» встречались на Ленинских горах. Случай подвернулся недобрым словом вспомнить Никиту Сергеевича. И Косыгин добавил: «Да тут вот еще с одним генералом начудил. Признали невменяемым, послали в психушку и в то же время лишили звания. Я приказал подготовить проект постановления. Хочу привести в соответствие с законом.

— Э, нет. Постой, — прервал его Брежнев. — Какой это генерал? Григоренко? Этого генерала я знаю. Так что не спеши. Направь все его дела мне.

Когда ему передавали дело, он спросил: «А где он сейчас?»

— Дома, — ответили ему.

— Рано его выпустили».

Первый арест, тюрьма и первая экспертиза, признавшая его «невменяемым» дали ему бесценный опыт.

За полгода до ареста, летом 1963 года, вместе со старшими сыновьями¹⁰ он организовал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма». Генерал изготовил несколько листовок и сам раздавал их у проходной завода «Серп и молот», на Павелецком вокзале. Глупый риск? Наверное. Но он хотел лично убедиться, нуждаются ли люди в правде. Рабочие брали листовки с опаской и жадностью. Наверное, он был похож на великих медиков-гуманистов, которые испытывали новые препараты на себе.

В тюремной камере он понял ошибку. Подпольные листовки стали известны самое большее нескольким десяткам человек и были уничтожены.

«Уходить в подполье — непростительная ошибка. Идти в подполье — это давать возможность властям изображать тебя уголовником, чуть ли не бандитом и душить втайне от народа. Я буду высту-

¹⁰ В интересах истины заметим, что Григоренко объединил и возглавил несколько отдельно существовавших до того групп, готовых что-то делать, но не представлявших, что именно. Первым его помощником стал средний сын Георгий, вместе с младшим Андреем, размножавший написанные генералом листовки. Их и распространяли позднее члены СБЗВЛ. Старший сын Анатолий не был вовлечен в организацию и узнал о ее существовании только после собственного своего ареста, последовавшего за арестом отца. В настоящее время Андрей Григоренко работает над книгой об истории СБЗВЛ, в которой будет более подробно освещен опыт «марксистского» подполья в коммунистической (марксистской) стране. *Прим. А. Г.*

пять против нарушений законов только гласно и возможно громче. Тот, кто сейчас хочет бороться с произволом, должен уничтожить в себе страх к произволу — Должен взять свой крест и идти на Голгофу. Пусть люди видят, и тогда в них проснется желание принять участие в этом шествии».

Это — манифест. А вот — он же, переведенный на скромный язык житейской мудрости, прекрасный в своей простоте: «Надо просто работать и просто любить людей, то есть бороться против того, чего ты самому себе не желаешь».

Говоря языком войны — новая тактика и стратегия.

Генерал протестует против любого произвола властей. Пишет ходатайства, требования, протесты. Отстаивает права крымских татар, немцев Поволжья. Вместе с группой коммунистов он направляет письмо Будапештскому совещанию коммунистических и рабочих партий, призывая зарубежных коммунистов поддержать в СССР тех, кто сопротивляется возрождению сталинизма.

В дом к нему на Комсомольском проспекте — живая очередь: друзья и незнакомые, родственники арестованных и ссыльных, крымские татары, немцы Поволжья и Казахстана, литовские католики, отказники-израильтяне, баптисты.

Был день в году, когда КГБ и МВД объявляли боеготовность номер один. Филеры всех мастей не смыкали глаз, большое количество домов в Москве, в которых жили правозащитники, окружали милиционеры с рациями, в подъездах и во дворах дежурили бесчисленные черные «Волги» с антеннами.

Это было 5 декабря — в день сталинской Конституции правозащитники отмечали нарушение конституционных прав и свобод граждан. Вечером они собирались на Пушкинской площади, снимали шапки и молча стояли. Начало было положено в середине

шестидесятых годов. Вначале собиралось человек десять, потом — двадцать, тридцать, восемьдесят.¹¹

В этот день наряды милиции выставлялись загодя прямо у дверей квартир. Но почти всегда верх одерживали правозащитники. Вначале они выходили с мусорными ведрами, в домашних тапочках, и милиция пропускала их. Ехали, переодевались у знакомых, друзей. Когда милиция раскусила, стали заночевывать накануне в чужих квартирах, съезжались на Пушкинскую из самых неожиданных мест. Перекрывали ближайшие станции метро — они выходили на остановку раньше и шли пешком. Их знали в лицо, нагло останавливали, но они шли с женами и детьми, которые крепко держали их за руки.

Они побеждали там, где победить было невозможно.

«19 ноября в 7 часов утра (1968 год. — Авт.) звонок в дверь. Подхожу: «Кто!». Отвечают: «Из Ташкента». Рывок, и, отбрасывая меня с пути, 11 человек проносятся по коридору в комнату». Обыск!

На сцену поднимается **Леонид Петрович Петровский**:

— *Петр Григорьевич пригласил меня в этот день к нему домой в 8 часов утра. И вот я иду и вижу, значит, уже стоят человека два-три около дома. Поднимаюсь по лестнице, на каждом повороте — филер. Нажимаю кнопку, открывается дверь: «Ваш пропуск». Послушайте, как об этом пишет в воспоминаниях Петр Григорьевич, у которого уже произошла стычка из-за понятых: «Звонок в дверь. Кэгэбист открывает и впускает Леню Петровского. Леня работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, и он предьявляет*

¹¹ Цифры, по-видимому, занижены, хотя никакой статистики о количестве участников демонстраций в те годы, естественно, не велось. *Прим. А. Г.*

свой пропуск. Название учреждения в нем записано так, что в глаза бросается ЦК КПСС, а прочее мало заметно! И кэзэбист кричит из коридора: «Вот здесь товарищ из ЦК партии, может, он согласится остаться понятым!» (Впервые за весь вечер в зале — смех. На Л. Петровского — «из ЦК партии» — на самого уже было заведено оперативно-агентурное дело». — *Авт.*) **Леня соглашается. Спрашивает моего согласия. Я «неохотно» соглашаюсь».** Тут Петр Григорьевич запомнил немножко, я работал в Центральном музее Ленина, а штамп действительно стоял крупно: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС! Обыском руководил следователь Березовский. Он и некий Врагов был — старший среди кэзэбистов. Обыск идет, стараются забрать даже работы по кибернетике, научную картотеку. И Петр Григорьевич вдруг заявляет: «Я больше в обыске участвовать не буду». — «Как так не будете?»

— «Я пойду спать». Березовский, значит, Врагов, все вокруг него разводят руками: «Петр Григорьевич! Как же так? У вас же обыск!» — «А вот так!».

Книги складывали в мешок. Бросали на пол.

Я беру протокол и на обороте пишу протест: «Считаю, что все документы, материалы, изъятые у патриота и коммуниста, являются партийными, советскими и направлены против возрождения сталинизма... Протестую против их изъятия». Вслед за мной подошел Андрей — младший сын Петра Григорьевича, написал свой протест. Затем подошла Зинаида Михайловна, она восприняла все это довольно радостно, на подъеме и тоже написала. Затем и Петр Григорьевич поднялся, воспрянул, и тоже написал протест. В квартиру набилось уже много гостей. Наших. Всех впускали и никого не выпускали. Обстановка была приподнятая.

В этот день в Верховном суде рассматривалась кассационная жалоба осужденных за демонстрацию на Красной площади против ввода войск в Чехословакию. Ждали Григоренко. Он не пришел.

Стали звонить домой — никто не отвечает. Петр Якир и Владимир Лапин подъехали к дому. Лапин отправился в квартиру. Договорились: если через пять минут не вернется, значит — обыск, надо сообщить иностранным корреспондентам.

«Часа через два в квартиру потоком пошли наши друзья. Старший над кэгэбистами Врагов Алексей Дмитриевич ехидно сказал: «А ну, выворачивайте ваши карманы, выкладывайте свой «самиздат». На что Виктор Красин ему с издевочкой ответил: «Кто же несет с собой «самиздат» в квартиру, где идет обыск».

— А откуда вы знаете, что здесь обыск!

— Что мы! Весь мир это знает. Уже и Би-би-си, и «Голос Америки», и «Немецкая волна» сообщили об этом.

Для кэгэбистов это было чудом. Они так и не поняли, как, каким образом Англия, Америка и Германия узнали, что происходит на Комсомольском проспекте в квартире, из которой никто не выходил. А наши, глядя на растерянные лица кэгэбистов, хохотали».

Правозащитники замечательно воспользовались вражеским правилом: на обыске всех впускать и никого не выпускать. В эту ночь в квартире Григоренко прятался татарин Мустафа Джемилев, скрывавшийся от ареста. Многочисленные гости перегородили подходы к кухне, Мустафа с 3-го этажа по веревке спустился во двор...

«К сожалению, приземлился неудачно. Из-за сильной боли присел на левую ногу. Поза получилась, как для стрельбы с колена. Кэгэбист, наблюдавший за нашей квартирой со двора, бросился удирать».

...Так победно врвались в чужую квартиру и так уносили ноги.

ЕДВА ли не самой значительной победой в этой войне было то, что они сумели наладить выпуск собственного информационного издания.

За городом на даче, которую снимал писатель Алексей Костерин, собрались семеро. Кроме хозяина, преподаватель физики Павел Литвинов, филолог Лариса Богораз, экономист Виктор Красин, поэт, переводчик Наталья Горбаневская, сын легендарного командарма Петр Якир и, конечно, Петр Григорьевич Григоренко. Речь шла о создании информационного бюллетеня правозащитного движения.

30 апреля 1968 года вышли первые полтора десятка страниц машинописного плотного текста. На титульном листе стояло — «Хроника текущих событий». Тираж — всего несколько экземпляров, он разошелся по рукам — листы перепечатывали, переписывали от руки. Тем же путем обратно шла новая информация для новой «Хроники». По мере поступления информации, усиливающихся репрессий объем «Хроники» возрастал и увеличился до полутора сотен страниц.

В течение двух лет «Хронику» вела Наталья Горбаневская. Как она, занятая с утра до вечера, умудрялась в одиночку кормить-поить двух малолетних детей — загадка для многих. Ее арестовали, упрятали в Казанскую спец-психбольницу. Арестовали и судили других участников, распространителей, информаторов «Хроники» — Илью Габая, Габриэля Суперфина, Сергея Ковалёва, Татьяну Великанову, Александра Лавута, Юрия Шихановича. Иностранцы корреспонденты много раз хоронили «Хронику». Однако всемогущий КГБ так и не смог задавить ее. Взамен арестованных приходили новые люди. Подпольная газета продержалась более 15 лет!

Сегодняшняя свободная пресса — расчетливо-свободная, угодливо-свободная, разбойничье-свободная. Когда за участие в «Хронике» Сергей Ковалёв был арестован и сидел в вильнюсской тюрьме, следствие перерыло все, чтобы изобличить «Хронику» в подлоге, вранье, измышлениях. При участии Ковалёва вышло семь выпусков «Хроники», в которых было около 700 самых разных сообщений. Союзный КГБ, литовский КГБ, перепроверили все под микроскопом.

В свободной, независимой «Хронике» не оказалось ни одного ложного сообщения.

Был волнующий момент на вечере. Снова погас свет, в глубине сцены через диапроектор возникли кадры семьи, друзей Григоренко. Вот — Зинаида Михайловна. Не сумев приехать, она передала собравшимся теплые слова. Голос ее был записан, видимо, по телефону — расстояние от Нью-Йорка, помехи... Голос едва различим:

Дорогие мои... Вы особенные друзья. Вы мне не дали плакать, вы мне не дали упасть на колени... Это была война, и мы все-таки выиграли эту войну.

2. Смерть в рассрочку

СПЕЦИАЛЬНО не называю этих людей иностранным словом — диссиденты. Переведем, получим — несогласный, инакомыслящий. Как заметил журналист Илья Мильштейн, один из первых взявшийся за тему правозащитного движения: «У себя на кухнях диссидентами были почти все. Рабочие крыли начальство. Начальство сетовало на «бардак». Мода на антисоветские анекдоты состоялась с модой на самиздат».

Диссидентами были у нас все без исключения генеральные секретари, они становились инакомыслящими сразу после захвата власти: Сталин, выступивший против ленинского окружения; Хрущев, восставший против Сталина; Брежнев, свергнувший Хрущева; Андропов, да и Андропов — главный душитель правозащитного движения на посту председателя КГБ, оказавшись генеральным секретарем, в одночасье увидел многие пороки системы; Горбачев оказался диссидентом по отношению к самому себе, поскольку провозглашал одно, а делал другое, бросал и коммунистов, и демократов, пока все не бросили его.

Сегодня в стране диссиденты — все: по отношению к законодательной власти, исполнительной власти, президентской власти. Все — правозащитники, все качают права. Все смелые, крикливые. Правоохранительные органы вызывают лишь ироническую улыбку. Два дела о государственных переворотах провисли и рухнули. Самого крикливого и глумливого не могут унять, где он, отчаянный, был тогда, четверть века назад? Ему было 20 лет— возраст отваги.

В ту пору на всю двухсотмиллионную страну нашлось всего несколько десятков смельчаков! Только семеро¹² вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию!

Генрих Алтунян:

— Когда Брежнев ввел войска в Чехословакию, он весь народ взял в подельники. Во всех учреждениях проводились собрания: кто за то, что правильно ввели? Лес рук. Кто против? Никого. Вот и хорошо, весь народ «за». Однажды на кухню Петра Григорьевича пришел какой-то возбужденный человек: «Петр Григорьевич, на весь Ленинский район Москвы нашлось только три человека, которые на всех этих митингах и собраниях выступили против!» Тут встал этот громадный человек, вы помните Григоренко, и говорит: «Как всего три! Целых три человека! О которых мы не знаем! Вы представляете, на заводе Лихачева идет собрание. Кто за? Тысячи рук. Кто против? ...И человек поднимает руку. Это же герои! Как вы можете говорить «всего три? Целых три человека!» Я этот эпизод запомнил на всю жизнь.

¹² Это не точно. В демонстрации приняли участие: Константин Бабицкий, лингвист, Лариса Богораз, филолог, Вадим Делоне, поэт, Владимир Дремлюга, рабочий, Павел Литвинов, физик, Виктор Файнберг, искусствовед, Наталья Горбаневская, поэт и Татьяна Баева, служащая. Трое других задержанных: Инна Корхова, Майя Русаковская и Михаил Леман. Кроме того, двое правозащитников, Татьяна Великанова, математик и Решат Джемилев, инженер, по договоренности выполняли роль наблюдателей. *Прим. А. Г.*

ПЕРЕД вами совсем другой портрет генерала Григоренко, он сделан в разгар травли. Вглядитесь в упрямые губы и подбородок, в затравленные глаза.

Тот, парадный, портрет в генеральской форме и с орденами, выхваченный в темноте диапроектором, возник и погас в глубине сцены, а этот стоял впереди, у занавеса весь вечер.

— Посмотрите, на кого он здесь похож? — шепнул сосед мой Игорь Рейф. Все последние годы Игорь — врач — лечил и Петра Григорьевича, и Зинаиду Михайловну.

И вы, читатель, взгляните, на кого? Я не вспомнил.

МОГУЧАЯ, до зубов оснащенная держава с самым мощным в мире аппаратом подавления боялась безоружного разжалованного генерала. Два генеральных секретаря ЦК партии, три десятилетия безраздельно правивших страной, лично занимались истреблением генерала.

Генри Резник:

— *Петр Григорьевич испытывал особую ненависть властей, ведь он же был вроде как из своих, он был единственный генерал в этом движении.*

Генрих Алтунян:

— *Я тогда преподавал в военной академии в Харькове. Естественно, поехал на Комсомольский проспект на всем нам известную квартиру, познакомился с этими замечательнейшими людьми. Первое, что они мне с Зинаидой Михайловной сказали: «Имейте в виду, за нашей квартирой следят, может, Вы не будете к нам заходить?» Ну как, почему не буду, буду, конечно. Это была прекрасная встреча. А через месяц я был уволен из армии: «Инженер-майор Алтунян, будучи в очередном отпуске в Москве, посетил квартиру командарма Якира и привез оттуда ревизионистское письмо академика Сахарова. Тем самым опозорил высокое звание офицера Советской армии». Это дословный приказ командующего ракетными войсками маршала Крылова... Вы знаете, мне потом в тюрьме довелось читать показания Петра Григорьевича обо мне. Его тоже*

в тюрьме допрашивали следователи по поручению моих следователей. Когда я читал этот протокол, эти показания Петра Григорьевича обо мне... это было читать невозможно... понимаете... это были немногие, самые счастливые минуты следствия. Я читал как послание друга...

Петр Старчик:

— В книге Сахарова есть такая фотография. Все стоят на кухне у Петра Григорьевича и смотрят куда-то вниз. Сахаров смотрит вниз, другие, и Петр Григорьевич — у него лицо просто потрясенное. И до сих пор никто из читателей книги не понимает, что же там внизу происходит. А внизу — я на коленях, и рядом, на полу — огромный двухъярусный торт, который я принес. Этот торт сделали заключенные Владимирской тюрьмы ко дню рождения Петра Григорьевича. На торте ироническая надпись — «От чекиста Пайкова». Они это сделали в условиях тюрьмы и передали на волю. Петр Григорьевич был потрясен.

После разжалования Григоренко назначили солдатскую пенсию — 22 рубля. Он от нее отказался. Если меня признают больным, почему же лишают пенсии?» Инвалидов оставили без куска хлеба: пасынок — инвалид с детства. У Зинаиды Михайловны — астма. На войне как на войне — уничтожаются и женщины, и дети, и инвалиды. Григоренко написал записку министру обороны маршалу Малиновскому, который когда-то так любил его и в кабинет к которому он был вхож в любое время дня и ночи.

«Родион Яковлевич!

По слухам¹³ я разжалован из генералов в рядовые. Прошу восстановить мои законные права. А если, вопреки закону, я разжалован, то имейте хотя бы мужество сказать мне это в глаза. Я за свою службу даже ефрейтора не разжаловал заочно. П. Григоренко».

— Это не письмо, — сказала жена. — Это вызов на дуэль.

¹³ Постановление о разжаловании ни Григоренко, ни жена никогда не видели. Прим. авт.

Писал не по адресу. Малиновский еще при Хрущеве подготовил проект постановления Совета министров как положено по закону: увольнение в запас. Хрущев долго сидел, глядел в проект.

— Что же это получается. Он нас всячески поносил, а отделался легким испугом ... Приготовьте постановление на разжалование.

Новое постановление Хрущев разглядывал так же долго. Он не мог не видеть нарушения закона. Резко поднялся, вспылил:

— Больно много чести мне подписывать! Подпиши! — и пододвинул бумагу Косыгину.

Когда Хрущева сняли, на дачу к нему, пенсионеру, приехал Петр Якир. Напомнил о судьбе «хорошего человека» Петра Григоренко.

— Это не я, — ответил Хрущев. — Я не подписывал. Это все они... сволочи.

Когда-то молодой Хрущев еще в Московском горкоме партии был причастен к произволу и беззаконию. Затем заклеил произвол и беззаконие — громко, на весь мир. А закончил — тем, с чего начинал.

Ирония судьбы и капризы системы, дающей человеку неограниченную власть.

КУДА мог пойти работать инвалид 2-й группы «с психическим заболеванием»?

Петр Григорьевич пытался устроиться инженером-строителем. Потом — слесарем, паровозным машинистом, плотником, каменщиком, штукатуром... Секретарь парткома ЗИЛа сказал: «Я вашу фамилию сразу узнал, а вы думаете, у рабочих память хуже? Попробуй, разъясни, как человек из рабочих вышел в генералы, а оттуда снова в рабочие».

Генерал устроился сторожем на турбазу. Но его случайно опознал турист-майор: «Это вы, товарищ генерал?» — «Нет, не я...» Воз-

мушкетеры несправедливостью туристы отправились в ВЦСПС, подняли шум. Он потерял и эту работу.

Пришел в магазин «Фрукты-овощи».

— Когда сможете выйти на работу? — спросил директор.

— Хоть завтра.

— А сегодня, сейчас не смогли бы? Сейчас начнется вечерний завоз, а грузчиков нет.

Так генерал стал грузчиком в овощном магазине. Работал по 12 часов через день. Оклад 65 рублей. Бесплатный обед. Бракованные фрукты — тоже бесплатно.

Он устроился в два магазина и работал каждый день. По 12 часов. Без выходных. Получал 132 рубля в месяц.

Петру Григорьевичу было почти шестьдесят лет.

«Однажды, когда я выходил после работы из магазина, меня остановил Семен Абрамович (директор).

— *Петр Григорьевич, пойдете со мной! — и он повел меня в подвал. Там взял мою хозяйственную сумку, наложил в нее фруктов и сказал: «В таком объеме можете брать всякий раз».*

— *Нет, Семен Абрамович, я этого делать не буду.*

— *Я так и думал. Ведь я знаю, кто вы такой. Но я прошу вас... Если вы не будете делать того, что делают все, вас будут считать доносчиком и жизнь ваша станет невыносимой.*

— *Ну, раз вы знаете, кто я, то я вам скажу, что нести мне еще опаснее. Меня не вы, а другие могут обыскать...*

— *Петр Григорьевич, об этом не беспокойтесь. Я всегда подтверждаю, что это выдал я, лично, в порядке премии.*

Так я стал «несуном», т. е. делал то, что делают в СССР все, кто не получает достаточно на жизнь».

Потом он работал грузчиком в Ялте, куда повез Зинаиду Михайловну лечиться.

Участливое отношение к Петру Григорьевичу рабочих-грузчиков и директоров магазинов заслуживает большого уважения, потому что все они видели, как их сослуживца неотступно, открыто, нагло сопровождают филеры.

Из открытого письма Григоренко П. Г. председателю КГБ Андропову Ю. В.

«Банда пьяных филеров совершила хулиганское нападение на меня и моего гостя инженер-майора Алтуняна. Несмотря на мои неоднократные настойчивые требования — привлечь пьяных хулиганов к ответственности или хотя бы сообщить мне их фамилии и адреса, чтобы я мог сам подать в суд, — милиция уклонилась и от того, и от другого.

За моей квартирой и за людьми, приходящими в нее, ведется тщательное круглосуточное наблюдение — визуальное и с помощью специальной аппаратуры. Для этого вашим работникам предоставлены в соседнем доме две квартиры. В этом же доме имеется, кроме того, «дежурка» для филеров. Это при нашем-то квартирном голоде!

Вы могли бы сказать точнее, во что это обходится советскому народу. Но т. к. вы этого, безусловно, не сделаете, я попробую сам, хотя бы приближенно, подсчитать эту сумму.

Меня обслуживают четыре смены филеров, по четыре человека. Но, учитывая возможность сокращений ночных смен, буду считать только три смены, т. е. 12 человек в сутки.

В двух квартирах у аппаратуры должны дежурить как минимум по одному человеку в смену, а всего, следовательно, не менее восьми человек ежесуточно.

Почти всегда, когда я садился в такси, за мною следовала специальная машина.

Итак, 21 человек. Но ведь этому взводу нужен командир и, вероятно, заместитель. Всего получается 23 человека. Будем считать, что в среднем каждый получает 200 рублей.

Итак, $20 \times 200 = 4.000$ рублей — вот стоимость месячного негласного наблюдения за мной. В год — 48.000 рублей. Наблюдение ведется без малого четыре года. Получается 200 тысяч. Куда, зачем, для чего выброшены эти деньги!! Только для того, чтобы помешать всего одному КОММУНИСТУ участвовать в политической жизни страны!»

Эксперт-психиатр ссылаясь на это письмо в суде как на явное доказательство болезни Григоренко.

АРЕСТОВАТЬ Григоренко второй раз в Москве не решились. В апреле 1969 года он получил телеграмму из Ташкента, его просили приехать на процесс Мустафы Джемилева¹⁴, крымского татарина — того самого, бежавшего из дома Григоренко в момент обыска. Петр Григорьевич приехал в Ташкент и был арестован.

Генрих Алтунян:

— Мы сидели все на квартире у Якира и писали свои протесты. Потом за эти письма нас всех судили. Борис Цукерман написал: когда такие люди, как Григоренко, попадают под колеса закона, то не прав закон.

В сентябре 1969 года в благопристойной Москве, в самом центре ее, произошло невероятное событие, о котором страна не знала тогда и не узнала потом. В ГУМе, на переходном мостике верхнего яруса, парень и девушка, то ли из Швеции, то ли из Норвегии приковали себя к перилам наручниками и разбрасывали листовки. Отпечатанные типографским способом, с портретом Григоренко, листовки сыпались сверху, из-под крыши, в зал и производили ошеломляющее впечатление. Гэбисты не сразу сумели оторвать от перил молодую пару, оцепили выходы из ГУМа. Народ, воспитан-

¹⁴ В действительности Джемилев был арестован позднее. Его и Илью Габая арестовали уже по делу Григоренко, а сам П. Г. поехал в Ташкент, чтобы выступить общественным защитником на процессе 31 активиста крымско-татарского национального движения. *Прим. А. Г.*

ный в послушании, листовки отдавал. Но кто-то, наверное, и вынес, не без этого. Владимир Гершуни сохранил уникальный экземпляр: «Мы надеемся, что, прочитав это обращение, каждый поймет, что защита прав любого человека есть одновременно и защита собственных прав, и в меру своих сил, мужества и возможностей выступит на защиту Петра Григорьевича Григоренко». Подпись: «Международный комитет по защите прав человека».

Вскоре, зимой, в ЦУМе и в Театре оперетты то же самое проделали итальянец и итальянка.

Первых злоумышленников выдворили из СССР, вторых продержали в тюрьме с месяц и тоже выдворили.

В Ташкенте, как и в Москве, вынести обвинительный приговор не решились. Генерала затаскали по психиатрическим больницам.

Любого здравомыслящего можно сделать сумасшедшим. Это с успехом демонстрировали еще гитлеровцы. С тех пор медицина, психиатрическая наука ушли далеко вперед. Немецкие фашисты уродовали иноверцев, советские — соотечественников, причем лучших.

Первая комиссия под председательством академика Снежневского признала Григоренко больным еще после первого ареста — 17 апреля 1964 года: «Паранойяльное (бредовое) развитие личности... Невменяем. В спец-психбольницу на принудлечение». «Болезнь» Петра Григорьевича решили продемонстрировать жене — в Лефортовской тюрьме.

«После обеда вывели на прогулку. Через несколько минут мне стало плохо. Попросил увести в камеру. Пообещали, но не уводили. Чувствую, вот-вот засну на ходу. Прошу еще раз увести. Снова не уводят. По пути в камеру встречается дежурный. Объявляет: «На свидание!» Мобилизую все силы и иду. Что было на свидании, не помню. Как вернулся со свидания, тоже не знаю. Впоследствии жена рассказывала, что я гримасничал, кричал: «Рот фронт!», дергался, как марионетка, бросил ей очень неудачно записку, которая упала на пол».

Через несколько дней было новое свидание. Она спросила:

— А прошлое свидание ты помнишь?

— Нет! Я даже не знаю, было ли оно.

Тогда, в первый раз, Григоренко был изолирован на год. Вторая изоляция оказалась более жестокой, его заламывали в психиатрических больницах в Москве, Подмосковье, Черняховске...

«ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»:

Выпуск № 14 от 30 июня 1970 г.

«С июня 1970 г. П. Г. Григоренко содержится в специальной психиатрической больнице в г. Черняховске. (Как и все другие СПБ, она относилась к ведомству Министерства внутренних дел. — Авт.). В начале июня Петра Григорьевича Григоренко в больнице посетили двое в штатском, не назвавшие своих фамилий, предложили ему отречься от своих убеждений. П. Г. Григоренко отказался разговаривать с ними. После этого его стали выводить на прогулку с группой агрессивно настроенных больных.

Больничная палата — шестиметровая камера. В ней двое: Петр Григорьевич и его сосед, зарезавший свою жену и находящийся все время в бредовом состоянии. Свободного пространства — два шага, можно только встать и одеться.

Бумаги и карандаша Петр Григорьевич лишен.

Вынужденная неподвижность, острые боли в раненой ноге, непрерывное воздействие на психику со стороны тяжелого душевнобольного — все это вызывает серьезные опасения за жизнь 62-летнего П. Г. Григоренко.

Его адрес: Калининградская обл., г. Черняховск, учреждение 216/ст-2л.»

Это те только воздействия, которые на виду, а сколько — тайных, ежедневных. Медики могли проводить на генерале любые эксперименты, больше, чем на кролике или обезьяне, потому что подопытные животные все же представляли какую-то хозяйственную,

утилитарную ценность, за них кто-то отвечал. Подопытный же генерал представлял государственный вред, и за него не отвечал никто.

Выпуск № 16 от 31 октября 1970 г.

«Последние месяцы на палату-камеру, где заключен Григоренко, навешен второй замок. Это крайне затрудняет пользование туалетом. У Григоренко обострился цистит, Мучаясь, Петр Григорьевич не спал ночами. (Когда дремал, держал ладони на горле, опасаясь соседа-убийцы. — Авт.)

Только в конце октября была поставлена «утка».

Выпуск № 18 от 5 марта 1971 г.

«Зинаида Михайловна Григоренко, жена заключенного в Черняховской больнице-тюрьме Петра Григорьевича Григоренко, вновь обратилась с письмами в советские и международные инстанции, требуя неотложного вмешательства в судьбу ее мужа. В своих письмах она подробно рассказывает о бесчеловечном обращении, которому подвергают П. Г. Григоренко в Черняховской спецбольнице. По-прежнему его кормят и водят на прогулку вместе с агрессивными больными... В январе этого года П. Г. Григоренко предстал перед очередной комиссией. Один из первых вопросов профессора:

— Петр Григорьевич, каковы ваши убеждения?

Он ответил:

— Убеждения не перчатки, их легко не меняют.

На просьбу об авторучке и бумаге получил ответ:

— Зачем вам ручка? У вас появятся мысли, вы станете их записывать, а вам это противопоказано.

Решение комиссии: «Лечение продлить: ввиду болезненного состояния».

Генерала Григоренко продержали в Черняховской психиатрической тюрьме пять лет! Срок невыносимый! Чтобы нормально, здравомыслящего человека сделать сумасшедшим, довести до самоубийства, достаточно несколько недель.

Игорь Кондратов, сидевший в Лефортово, после медицинских обработок даже до зоны не добрался — умер.

Виктор Некипелов, медик-фармацевт, был арестован прямо в аптеке в 1973 году. Получил два года лагерей. Отказался от советского гражданства, добивался разрешения на эмиграцию и был осужден еще на семь лет лагерей и пять лет ссылки.

«— Мы вас выпустим, Виктор Александрович, за границу», — говорил следователь. — Но сначала мы вас уничтожим как личность. Мы вас выпустим, когда вы уже никому не будете нужны.

Так и случилось. Его выпустили в 1987 году тяжело больным, он уехал в Париж и скоро скончался.

Если смерть — неизбежная плата за жизнь, то КГБ предоставил ему иезуитскую, мучительную рассрочку.

Он писал хорошие стихи...

ВЕРНЕМСЯ в зал.

Алексей Смирнов:

— Я знал, я видел перед собой очень мощного человека, такого крепкого, который расхаживал по комнате с палкой. Говорил он решительно, и палкой стучал, и на меня, на мальчишку, это производило впечатление — такая вот решительность. ...Потом, я помню, как он был проездом из Черняховской психбольницы... КГБ разрешил встретиться с ним на вокзале. Я помню драматический такой эпизод, когда люди бегут по перрону и знают, что там, в конце, стоит Петр Григорьевич в окружении КГБ. Ему дали возможность увидеть своих друзей. Я помню, подбежал и обнял Петра Григорьевича. Это был уже другой человек... он был все-таки сломан — в психиатрической больнице был нанесен удар по его чести, по его достоинству: признать его психбольным и так долго держать в очень тяжелых условиях — на нем это сказало очень сильно. Он еще какое-то время был в подмосковных психбольницах...

Юрий Киселев:

— Каждый раз, когда говорят о Петре Григорьевиче, каждый раз немножко сжимает сердце. Я знал его давно, еще с квартиры Пети Якира. И вот после психушек он приехал ко мне в Коктебель вместе с супругой Зиной. Представьте себе — Крым, жаркое солнце и высокий человек идет, метр девяносто, и он идет как-то под углом и его шатает... Да, так он передвигался после психушек. Мой дом был открыт для всех, люди были разные, и все воспринимали его не то, чтобы как героя, нет, а как самого дорогого человека. Его слушали с открытым ртом. Он был художник слова, завораживал. ...После этого он уехал в Соединенные Штаты лечиться, и его лишили гражданства. Если вы помните, если слушали радиостанцию «Свобода» — он расплакался тогда. Так он любил эту страну.

Все-таки запас сил у генерала был невероятно велик. Сдав физически, он сохранил и ясность мысли, и логику. После отъезда в США он, обескровленный, еще сумел подняться в полный рост.

Юрии Гримм, из беседы:

— Это было в 1976 году, пятого декабря мы снова стали собираться на митинг. Я с сыном, чтобы не засекали, поехал от тещи, а Соня, жена, — вместе с Петром Григорьевичем. Она уцепила его двумя руками, чтобы не оторвали. Тогда уже хватали крепко — и в милицию отвозили, и под домашний арест сажали. Минут за десять до начала Петр Григорьевич поднимается по ступенькам к памятнику Пушкину, спрашивает:

— Юра, а где Андрей Дмитриевич-то! Он должен быть здесь. Надо его немедленно.

А народу собралось! Никогда столько не было. Больше сотни никогда не было. А тут человек триста, больше — четыреста! Я иду Сахарова — нет нигде. Забежал за памятник, смотрю, справа, возле кустарника — со стороны «Московских новостей» идет какая-то борьба. Вижу вдруг — это Андрей Дмитриевич и Саша Подрабинек против двух милиционеров сражаются. Я подскочил, стал помогать. С трудом, но отбились. Идем к памятнику, Андрей Дмитриевич — растерзанный весь, и, пока шли, ему кто-то в висок мокрым снежком засадил. Петр

Григорьевич уже открыл митинг: «Друзья, сегодня мы собрались в традиционный день, в день Конституции, в которой записано немало прав и свобод, но на деле эти права и свободы не соблюдаются». В огромной массе людей — шок. А среди гэбэшников — еще больший шок. В это время поднимается и встает рядом с Григоренко — Сахаров, помятый, застегивается. Они обнялись, и Петр Григорьевич спросил:

— Андрей Дмитриевич, где ж вы пропали?

И продолжил речь. Голос у него снова стал, как прежде, — командирский. Людям, наверное, боязно было слушать, жутковато. А мне было радостно. Подлетели иностранные корреспонденты. Снова, как всегда, кзгэбэшники били нас по ногам, и сыну моему — Клайду попали по кости и в ухо...

Потом Сахаров направился в сторону вашего, известинского входа, его перехватили иностранные корреспонденты: «Давайте в дипломатическую машину». И увезли. А мы с Петром Григорьевичем поехали домой на троллейбусах, с пересадками.

О том, как прочно были связаны эти люди друг с другом, какой «плотной», по словам Алексея Смирнова, была их небольшая среда, которая уплотнялась по мере давления диктатуры, обо всем этом можно писать научные трактаты, исторические исследования, литературные романы.

В СУДЬБАХ правозащитников прослеживаются наследственные, фамильные черты. Виктор Некипелов родился в Харбине. Вернувшись в Россию, семья подверглась репрессиям. Виктору было 11 лет, когда арестовали мать, больше он ее не видел.

Легендарный Владимир Гершуни, тот, что раньше всех сел и позже всех вышел, — племянник Григория Гершуни, одного из основателей партии эсеров.

Показательна судьба писателя Алексея Евграфовича Костерина, который был, без преувеличения, духовным наставником

Григоренко. Вся семья Костериных — отец, мать и три сына — была большевистской: отец член партии с 1905 года, мать — с 1917-го; старший брат — с 1903-го, средний — с 1909-го и младший, сам Алексей Евграфович — с 1916-го.

«Когда я познакомился с Алексеем Евграфовичем, — вспоминает Григоренко, — в живых оставался он один. Старший брат арестован и расстрелян в 1936 году, среднего брата исключили из партии, сняли с работы и над ним навис арест... он запыл и умер... Мать, когда арестовали среднего сына, положила свой партийный билет... После смерти среднего сына и ареста младшего не стало и ее, не выдержало сердце».

Типичное вырождение большевистской семьи, изничтожение своих.

Алексей Евграфович, единственный уцелевший член семьи, сидел и в царской тюрьме, и в советской. Он был арестован в 1937 году. 17 лет провел на колымской каторге.

В следующем поколении никто не сидел, наверное, потому, что у Алексея Евграфовича родились три дочери. Нина Костерина, когда началась война, ушла в партизанский отряд. *«Хочу действий, хочу на фронт... — писала она в дневнике, — Я должна идти туда, куда зовет меня Родина».* Она была в отряде подрывников. Погибла. Дневники ее опубликовал «Новый мир». Писатель Овидий Горчаков написал о ней рассказ «Нина, Ниночка...»

А следующее поколение Костериных — снова мужское. У средней дочери, Елены, родился сын Алексей. Он становится в ряды правозащитников. И снова — арест, тюрьма, лагерь. Алексей Смирнов отбывал срок уже в восьмидесятых. Осужден был за «антисоветскую деятельность» (собирал материалы для «Хроники»), считался «особо опасным государственным преступником» — отдельный этап, отдельное сопровождение.

НАША страна всегда славилась, и об этом много писали, потомственными сталеварами, шахтерами, тружениками полей, на-

следными артистами и режиссерами. Потомственными же арестантами мы не гордились и об этом не писали.

— А вы знаете, что там, в лагерях — тоже свои династии: администрация, охрана? — сказал мне Юрий Гримм. — Деды и бабки, отцы и матери, сыновья и дочери — при лагерях живут и в лагерях работают. Злые, как натасканные собаки. И внуки, и внучки их — ждут, готовы встретить новые жертвы.

БОЛЕЕ шести лет¹⁵, которые в общей сложности провел Григоренко в качестве подопытного, — это фактически пожизненное заключение в психиатрическую больницу.

Вглядитесь в упрямые губы, скулы и подбородок, в затравленные глаза. Я скажу вам, на кого он похож здесь, прикройте нос и увидите — на Шукшина. Судьбы, конечно, несравнимые, несоизмеримые. Но — глаза... Этот взгляд появился у Шукшина вместе с первыми сердечными болями, когда могущественный министр внутренних дел Щелоков запретил «Калину красную», заставлял режиссера переделать конец: убрать «самосуд».

Власть, как опытный скульптор, умела лепить людей с выражением страдания.

Петр Григорьевич умирал в Америке долго. Может быть, только советские тюремные медики знали, сколько он проживет.

3. Цена лжи

ЭТО был первый вечер памяти. Прежде они встречались только на похоронах. Конечно, это был вечер памяти их всех. Мятежный генерал мятежного поколения.

¹⁵ Петро Григоренко провёл в заключении в общей сложности восемь с половиной лет — предварительное тюремное заключение плюс заключение в СПб. *Прим. А. Г.*

Юрий Галансков, поэт. Погиб в заключении, в возрасте тридцати трех лет.

Анатолий Марченко, рабочий. Погиб в тюрьме. 48 лет.

Валерий Марченко, журналист. Погиб в тюрьме. 37 лет.

Василь Стус, поэт. Погиб в заключении. 47 лет.

Михаил Фурасов, кандидат технических наук. Умер в лагере. 50 лет.

Юри Кукк. Доцент Тартуского университета. Погиб на этапе. 42 года.

Илья Габай, школьный учитель, поэт. После освобождения из лагерей покончил с собой. 38 лет.

Анатолий Якобсон, литературовед. Покончил с собой. 43 года.

Эдуард Арутюнян, экономист. Умер сразу после освобождения из лагерей. 58 лет.

Виктор Некипелов, поэт. Умер вскоре после освобождения. 61 год.

Андрей Амальрик, историк, публицист. Погиб в автомобильной катастрофе. 42 года.

Ирина Каплун, филолог. Погибла в автомобильной катастрофе. 30 лет.

Мераб Костава, музыковед. Погиб в автомобильной катастрофе. 50 лет.

Цена свободы.

Я беседую с двумя людьми — Алексеем Смирновым, директором Московского исследовательского центра по правам человека, и Валерием Абрамкиным, возглавляющим общественный центр содействия реформе уголовного правосудия.

Алексей Смирнов:

— Когда Горбачев пришел к власти, он тогда же, а 1985 году, заявил на весь мир: «Политзаключенных в СССР нет». Я помню испуганные лица в зоне:

— *Нас нет, значит, с нами можно делать, что угодно.*

И чекисты поняли так: раз нет, значит, не должно быть. Страшные начались дела!.. Около десятка смертей только среди наших. Самоубийства. Душили — жестоко.

Валерий Абрамкин:

— *Борьба с нами шла на полное уничтожение. Я сидел в Красноярском крае, в шестерке — ИТК номер шесть. И администрация колонии мне прямо сказала:*

— *Привьем тебе туберкулез.*

И я вышел оттуда инвалидом.

...Ложь не бывает невинной. Если же лжет первое лицо в государстве, это особенно опасно.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ в лагерях и тюрьмах очень четко чувствовали настроение Москвы. После волны протестов на Западе кто-то из Политбюро мог сказать: «Ну что вы там, действительно, распустись?» И пресс ослабевал. Или наоборот: «Ну что вы их там распустите?» Снова — пресс, еще круче.

Индустрия истребления в неволе развита, изощрена. Знаменитые ШИЗО (штрафные изоляторы) — только малое звено в ней. Но, посмотрите, здесь задействованы и медицинская, и строительная, и прочие науки. Темная, холодная, сырая камера. С потолка капает. На стенах — колкий, набросанный цемент — «шуба», вода стекает по стенам и замерзает. На полу вдоль стен — лед. Сесть можно только на холодную бетонную тумбу. Голые нары окрашены жесткой нитрокраской, отчего становятся гладкими, холодными, стеклянными, днем они подняты к стене и закрыты на замок. Ночью — ни матраца, ни бушлата. Кормят по пониженным нормам.

Валерий Абрамкин:

— *Там же мороз в Сибири в феврале! Стекол в окне нет. На нас — тонкое белье. На маечку пописаешь... майка замерзает, как доска, и вместо стекол в окно ее вставляешь.*

Алексей Смирнов:

— По слухам, в раствор цемента кладут соль, она гигроскопична, хорошо сохраняет влагу в камере.

Валерий Абрамкин:

— При мне клали подвальную камеру. Рубероид стелили не в фундамент, под пол, чтоб не пускать дальше грунтовые воды, а... на потолок. Вся вода собиралась в камере. Большие пятнадцати суток держать в ШИЗО не полагалось. Поэтому выпускали на день-два, а потом опять сажали. Наконец, стали добавлять срок прямо в камере.

Алексей Смирнов:

— Заходят в камеру: «У вас не подметено. Еще 10 суток». А веника нет. Издевались. Так я получил 45 суток.

Валерий Абрамкин:

— **Сергей Ходорович** в ШИЗО сидел 90 суток! Пятнадцать — и то тяжело, верный туберкулез.

Алексей Смирнов:

— Но рекорд поставили **Иван Ковалёв** и **Валерий Сендеров**, они просидели в ШИЗО — год!

Умирала Брежнев, Андропов, Черненко, и каждый раз в зонах наступало затишье, выжидали.

Валерий Абрамкин:

— В ШИЗО ждешь выхода в зону больше, чем на волю. Когда мне в очередной раз добавили семь дней, я сказал, что объявляю голодовку. «„Ну и подыхай“, — говорят, — даже хоронить тебя не будем». И в это время умирает Черненко. Еще никто в стране не знал, еще не объявили, а меня вызывает кум и говорит очень вежливо: «Какие просьбы к нам, что хотите?» Меня выпустили и целый месяц не трогали. Я ходил по зоне, как король. А потом опять посадили и до конца срока трюмовали: ШИЗО — ПКТ¹⁶ — ШИЗО... Сереже Ходоровичу после смерти Черненко тоже дали погулять и опять посадили.

¹⁶ Помещение камерного типа. Прим. Авт.

Алексей Смирнов:

— У нас в зоне чекист-куратор прямо в лоб сказал Борису Ивановичу Черныху, писателю из Иркутска: «К власти пришел Горбачев, теперь вам не поздоровится».

— Откуда были такие прогнозы?

Валерий Абрамкин:

— Горбачев считался «крутым». Пришел, наконец, молодой, сильный, ставленник Андропова. Все ведь и подтвердилось. Как мне «прививали» туберкулез! Одного ШИЗО было бы достаточно. Но администрация лагеря решила сработать наверняка, и в камеру ко мне подкинули больного с открытой формой туберкулеза. Одна кружка — на двоих, самокрутка — на двоих... Потом, на воле, когда у меня началась открытая форма, мне медики записали: «Имел длительный контакт с больными туберкулезом». Только тогда я и узнал причину болезни.

Сергей Ходорович, который 90 суток в ШИЗО отсидел, тоже очень тяжело заболел. Ему отрезали легкое, уже в Париже. Было полное ощущение, что, прежде чем начать «перестройку», власть хотела уничтожить всю оппозицию.

Алексей Смирнов:

— Когда меня «на исправление» отправили в Чистопольский лагерь, Толя Марченко сидел в камере напротив. Он при мне и умер. Михаил Фурасов тоже умирал при мне. Мы, оба инженеры, он — из Киева, сошлись довольно близко. Его посадили за то, что писал письма с протестами в ЦК. С ним в Киеве сделали что-то такое, что он прибыл на зону совершенно разбитым.

Из воспоминаний **Льва Тимофеева**: «Когда в декабре 1985 года меня привезли в лагерь, **Михаил Денисович Фурасов** был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, — почки уже вовсе отказывались работать». Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат техни-

ческих наук... Его спокойно и верно убивали на глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной.

О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, — и на воле умирают». Это правда, и на воле умирают. Только в 10 раз меньше. И туберкулезом на воле тоже заболевают, только в 17 раз реже.

Анатолий Марченко был последний, кто не вернулся на волю. Он провел в заключении 20 лет. В тюрьме объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных. Голодал, пока не умер. После его гибели в 1986 году политэзков стали освобождать — из тюрем, лагерей, ссылок.

Настал день, когда президент России объявил, что политических заключенных в России больше нет. И это была правда.

Но он сказал об этом не россиянам, не вдове Марченко или туберкулезному Валерию Абрамкину. Он объявил об этом американскому президенту, американскому народу — сытому и свободному.

В ТЕ ГОДЫ ложь была не просто государственной политикой, но и единственной политикой. Теперь лжи стало больше, но она — мельче. Раньше у власти были профессионалы и лгали — профессионалы. Теперь у власти любители, их много, не умещаются в Кремле, и лгут — по-любительски, ничтожнее, с мелкой выгодой. Даже порываясь сказать иногда правду — лгут, даже желая сделать лучше — делают хуже. В оправдание задают один и тот же козырной вопрос: Вы что же, хотите, чтобы было, как раньше?

И лгут дальше, борясь за кресло. Конечно, не хотим, «как раньше». И слава Богу, что по ночам к подъездам не подъезжают «воронки». Но разве Россия достойна лишь этого?

Вот — новелла.

Оратор на митинге громко заявляет:

— Дважды два — шесть!

Его слова тонут в аплодисментах.

— Неправда, дважды два — четыре! — кричит Правдолюбец, который после этого сразу исчезает на пятнадцать лет.

Возвратившись из отдаленных мест, он снова попадает на митинг, на котором новый оратор снова под бурные аплодисменты заявляет:

— Дважды два — пять!

— Неправда, дважды два — четыре! — кричит Правдолюбец, которого жизнь ничему не научила.

После митинга к нему подходит оратор, доверительно обнимает его и тихо говорит:

— Неужели вы хотите, чтобы дважды два снова было шесть?

...Я ищу в сегодняшнем сумеречном дне, в непролазном болоте — Правдолюбца. Где он?

С ГРУСТНОЙ иронией Алексей Смирнов сказал:

— *А кто, собственно, такие, эти демократы? Я с ними в одной зоне не сидел.*

Кто они, откуда набежали в таком количестве и взяли власть?

И куда подевались вдруг недавние правозащитники, ведь не всех же убил и покалечил прежний режим? Почему никого из них нет среди руководителей нового режима?

Неожиданно, резко оборвалась связь времен.

Где Правдолюбец?

ОДИН из организаторов вечера памяти **Александр Харнас** рассказал мне, как в 1976 году он отдыхал вместе с **Петром Григорьевичем Григоренко**.

— *Я верю, что все изменится,* — жестко и как-то упрямо говорил Петр Григорьевич. — *Нам бы газетку иметь, хоть такую вот,* — он показал ладонь.

А на следующий год он засобирился в Америку — предстояла операция, лечение.

— *Но вы меня обратно пустите?* — с беспокойством спрашивал Петр Григорьевич генерала КГБ.

— *Пустим, говорю вам как генерал генералу,* — ответил тот, ставя как бы знак равенства между собой и разжалованным до рядового солдата Григоренко. — *Пустим,* — он пожал руку Петру Григорьевичу. — *Только просьба: никаких там интервью.*

Григоренко слово держал — никому никаких интервью, пока вдруг не узнал, что его лишили гражданства. Указ подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС. Маршал. Однополчанин.

Вскоре, в 1980 году, был сослан в Горький Сахаров.

Две такие невосполнимые потери.

Они явились прологом мощной государственной акции.

— *Перед КГБ стояла задача: к 1983 году полностью очистить всю страну от диссидентов. Это мне говорили в Лефортово,* — рассказывает Алексей Смирнов.

Но как чекистам это удалось? Более четверти века держались правозащитники, несмотря на крутые времена.

— *У нас не было структурной организации, а было противостояние отдельных личностей жестокой системе. Не было, следовательно, и руководителей. Все равны, одинаковы, все, как одна семья. И в лидерах были не авторитеты, а те, кто предоставлял квартиры для сборов. Эти люди шли на многое, они знали, что в их квартирах будут ставить подслушки, за ними всюду будут следовать «Волги», к ним будут заявляться с обысками и арестами. Таких центров было несколько — Григоренко, Подъяпольский, Якиры, Великанова, отчасти — Сахаров. Люди собирались на этих квартирах, пили чай, общались через записки, передавали друг другу «самиздат». И вот чекисты стали бить по этим точкам.*

Лишили гражданства Григоренко, сослали Сахарова, умер Подъяпольский, «раскололся» Якир...

В Москве, где находятся дипломатические представительства и много иностранных корреспондентов, правозащитники держались дольше. По большому счету западные правительства остались

сторонними наблюдателями борьбы правозащитников в СССР, огонь поддерживали лишь газетчики. Но — изменилась конъюнктура. Запад перекинулся на Афганистан.

— В хельсинкской группе было человек двадцать. Осталось трое: Каллистратова, Мейман, Боннэр. Все. Хельсинкская группа прекратила свое существование. В 1983 году, как и планировал КГБ. Я был арестован, Иван Ковалёв арестован, Григорьянц арестован.

Говоря о закате движения, не назвал я причину самую обыкновенную, человеческую: они устали. Не поддержанные народом, а иногда и травимые, убиваемые от его имени, они столько лет в одиночестве подтачивали Власть, как вода камень.

СВОБОДА все-таки пришла? Значит, они победили.

Но почему-то не отпускает строка Александра Галича: *«И я упаду, побежденный своею победой...»*

Да нет, не их вина, что свобода оказалась такой разгульной, кровавой, окаянной и ничем не защищена.

Эти люди свое дело сделали. Они расчистили дорогу другим, тем, кто должен был прийти вслед.

...И посмотрите, кто пришел. Оглянитесь вокруг. Вам кто больше люб — горбачевские демократы: Язов, Крючков, Пуго, Бакланов?

Или ельцинские демократы — Хасбулатов, Руцкой и иже с ними?

Горбачевские предали Горбачева, ельцинские — Ельцина.

А может, вам милее второе поколение ельцинских демократов — нынешние?

...Никто, ни один из оставшихся в живых московских правозащитников не вляпался во власть. Сергей Адамович Ковалёв? Ну какая он — Власть!

И не потому не вляпались, что «когда царит порок, стыдно быть близким ко двору» (Конфуций), а потому что по природе своей далеки от всякой власти. Они занимались правозащитой и не занимались политикой.

Даже Сахаров — чистый правозащитник, политиком его можно назвать лишь как человека, глобально мыслящего.

КАК изменилось все за считанные годы. Григоренко мечтал о газетке величиной с ладонь. Теперь их сотни. Раньше идеалисты-правозащитники не стремились ни в политику, ни во власть. Нынешние практичные совмещают и политику, и коммерцию, и власть. Призывают все вместе вызволять из беды Россию, но взрослых детей своих предусмотрительно вывозят за рубеж.

Раньше политических сажали, как уголовников. Теперь уголовников выпускают, как политических.

Григоренко, затасканный по психушкам и тюрьмам, отвергая всяческие компромиссы, требовал, чтобы его судили, ибо только открытый суд мог подтвердить его невиновность. Многие из правозащитников не принимали милость освобождения, потому что не считали себя виновными, и отказывались подписывать условие свободы: «не заниматься прежней деятельностью».

Нынешние — и амнистию приняли, и виновными себя не считают.

Потеряно понятие достоинства. Его даже нет в современном юридическом словаре. Исчезло. «Честь» — есть, «достоинство» — отсутствует.

Общество, сделавшее выбор в декабре прошлого года, потеряло не политический ориентир, а нравственный.

Теперь все — борцы, все — герои. Каждый заявляет о себе.

Знакомая дама в самом конце восьмидесятых вступила в партию. Ровно через год — выскочила. (Несчастному Григоренко, чтобы пройти этот путь, понадобилась долгая мучительная жизнь). Вступала — тихо, вышла — шумно, с саморекламой на всю страну.

Демократы, борцы — без капли покаяния.

Мне хочется иногда, чтобы воскрес, явился Сталин. Но на один день. И чтобы никто не знал, что он явился на один день. Попыхи-

вая трубкой, спросил бы с усмешкой: «Ну что, побаловались тут без меня?». О — как кинулись бы к его сапогам: «Прости, отец родной, прости! Бес попутал...»

Очередь бы выстроилась — из России, из бывших союзных республик — миллионов на сто пятьдесят! Первыми прильнули бы к голенищу нынешние политические перевертыши.

«Борцы».

Когда у правозащитницы Ларисы Богораз спросили о ее борьбе, закончившейся тюрьмой, она ответила:

— *Я не боролась. Просто жила, как умела.*

Никто никого не осуждает за прошлое. Большинство правозащитников относятся снисходительно даже к тем своим единоверцам, кто раскололся в КГБ, кто отрекся. Другое дело, когда эти люди, как Гамсахурдиа, начинают снова заявлять о себе. Опять же — без всякого покаяния. Занимайтесь каждый своим скромным делом, разве это плохо.

Нашелся, кажется, единственный человек, кто осознал свою причастность к советской действительности и покаялся.

«Это мой 50-летний труд вложен в то, чтобы создать тот общественный порядок, при котором преступники, истребившие 66 миллионов советских людей, не только не наказаны, но окружены почетом и сами наказывают тех, кто пытается напомнить об их преступлениях. Это я приложил руку к тому, чтобы в стране утвердилось беззаконие... Это такие, как я, виноваты в том, что... народ объели со всех сторон и обжирают его тучи чиновной саранчи...».

Как думаете, чье это покаяние?

Петра Григорьевича Григоренко.

Ведь он долго был классическим советским генералом и уже в возрасте, когда остальные готовятся к пенсии и покою, ввязался в неравную борьбу.

И ВСЯ-ТО Россия ворвалась в свободу без покаяния, накинув на себя безо всякой примерки демократические одежды.

Собственно, что такое покаяние и почему оно так важно? Покаяние — это осознание причастности ко злу. Не осознав, зла не устранишь. А значит, и нового ничего не построишь. Покаяние — это залог того, что прошлое не вернется.

Как было?

Врач-психиатр Маргарита Феликсовна Тальце («дочь Дзержинского», как она преподносила себя подопечным), признавшая Григоренко психически больным, стала доктором медицинских наук. Тюремный следователь Григоренко подполковник КГБ Георгий Петрович Кантов за то время, что Петр Григорьевич провел в спец-психбольнице, вырос до генерал-майора.

Зато врач **Семен Глузман**, попытавшийся сделать независимую психиатрическую экспертизу, был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки.

Никто не был забыт и ничто не было забыто.

Как теперь?

Затишье.

Алексей Смирнов хотел своего бывшего следователя привлечь к ответственности. 12 лет назад, когда его арестовали, он фиксировал каждое преступление следствия и писал заявление. «Это будет потом обвинительным материалом против вас». Следователь смеялся и, как оказалось, правильно делал. В прошлом году в Мосгорпрокуратуре ознакомились с делом Смирнова. Собеседник качал головой и говорил: «Да, вы действительно можете привлечь следователя... Но он сейчас не у нас... Средств на новое следствие нет. Да и зачем вам?..».

Были и другие, тоже бесполезные попытки правозащитников привлечь своих палачей.

Все на месте, кто не на пенсии, тот по-прежнему при деле — следователи, прокуроры, судьи, врачи-психиатры. И кадры топту-

нов и стукачей при всех реорганизациях госбезопасности тоже не состарились, не потеряли хватки. И династии жестоких лагерных служащих ждут в постоянной готовности. И подвальные камеры ШИЗО с преступными ухищрениями строителей целы. Валерий Абрамкин готов поехать и показать такую камеру любой комиссии.

Несчастному Петру Григорьевичу провели 12 (!) психиатрических экспертиз. 10 из них не нашли у него никаких психических расстройств, и только две признали его невменяемым. Одна — под председательством А. В. Снежневского, другая — под председательством Г. В. Морозова.

Снежневский скончался, Морозов жив, мнения своего по поводу Григоренко не изменил. А как он может изменить, он, Георгий Морозов, возглавлявший Институт судебной психиатрии им. Сербского с 1957 года более тридцати лет? Признаться в неправильном диагнозе, который сыграл решающую роль в судьбе Григоренко, значит, сознаться в преступлении.

Оказавшись в США, Григоренко сам попросил американцев провести психиатрическую экспертизу и опубликовать ее независимо от результатов. В 1978 году в Гарварде видные американские психиатры пришли к заключению: *«Тщательно изучив заново все материалы исследования, мы не обнаружили у генерала Григоренко никаких признаков психических заболеваний... Мы не обнаружили также признаков каких-либо заболеваний в прошлом. В частности, не найдено никаких параноидных симптомов даже в самой слабой форме...»*

Лишь в 1991 году после вмешательства военной коллегии Верховного суда СССР советские психиатры были вынуждены согласиться с американскими экспертами.

13 лет спустя.

На вечере памяти выступил президент независимой психиатрической ассоциации России Юрий Сергеевич Савенко:

— Генерал Григоренко наконец реабилитирован. Но не стоит обольщаться. Председатель основной советской экспертизы Георгий Морозов по сегодняшний день остается руководителем психиатрического ВАК и единственным академиком-психиатром в Академии медицинских наук. Одновременно с реабилитацией генерала Григоренко произошла и реставрация советской власти в психиатрии — за четыре месяца до октябрьских событий 1993 года. Было воссоздано под новым именем бывшее всесоюзное общество психиатров со всем его прежним руководством и с почетным председателем во главе — Георгием Морозовым.

Вот вам и затишье.

...Как только сила пересилит силу и взорвется хрупкая тишина, тут и скажут свое слово испытанные кадры, которые, как известно, решают все. В КОТОРЫЙ раз приблизились мы все к той же вечной теме — жертвы и палачи, а если толковать шире — добра и зла.

«Опыт диссидентства в СССР — опыт свободного существования человека в несвободной стране», — пишет исследователь правозащитного движения Илья Мильштейн.

Подобным опытом замечательно воспользовались в восточноевропейских странах: Гавел, Валенса, Желев, все — правозащитники, ээки. Мы же свой кровавый опыт забыли быстро. Не употребив на государственном уровне, мы выпустили его и из исторической памяти. В школах, институтах хорошо бы ввести, пусть факультативно, такое чтение, как «История инакомыслия в СССР» — огромная работа Людмилы Алексеевой или «Живи как все» Анатолия Марченко.

Не дай нам Бог окончательно забыть то время.

Алексей Смирнов сравнил правозащиту с иммунной системой в человеческом организме. Правозащита не только гарантирует от произвола власти, но и саму власть защищает от экстремистских

настроений. Нашей же больной российской власти правозащитники нужны еще и как мера совести.

Пока же демократы много говорят о сталинских репрессиях и не замечают репрессий недавних, свидетелями или участниками которых были они сами. О давних жертвах — помним, о недавних борцах, и тоже жертвах, — нет.

Их немного осталось в живых, недоистребленных. Идеалисты, они не приспособились и к нынешней практичной жизни.

Тот же **Алексей Смирнов**, директор Центра по правам человека, получал до недавнего времени 35 тысяч в месяц. Его помощник **Юрий Шлепотин** — 30 тысяч.¹⁷

Юрий Grimm — сторож.

Иван Чердынцев — старый зэк тоже работал сторожем, теперь тяжело болен, без денег.

Феликс Серебров — мыкается с четырьмя детьми.

Мальва Ланда, у которой сожгли дом и ее же «за поджог» и посадили, работает газетным киоскером. До сих пор без квартиры.

Валерий Абрамкин, которому в зоне «привили» туберкулез, живет с женой и двумя детьми — в коммуналке. Хотя имеет право на квартиру и как репрессированный, и как больной.

Нынешние «демократы» предали их дважды — тем, что забыли их, и тем, что сделали со свободой.

ДЕЛО к концу. Осталось немного — проститься с Петром Григорьевичем.

В Америке он жил бедно¹⁸. Как рассказал на вечере памяти преподаватель Военной академии им. Фрунзе Владимир Антонович Ковалевский, генералу Григоренко предложили должность

¹⁷ Курс доллара на тот момент равнялся 1247 рублям (см. Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России М., 2000) *Прим. А. Г.*

¹⁸ Точнее бы сказать, скромно, т. е. был человеком среднего достатка. Вообще-то, для многих жителей бывшего СССР даже американская бедность вы-

профессора в военной академии Вест Пойнта, очень приличный вклад. Но генерал сказал: «Я благодарен этой стране, которая меня приютила, в которой сделали мне операцию. Но земля России полита моей кровью, наши страны в состоянии противоборства, и я не могу свой военный опыт и знания передавать армии потенциального противника»¹⁹.

Участники вечера приняли обращение к президенту России: вернуть награды Григоренко его семье (Указом президента Петру Григорьевичу посмертно возвращено генеральское звание, но награды почему-то не возвращают); издать труды генерала (на Западе они давно изданы); открыть архивы П. Г. Григоренко, находящиеся в госбезопасности; на стене академии им. Фрунзе установить мемориальную доску; помочь вернуться на Родину вдове Григоренко — Зинаида Михайловна одна осталась в Америке; вернуть ей квартиру на Комсомольском проспекте, из которой эту семью выкинули; наконец, сам Комсомольский проспект переименовать в проспект имени генерала Григоренко.

Нужно не просто переименовать проспект, но и сделать все, чтобы имя Григоренко укоренилось в народном сознании, иначе переименование будет выглядеть как очередная конъюнктура властей. Необходимо, не поздно поставить на свое место все и всех. Я не могу представить на проспекте имени генерала Григоренко

глядит порой как преуспеяние. Так что подобные оценки следует принимать с известной осторожностью. *Прим. А. Г.*

¹⁹ Эти слова, не принадлежащие самому П. Г., представляют вольное и несколько приукрашенное изложение мотивов его отказа. На самом деле в его основе лежал конфликт с присягой, принятой им в рядах советской армии. Ни о какой пролитой крови в отказе речь не шла. Просто Григоренко до конца дней оставался верен выстраданной им идее правозащиты, которая, среди всего прочего, включает в себя и право юридическое. Так что заключенная в известной поговорке мудрость «закон что дышло...» была для него неприемлема в принципе. *Прим. А. Г.*

прогуливающегося академика Морозова. Или — или. Или Григоренко — не генерал, или Морозов — не академик.

...Петр Григорьевич умирал долго и тяжело.

А когда оставалось жить считанные дни, он сказал Зинаиде Михайловне:

— *Упакуй ты меня в чемодан как-нибудь и отвези на Родину, ну что тебе стоит...*

«Я часто задумываюсь, почему мне так тяжело в эмиграции. Я уехал бы на Родину, даже если бы знал, что еду прямо в психиатричку».

В конце вечера зазвучал голос Галича.

Когда я вернусь,

Засвистят в феврале соловьи

— Тот старый мотив — тот давнишний, забытый, запетый!

И я упаду, побежденный своею победой,

И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои!

Когда я вернусь.

А когда я вернусь?

Этот романс Александр Галич написал в 1977 году, незадолго до своей смерти. А Петр Григорьевич скончался десять лет спустя, действительно в феврале.

«Когда я вернусь...» В глубине сцены диапроектор высвечивал украинское кладбище под Нью-Йорком, одинокий крест.

Гаина Койнаш

А сумасшедший говорил, что два плюс два равно четырём²⁰

Макс, 20-летний студент, согласился участвовать в эксперименте. Ему и другим семи мужчинам показывают две карточки и спрашивают, какой из отрезков, А, В или С, на одной из карточек равен стандартному отрезку на второй карточке. Отвечают по кругу, и Макс сидит на предпоследнем месте. Сначала задача представляется по-детски простой, и правильный ответ никаких сомнений не вызывает.

Вдруг всё меняется. Точнее, не всё, потому что правильный ответ, казалось бы, и здесь бросается в глаза. Однако первый участник спокойно и уверенно говорит, что стандартному отрезку равен по длине другой отрезок. Второй, ни на миг не колеблясь, повторяет то же самое, а вслед за ним это же повторяют и четыре человека перед Максом. Сбитый с толку, Макс ещё раз всматривается в карточки и спрашивает себя, уж не сошёл ли он с ума.

Как ответил Макс и многие другие добровольные участники, мы можем узнать, потому что это настоящее

²⁰ Перевод с украинского Андрея Григоренко.

исследование. Интересно другое: своим экспериментом, американский психолог Соломон Аш хотел продемонстрировать, что мнение посторонних людей не влияет на наши оценки при условии, что последние не подлежат сомнению (когда «видим воочию»). Результаты заставили его скорректировать свои предположения. Они заставляют и нас всерьёз задуматься над проблемой давления группы на личность.

Разумеется, Макс с ума не сошёл, и глаза вполне адекватно оценили длину отрезков. Эксперимент же фактически проводился над ним, с целью выяснения, как он, или кто-либо инойотреагирует в такой ситуации. Каковы будут ответы испытуемых, когда вопреки очевидному другие люди делают неверную оценку?

Макс не знал, что остальные «участники эксперимента» на самом деле являются помощниками исследователя и по его указанию дают неверные ответы. Когда только один «участник» давал неправильный ответ, то Макс и другие испытуемые не смущались, и отвечали правильно. Однако, когда ответы двух, трёх или даже всех расходились с тем, что видели испытуемые собственными глазами, более 75% испытуемых давали на заданный вопрос неверный ответ. Наиболее испытуемых смущало единодушие, кроме того на количество неправильных ответов влияла ещё и степень уверенности других людей в группе. Важно отметить и то, что даже один «не согласный голос» значительно уменьшал шанс, что испытуемый присоединится к оценке группы.

Неизвестно, насколько советская власть учитывала исследование американского психолога, однако не подлежит сомнению, что она осознавала опасность тех, кто не желал со всеми вместе фальшивить.

Власть, в лице Коммунистической партии, навязывала один бесспорно правильный ответ на всё, в том числе и на вопрос, откуда берутся несогласные? Если Партия никогда не ошибается, то

те, кто с ней не согласен, должны быть либо преступниками, либо сумасшедшими. После смерти Сталина несогласных чаще заключали в тюрьмы, чем убивали, а некоторых бросали в «специальные психиатрические учреждения», которые, правда, более напоминали тюрьмы, чем больницы.

Просматривается в этом какая-то примитивная логика. Если говоришь людям, что два плюс два равняется пяти (или в стране есть свобода слова, свободные выборы и т. д.), большинство или поверит, или будет молчать о неверии. Они сами будут считать сумасшедшими тех, кто упорно твердит, что два плюс два всё же четыре. Да и в «психушках» пичкали таких упрямых различными наркотическими средствами, от которых они начинали бы думать, или, по крайней мере, говорить иначе.

Примитивная логика, благодаря Бога, имеет ограниченное влияние на незаурядных людей, а таких было немало. Здесь речь пойдёт только об одном человеке — Петре Григоровиче Григоренко.

Можно отказаться от того, что видишь собственными глазами, но придётся смотреть на себя и жить с тем, что в зеркале видишь. Это заставляет честного человека принимать непростые решения.

Решения лёгкими не назовёшь по многим причинам. Их принимал не человек из среды, в которой многие бы враждебно относились к советской власти, а генерал Советской Армии, чья биография до определённого момента выглядит как советская «success story», подтверждение в действительности уверенного марша народа к светлому будущему. Ведь родился Петро Григоренко 16 октября 1907 года в крестьянской семье и успел поработать рабочим (слесарем, кочегаром и т. п.), пока в начале 30-х годов не стал профессиональным военным. Дослужился до высокого воинского звания, получил шесть высших наград СССР, включая орден Ленина. Был убежденным коммунистом, сначала комсомольским активистом,

затем членом Партии. Сомнения, правда, начали вкрадываться рано, но здесь, как он сам пишет, успокоить сомнения ему помогла война и победа над нацизмом, он, разумеется, снова мог видеть то, что вызвало беспокойство, но каким-то образом оправдывать происходящее. После XX съезда партии он пишет: «После всех лицемерных разговоров о культе Сталина с одновременным созданием нового культа в моей душе царил разлад.» Эти мысли он, как мог, сдерживал трудом в Военной академии им. Фрунзе, где он был начальником кафедр оперативно-тактической подготовки.

«И здесь с особой силой обрушилось на меня то, что давно уже преследовало и не давало покоя: надо выступать. Молчать больше нельзя.»²¹

В эксперименте Аша поражает не столько то, что под давлением группы люди могли солгать, насколько полная нелепость и ненужность лжи. Ведь им ничто не угрожало, и от лжи они ничего не получали.

Своим же выступлением Генерал рисковал всем. К счастью, нам уже не так легко оценить смелость его критики партии и призыва к «усилению демократизации выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями...». Впрочем, об отваге Генерала свидетельствует масштаб расправы и тот факт, что он ни на секунду не сомневался, какотреагирует партийная машина. Его выгнали из Военной академии и выслали служить на Дальний Восток.

Он уже не колебался, а достойно боролся, когда на той же конференции поставили на голосование предложение признать его выступление «политически незрелым» и лишить его делегатского мандата. Против предложения никто не решился проголосовать, но за него поднялось менее трети рук «и то не сразу, а как-то робко,

²¹ Это выступление, выступление на банкете в честь Костерина, выступление на похоронах Костерина и выступления по украинскому вопросу помещены в приложении. — Прим. А. Г.

вслед за другими». Очевидно, делегатам импонировали аргументы Генерала, импонировало и его мужество, хотя смелости его поддержать у них не хватило.

Сам генерал и не думал «каяться», и продолжал критиковать то, что до сих пор считал отходом от ленинизма. Оставалось только вопросом времени, когда произойдет очередное лобовое столкновение с режимом.

Петро Григоренко впервые был арестован КГБ в 1964 году. Его лишили воинского звания, наград, пенсии, но открыто наказать бывшего фронтовика и вчерашнего генерала побоялись, тем более за деятельность вроде основания подпольной организации «Союз борьбы за возрождение ленинизма»! Его направили на принудительное лечение в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу. Правда, ненадолго, потому что он, как оказалось, «выздоровел» после снятия Хрущёва.

Выздоровел тоже ненадолго, потому что его «безумие» никак не поддавалось лечению. Не мог же он молчать, когда видел воочию, как арестовывают инакомыслящих по антиконституционным статьям Уголовного кодекса. Не молчал он, и когда советские танки давили свободу на чужой земле.

Особенно болела душа за депортированных в 1944 году крымских татар, и он активно боролся за восстановление их прав, в том числе и право на возвращение домой. Обстоятельства его речи перед представителями крымскотатарского народа в Москве 17 марта 1968 года, конечно, отличались от того переломного выступления 1961 года, прежде всего тем, что здесь он мог рассчитывать на полную поддержку присутствующих. Впрочем, он мог и не сомневаться в реакции карательных органов, если не завтра, то в ближайшее время. Ведь он так и сказал своему тяжело больному другу Алексею Костерину, когда согласился его представить на вечере, устроенном в его честь: «койку мне в психушке все равно сохраняют». Не оши-

бался, и не имел никаких оснований надеяться, что избежит расправы. Правда, можно предположить, что отстаивание прав крымских татар действительно казалось примитивным головам в КГБ сумасшедшим, ведь кому придёт в голову заступаться за национальную группу, к которой даже не принадлежишь? Кто поднимет руку, когда можно сидеть тихо и молчать? Кто будет настаивать на правде, когда гораздо уютнее ждать, пока не скажут, что необходимо видеть, во что верить и что осуждать?

А Генерал упорно отказывался соблюдать предписанные правила, и убеждал других следовать своему примеру. Приведём несколько строк из его речи:

«Вам нужно твёрдо усвоить — то, что принадлежит по праву, не просят, а требуют!»

Начинайте требовать. И требуйте не части, не по кусочкам, а всего, что у вас было незаконно отобрано — требуйте восстановления Крымской Автономной Советской Социалистической Республики! Свои требования не ограничивайте писанием петиций. Подкрепляйте их всеми теми средствами, которые предоставляет вам Конституция, — использованием свободы слова и печати, митингов, собраний и демонстраций...»

Григоренко вторично арестовали в 1969 году, а в феврале 1970-го Ташкентский городской суд признал его действия «преступными и опасными для общества, направленными на подрыв и ослабление Советской власти... и способствующими разжиганию и созданию национальной вражды некоторых — отдельных лиц крымскотатарской национальности с народами других национальностей, проживающих в СССР...»

Его снова направили на принудительное лечение, то есть посадили в КГБ-шную психушку. В 1974 году под международным давлением и перед визитом американского президента Никсона, Григоренко освободили. Власти теперь боялась огласки прину-

дительного «лечения» опального диссидента, который отнюдь не собирался «выздороветь», и который не только заступался за преследуемых, но и выступил основателем Московской и Украинской Хельсинкских групп, а также Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях.

Во время поездки в США для лечения в 1978 году, Петро Григоренко был лишён советского гражданства — и, по его словам, «права умереть на Родине», «за действия, порочащие звание гражданина СССР». За права тех граждан он продолжал бороться из-за границы до своей смерти в 1987 году.

В 1991 году посмертная психиатрическая экспертиза Петра Григоренко подтвердила диагноз иностранных психиатров. Генерал был психически здоров.

А в заключение что напишем? Что таких людей, как Петро Григоренко, мало, и мы обязаны увековечивать память о них? Но это же ясно. Так же, как и то, что в 2007 году, когда во всем мире, и особенно в Крыму, чествовали великого сына Украины, власть, в том числе и Президент, провалили очередной экзамен. Верховная Рада отказалась отметить столетие со дня рождения Григоренко, а Президент, очень щедро присваивавший звание Героя Украины, в тот час оглянулся и побоялся.

Почему Петро Григоренко отказался от легкого пути, отказался мириться с несправедливостью, с ложью, с несвободой, — тоже ясно. Читаем его автобиографию не как детективный роман в поисках ключа. Не мог он иначе, не мог дальше молчать.

Задуматься следует над другим. Почему мы молчим, вот в чём вопрос.

ПО ГРАНИ ОСТРОЙ

Как вождленно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке.
Возьмемся за руки друзья,
Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

Булат Окуджава

Леонид Паюш

Человек судьбы²²

«Мы не лукавили с тобой...»

Тарас Шевченко «Судьба»

В своих «Воспоминаниях» Григоренко часто вспоминает, как со своим другом, сыном священника, мечтал стать мостостроителем. Не довелось.

Друг выбрал мученическую профессию священника, ведь пришло время спасать души. Григоренко тоже пошел по другому пути, точнее — другими путями, которые, в конце концов, привели его на путь, избранный другом. Спасая собственную душу, Григоренко вошел в движение, которое возрождало в тоталитарных условиях морально ответственную личность.

Логично, что на данном пути он в конечном итоге вернулся к христианству. Но в другой, символической, плоскости Григоренко осуществил и мечту о строительстве мостов. Мостом стала не только его правозащитная борьба, но и путь к самостоятельной Украине. И этот путь начался тогда, когда Григоренко соединил движение крымских татар с правозащитным, что увеличило силы как правозащиты, так и крымскотатарского национального

²² Выступление на вечере памяти Петра Григоренко, проходившем в научном обществе им. Т. Шевченко в Нью-Йорке 16 октября 1992 года. Перевод с украинского Андрея Григоренко.

движения. Правозащита вывела национальную проблему крымских татар сначала на всесоюзную, а потом и мировую арену. Для самого Григоренко эта связь стала мостом к украинскому национальному движению.

Как бы ни упрекали Григоренко за то, что он был членом не только Украинской Хельсинкской группы, но и Московской, тот факт, что он был представителем Украинской группы в Москве, имел не только прагматическое, но и политическое значение. Благодаря этому антиимперская идея вошла в демократическое правосознание России, и это облегчило в 91-м году выход Украины из Союза.

Он и здесь строил стратегический мост взаимопонимания, который, как и еврейский, и татарский, еще сыграют свою роль в ожидающих нас дальнейших коллизиях, тем паче, что официальная Москва снова явно встает на империалистический путь.

Однако за всеми этими символическими мостами мне видится нечто еще более глубинное, чем именно и можно было бы очертить жизненный путь Григоренко. Хотя по отношению к нему сам оборот «жизненный путь» звучит немного фальшиво, поскольку жизнь генерала не вмещается в однолинейную формулу. И когда читаешь его воспоминания, бросается в глаза одна яркая закономерность: жизнь Григоренко словно распадается на совокупность отрезков пути, которые следуют одной и той же структуре. По каким-то обстоятельствам, исходя из своих собственных, внутренних мотивов или даже случайно, Григоренко начинает на каком-то участке, почти с нуля, учиться, овладевает специальностью, совершенствует то, чем занимается, делает успешную карьеру и вдруг... переходит на новый участок. Крестьянский ребенок, без матери и детства, слесарь, машинист, студент-инженер, студент Военной Академии, военный-сапер, офицер Генштаба, боевой офицер, военный ученый, завкафедрой военной кибернетики, политэкс в психотюрьме, диссидент, политический деятель на Западе.

Еще более резки изменения в духовной и идеологической плоскости. Глубоко верующий школьник, комсомольский деятель, член ЦК ЛКСМУ, член партии и пропагандист, — а дальше? Дальше: антипартийный ленинец, диссидент, христианин, украинский национал-демократ...

В советских условиях достичь генерал-майорского звания и руководства кафедрой в Военной Академии означало пройти долгий путь отречения и самоотречения, прегрешений и даже преступлений. Не в связи ли с этим связаны резкие перемены в григоренковском жизнеописании? Может, вовсе не случайно константа изменения пути сопровождается у него рефреном-рефлексией: «случай спас от», «судьба счастливо обошлась», «Бог миловал». Бог миловал, и Григоренко случайно не принял участия в уничтожении УПА и подавлении Западной Украины. Григоренко допускает, что в то время он мог бы пойти и на это... Недаром упоминает он о своем участии в уничтожении трех церквей в Белоруссии и России. Но в те времена коммунистической ослепленности он все-таки нашел в себе силу отказаться от подобной работы. Поэтому о грехах и преступлениях коммунистического генерала можно говорить только в условной, умозрительной форме: если бы он не оставил комсомольскую и партийную работу, если бы не ушел из Армии в науку, а из военной науки в диссидентское движение, то был бы еще один генерал Громов или академик Глушков, который в начале 60-х годов отвоевал Украине Институт кибернетики ценой вступления в партию, к которой относился негативно, а умер членом ЦК КПУ, вице-президентом Академии наук УССР и человеком, сделавшимся препятствием на пути развития компьютерной революции в Украине (как о том свидетельствуют сотрудники Глушкова).

Эта антипараллель Глушкова делает наглядной сущность жизненного пути Григоренко. Глушкова можно отнести к типичному

технократу того времени, типу фаустовского человека, активного и талантливого, который четко и осознанно преследует земную, ограниченную цель, находит способы ее достижения, опираясь на магию воли государства или Мефистофелей, идет к ней, подминая под себя людей и обстоятельства, не обременяя себя условностями какой-либо морали. Однако, достигнув своей цели, он оказывается совсем иным человеком. Да и достигнутая цель оборачивается своей противоположностью — гнилым болотом.

В дни своей молодости Григоренко кажется именно таким: он — активный комсомолец, партиец, преобразователь себя и окружающих. Но в дальнейшем в простой, прямой путь искреннего коммуниста словно вмешивается какая-то иррациональная сила: он все время делает шаги в сторону, отклоняясь от своей генеральной линии, как только она становится столбовой дорогой партии и государства. Не сделал доноса на знакомого. Спас свое село от голода. Женился вторично на неблагонадежной женщине и тем фактически поставил крест на большой карьере. Приведу характерную для Григоренко мотивацию отказа принять высокий пост в ЦК: «Лучше пойду в Академию, чем идти недоучкой в аппарат ЦК». Благодаря этой наивно-искренней мотивации судьба расстрелянных расстреливателей, руководителей партии миновала его, и Бог спас его от бесчисленных преступлений аппаратчика. Заодно свершилось одно из предсказаний цыганки, которое Григоренко так часто вспоминает в переломные моменты своей жизни: неожиданно для себя Григоренко становится военным.

Обратим внимание, что в то время Григоренко отнюдь не был сознательным противником или критиком партии и ничего не имел против партийной карьеры. Противоречие было бессознательным: то, что для него было критерием непригодности, в самой партии не считалось существенным. Аппарат набирался из недоучек, а сама просвещенность, искренность и честность были скорее признаком

вражеских или несознательных элементов — националистов, меньшевиков, троцкистов и т. д.

Что же собой представляет этот таинственный фактор, что же все-таки не дало Григоренко стать номенклатурным гомо советиком и привело к диссидентству? Отвечая на телефонный вопрос журнала «Континент» о возможности делать что-то полезное для Родины в эмиграции, Григоренко объяснил: «Меня никоим образом не прельщает перспектива быть пожизненным рабом огромной колониальной империи... С чувством огромной гордости и достоинства стал бы я носить звание гражданина значительно меньшей, но независимой и свободной Отчизны моей — Украины». «Жизнь покажет. Во всяком случае, я верю, что все, что делает человек, имея образ Божий в душе, не пропадает бесследно». Вот оно, то точное слово для всех тех случайностей и прихотей судьбы, которые кардинально меняли путь Григоренко таким образом, что сделали его одной из наиболее ярких фигур движения сопротивления в бывшем СССР, «ведущим деятелем» освободительной борьбы 70-х годов прошлого столетия. Это «образ Божий в душе», пронесенный им с украинского детства до смерти в чужих краях. Воспользуюсь одной из философских метафор российского структуралиста В. Топорова. Григоренко есть некий человек судьбы, человек типа Энея или Авраама. Характерным для таких людей является то, что они никогда не бывают типичными, поэтому Эней не Авраам, а Григоренко — Григоренко. Вспоминаю, как Петр Якир однажды поздравил меня: «Ну вот, имеем одного генерала и одного академика». Больше не было, только один генерал, только один академик, т. к. второй, И. Шафаревич, после нескольких протестов возвратился в лоно российского империализма и шовинизма. С Фаустом людей судьбы роднит не только отказ от прозябания или желания судьбы. «Дай хоть злой» — умолял Бога в проклятые «Три лета» Шевченко. Судьба выбирает такого человека и независимо от его личных намерений

и целей проводит через сотни, тысячи испытаний успехом и несчастьями и приводит к самоосознанию, осознанию метасудьбы, национальной цели-судьбы.

Григоренко она провела от украинских руин 20-го года до времен возрождения украинской самоосознанности. На этом бурном пути взлетов и падений человек сам творит свою судьбу, воссоздает самого себя в этой судьбе и становится достойным этой судьбы. Диссидентский бард Александр Галич не случайно посвятил Григоренко балладу о человеке, рожденном в рубашке: в смирительной рубашке, в счастливой рубашке.

Григоренко был именно таким неугомонным человеком, не рабом, а партнером, союзником судьбы. Великой и счастливой судьбы, потому что его судьба стала частью судьбы Украины, которая, наконец, начала возвращаться к себе — из бреда коммунистической смирительной рубашки, возвращаться к собственной, не навязанной кем-то, судьбе.

*Нью-Йорк
Октябрь, 1992 года*

Юрий Гримм

Пациент «Сербского»

Страницы автобиографической повести

1. Новенький

Ещё накануне следователь уведомил меня о направлении на судебно-психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского. Об этом институте я раньше никогда не слышал и очень удивился, что возник вопрос о моей психической состоятельности. Долго раздумывая над этим в камере, я все же пришёл к выводу, что с точки зрения простых советских людей (моих родителей, например), а, тем более, гэбэшных следователей, мои действия с листовками, в самом деле, выглядят странно. Ну как молодой, здоровый работяга, горячо любящий свою жену и сынишку, может пойти на такое — против воли партии, правительства и всего народа? Рисковать здоровьем, свободой, а, может, и самой жизнью. Самому мне подобные случаи известны не были. Так, может, я и в самом деле не совсем здоров, только не замечаю этого?

И вот из Лефортова в большом «воронке» меня одного везут куда-то в течение часа. После двухмесячного пребывания в камере и полнейшей тюремной тишины слышать звон трамваев, автомобильные гудки, говор свободных людей у светофоров было, конечно, очень волнующе.

Наконец «воронок» остановился и посигналил. Послышался звук отодвигаемых ворот, машина въехала, ворота закрылись, мотор умолк. Пока меня вводили в какое-то здание, успел заметить высокий каменный забор с колючей проволокой, охранников в форме МВД и людей в белых халатах. Так я оказался в «Сербском», ставшим через десяток лет известным на весь мир своими несправедливыми диагнозами и искалеченными судьбами многих честных людей.

Взамен собственной одежды мне выдали больничную пижаму и лестницами и коридорами повели в соседний корпус. Там после условных звонков открылась металлическая дверь на втором этаже, и я вместе с провожатым очутился в начале длинного, темного коридора, по обе стороны которого виднелись двери палат. Мой провожатый снова нажал звонок на ближайшей двери с глазком. И опять послышался лязг замков, нас впустили и снова заперли дверь на несколько запоров.

Теперь передо мной был метров в двадцать «предбанничек» с двумя дверьми по левую руку (как оказалось позже, в туалет и кладовую) и столиком медсестры по правую. А прямо перед собой в проеме без двери я увидел больничную палату с кроватями и людей в пижамах на манер моей.

После формальностей сдачи-приемки местная нянечка повела меня показывать мне мою койку. Все отделение состояло из двух смежных палат: одной побольше — на десятерых, другой поменьше — на шесть коек. Меня определили в меньшую. Совсем непривычно после тюремной камеры было видеть кровати, застеленные чистым бельем. Полтора десятка человек сидели и лежали на этих кроватях. Кто-то читал, другие дремали, а кто-то шагал из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. В самом центре большой палаты стоял массивный круглый стол и несколько неподъемных тумб-табуреток. Широкие окна с толстыми стеклами были закрашены белой краской метра на два от пола.

После множества впечатлений минувшего дня внезапно навалилась усталость, и я решил отложить знакомство с новыми соседями и немного вздремнуть. Но не успел прилечь, как они сами окружили меня, и начались расспросы: откуда прибыл, по какой статье и т. д.

Я тоже, со своей стороны, стал интересоваться местными порядками. Выяснил, что наше 2-е отделение занимает весь этаж и что содержатся здесь не за уголовные, а за государственные преступления, а потому и палаты наши называются «спецпалатами». Узнал также, что экспертиза может продлиться пять недель, что все дни заполнены разного рода обследованиями, что разрешены передачи, положена часовая прогулка и т. д.

Моим соседом по койке оказался молоденький моряк срочной службы с Северного флота, сын военного, полковника, обвинявшийся по статье «измена родине». Корабль, где он служил, в составе эскадры посетил с дружественным визитом Великобританию. Стоя на рейде Портсмута, они видели ярко освещённые набережные, толпы красиво одетых людей, слышали женский смех, джазовую музыку. Но кроме высших офицеров на берег не пускали никого. Однако соблазн был так велик, что сосед мой все же решился. Сменившись с вахты, достал веревку и, незаметно спустившись по ней в воду, поплыл к берегу. Но вода оказалась слишком холодной, так что спустя несколько минут у него свело ноги. Чувствуя, что вот-вот утонет, он стал звать на помощь. Его вытащили свои же. А когда пришёл в себя, то был сразу помещен в трюм, в специальную камеру. По возвращении в Мурманск его забрали в особый отдел и после долгих допросов подвели под 64-ю статью «измена родине». Пообещали не меньше «червонца» строгого режима.

И теперь он был в отчаянии: выйти из лагеря 30-летним «стариком», да ещё с клеймом изменника — с этим невозможно было смириться! В тюрьме его надоумили «косить» под дурака, и он внял этому совету. Уж какие «примочки» он там выделявал, мне неиз-

вестно, но в «Серпы»²³ попал. Он и меня стал уговаривать придерживаться той же тактики: лучше пару лет на больничной койке, чем годы на лесоповале. Этот здоровый, избалованный парень, прыгая в воду, не думал ни об исковерканной карьере отца, ни о страданиях матери — его влекла красивая западная жизнь. И папочка, надо думать, не пожалеет усилий, чтобы спасти свое чадо от лагеря, а потом найдет способ снять его с учёта в психдиспансере. Да и не только родителям, но и военному начальству было выгодней признать советского моряка душевнобольным, чем изменником родины.

Запомнился мне и ещё один «изменник родины» — украинский сельский хлопец из Донбасса. Звали его Паша Едаменко, а доставлен он был сюда из Потсдамской тюрьмы. Отслужив год в Группе советских войск в Германии, Паша был поражен уровнем жизни восточных немцев, несравнимым с тем, что он успел повидать в своей деревне. «Но ведь ГДР — это все же соцлагерь, — рассуждал он, — а за «железным занавесом» житуха, должно быть, и вовсе хоть куда. И если советская граница на замке, то внутригерманская охраняется, быть может, не так бдительно. Так что надо действовать — другого такого шанса не будет. А то так и сгнию у себя в селе...»

Часть его находилась невдалеке от западногерманской границы. И однажды, заступив в караул, сразу после ухода разводящего, он двинулся к этой границе. В безлюдном перелеске с автоматом в руках перелез через какие-то заграждения и, считая уже дело сделанным, вдруг услышал за спиной: «Хенде хох!» Из кустов выскочили два восточногерманских пограничника и бросились ему наперерез. Павлуха не растерялся и дал по ним автоматную очередь. Один упал, но другой успел все же выстрелить и ранить его в ногу, а набежавшие откуда-то немцы дружно на него навалились.

²³ На жаргоне тех лет — институт им. Сербского.

После лечения и долгого следствия он и попал к Сербскому, хотя каких-нибудь явных психических отклонений за ним вроде бы не замечалось, если не считать низкого интеллекта и какого-то почти детского простодушия. Этому «гарному хлопчику» сочувствовали все. Наивный, неиспорченный, он досаждал нам лишь тем, что упорно общался с нами на своей родной украинской «мове». Мне никогда не приходилось слышать живую украинскую речь, и, как и многим, казалось, что язык этот только искажает русские слова, привычные с детства. Нам, например, постоянно резало слух Пашино «пишлы» вместо «пошли» и многое другое. И тогда наши «умники» принялись его поправлять, заставляя повторять «как надо». Но обучение не приносило плодов, и мы злились на неподдающегося, упрямого хохла. А он только дивился на москалей: ведь мы же понимаем друг друга, так чего вы ко мне цепляетесь?

* * *

В нашем отделении круглосуточно дежурили две женщины: медсестра и нянечка. Основной их обязанностью было постоянное наблюдение за «контингентом». В журнале против каждой фамилии была графа о поведении поднадзорного в течение смены, а также общая обстановка на «спецу».

После завтрака всех, кому предстояло обследование, выводили в коридор и вели по кабинетам. В это время двери палат наших соседей, бытовиков и уголовников, запирались, а дюжие санитары в форме под белыми халатами готовы были в любой момент пресечь всякую попытку наших с ними контактов. Но, проходя по коридору, мы видели лица прильнувших к стеклам дверей своих соседей, пытавшихся разглядеть «особо опасных преступников». Им, зачастую бандитам и насильникам, было непонятно, что же такое надо совершить более страшное, чтобы попасть в нашу компанию, которую

изолируют, как прокаженных. Из палат доносилась музыка из репродукторов, мы видели в руках у людей газеты и журналы — все то, чего были лишены мы, будучи полностью оторваны от событий в стране и в мире. Мы знали также, что после нашего прохода двери палат будут открыты снова, а их обитатели смогут свободно ходить из палаты в палату, общаясь друг с другом. И только приближаться к нашему тупичку было им категорически запрещено.

После прогулки каждый был предоставлен самому себе. Коротали время за чтением книг, игрой в домино, разговорами. И лишь привезённый из лагеря с семнадцатилетним сроком пожилой уже «лесной брат» — литовец избегал общения и вел себя как-то странно. Два настроения чередовались у него почти без переходов: неудержимая весёлость или истерика со слезами и плачем. Причём рыдания могли мгновенно сменяться хохотом и наоборот. Это не прекращалось и ночью. С трудом провалившись в тяжёлый сон, мы просыпались из-за его надсадного смеха и долго потом лежали без сна, пытаясь понять, над чем можно так смеяться в его положении. Не раз и не два просили мы перевести его в пустовавшую одиночку, но нам обещали, что не сегодня-завтра его должны отсюда увезти.

— Вот признают тебя психом, — говорил я своему соседу-матросу, — и будешь чалиться с такими с утра до вечера. Поневоле и сам свихнешься.

— Плевал я на них, — отвечал он. — Заткну уши ватой, и порядок.

Но вскоре выяснилось, почему оставалась без внимания наша просьба изолировать нас от беспокойного соседа. Как видно, одиночную палату для кого-то придерживали. Это стало ясно, когда однажды после обеда дверь в нее вдруг отперли и нянька стала стелить там постель. Какая-то странная суета предшествовала появлению нового постояльца. Входили и выходили люди из медперсонала, что-то обсуждая между собой вполголоса, пока, наконец,

не слышался лязг входной двери, и мы краем глаза не увидели, как провели какого-то человека, записали в журнал и проводили в одиночку.

Нас, разумеется, распирало любопытство, и мы с нетерпением ждали конца тихого часа, чтобы поглазеть на пациента, появлению которого предшествовали такие долгие приготовления. Но вскоре он и сам возник на пороге большой палаты. Очень высокий, статный пожилой человек с лысой обритой головой и добрыми, внимательными глазами. На нем была полосатая пижама с короткими, не достающими до запястий рукавами и штанинами выше щиколоток. В этом несуразном шутовском наряде вид у незнакомца был, надо сказать, немного комичным. А он, взглянув на нас с некоторым смущением, улыбнулся и произнес:

— Здравствуйте, хлопцы!

Ему нехотя недружно ответили, но все же освободили одну из тумб и предложили присесть. Он сел, представился:

— Григоренко Пётр Григорьевич.

Оглядев высокий потолок, широкие окна и чистые койки, удовлетворенно заметил:

— А светло-то у вас как.

— Давно сидите? — спросил его кто-то.

— Кажется, что давно. А на самом деле и двух месяцев не будет.

— А откуда привезли?

— С Лубянки. Слыхали о такой?

Теперь уже новенький принялся нас расспрашивать. Интересовало его все. И долго ли держат на экспертизе, разрешены ли передачи. И есть ли радио, дают ли газеты. Спросил, по каким статьям мы обвиняемся.

— Здесь, Пётр Григорьевич, спецотделение, — ответил ему кто-то. — Одни контрики.

— А бытовики и уголовники где же?

— Да ими все корпуса забиты. Завтра поведут вас к врачу — сами убедитесь.

— Общаетесь с ними?

— Как бы не так. Их в палаты загоняют, когда нас ведут мимо, чтобы мы на убийц и грабителей не дай Бог плохо не повлияли.

Пока шел обмен информацией, я со своей койки не спеша разглядывал этого человека, еще не подозревая, что встреча с ним перевернет в ближайшем будущем всю мою дальнейшую жизнь. На вид ему было лет под шестьдесят. Лицо, манера речи, явно нетрудовые мягкие руки выдавали в нем интеллигента, возможно даже университетского преподавателя. С одним из таких я сидел еще в Лефортово и с отвращением узнал, как он берет взятки с абитуриентов, да еще в валюте. Однако была в новеньком какая-то особенная твердость и властность, не свойственная институтским «очкарикам».

Тумбу, где он сидел, окружали человек пять-шесть молодёжи. Остальные слушали в пол уха, читали или думали свою думу. Вопросов он задавал много, а когда они иссякли, сказал:

— Спасибо, братцы, просветили старика. Как я понимаю, вас сюда со всего Союза понавезли. Ну, а из Москвы есть кто-нибудь?

Ребята указали на меня. Я сказал, что жил напротив Павелецкого вокзала.

— А я совсем недалеко отсюда, на Комсомольском проспекте.

Вот это да, живой москвич в нашем застенке! И я приклеился к нему с вопросами. Остальные не мешали, лишь с интересом следили за беседой. Все же какое-никакое развлечение, чтобы убить время до ужина.

— Так где же мы находимся, Пётр Григорьевич? — спросил я его.

— Неужели не знаешь?

— Нет, откуда же?

— Да здесь рядом Садовое кольцо, метро «Парк культуры», Метростроевская улица.

Так вот где, оказывается, этот «Сербский»! А врачи от меня все скрывали... Даже странно было узнать свое место нахождение от новенького. Поговорили о том, о сем, и тут я его спросил:

— А вы по какой статье идете?

— По первой части семидесятой.

— И я тоже.

— Да? А если не секрет, за что?

— За фотолитовки.

— Хм... И у меня литовки. Только на машинке. А как звать тебя, земляк?

— Юра.

— Семья, родители есть?

— Сынишка маленький, жена в положении. Они одни остались. Родители-то есть, но от них никакой помощи. Они ведь меня тоже «врагом народа» считают...

— Странно... А по профессии ты кто? Где работал?

— Машинистом башенного крана. В стройуправлении Академии наук.

— Так ты, Юра, рабочий, и... литовки? Как же так?

— А что ж тут удивительного? Вот и вы рассуждаете, как мой следователь. Если рабочий, то у него, кроме бутылки и футбола, никаких интересов и быть не должно? Это даже обидно.

— Извини, Юра, но ты не обижайся и с гэбистами меня не сравнивай. Напротив, я приятно обрадован, что и рабочие начинают понимать ненормальность положения в стране. И что же было в твоих литовках?

— Не в моих, а в наших. Просто я в нашем деле «паровозом» иду. У нас ведь все работяги. А в литовках? О многом... О безальтернативных выборах. О безвозмездной помощи «братским странам». О необходимости смены руководства страной. О культе Хрущева.

— Да, солидно и в основном верно. Только стоило ли из-за Никиты жертвовать семьей и идти в тюрьму?

— А мы с подельником в тюрьму и не собирались. Мы считали, что если уж попадемся, то живыми не выйдем: замучают на Лубянке, а потом расстреляют.

— Ну, слава богу, прошли те времена. А о семьях подумали?

— Естественно. Но все же надеялись, что обойдется. Это я после Новочеркаска не выдержал и сам изготовил фотоспособом первую листовочку. Распространил штук тридцать и не попался. Это вдохновило. А через год мы уже развернулись по-настоящему.

— Да-а... И все же Хрущев, по-моему, таких жертв не стоит.

— Думайте, что хотите, но только не мог я спокойно смотреть на этого жирного борова и слушать его «исторические» речи с плоскими шуточками. Более карикатурной фигуры для нашей огромной страны трудно сыскать. А его звон о преимуществах «социализмов-коммунизмов». Он у меня уже изжогу вызывает. И еще этот раздуваемый его культ при пустых полках... Ведь над ним все смеются. Об одном жалею, что завел семью и что друзья пострадали...

Воцарилось неловкое молчание. Я чувствовал, что моему собеседнику хотелось бы и еще кое о чем меня порасспросить, да не принято в период следствия откровенничать с малознакомыми людьми. Но в то же время было видно, как соскучился он по общению. И чтобы его поддержать, я тоже в свою очередь поинтересовался:

— Ну, а ваши листовки о чем?

— У меня немного посерьезней. Ведь дело, дорогой, вовсе не в Хрущеве, а в существующей системе, которая далеко ушла от ленинских принципов. Ну, не будет Никиты, придет другой, а все останется по-прежнему. Вот в чем беда.

После этого я, естественно, не мог не спросить о его профессии. Кто же он все-таки? Не преподаватель ли марксизма?

— Я кадровый военный, — просто ответил он.

— И в каком же звании?

— Генерал-майор.

Ге-не-рал? Мне, да и всем вокруг, показалось, что мы ослышались. Даже промелькнула мысль: нет, недаром здесь проверяют на вменяемость. Отчего бы полковнику не назваться генералом, да хоть бы и маршалом? Ведь институт-то судебной психиатрии... Да, может, я и вправду псих, но генерал?.. «Ведь генералы все больше толстые, пузатые и высокомерные, — соображал я про себя. — А этот-то совсем не такой. Простой, хотя вроде бы и очень умный. Как здорово он о Никите сказал: «Не в нем, мол, суть». Вот и попробуй после этого понять что-нибудь в политике. И неужто, в самом деле, напрасны были наши усилия и жертвы?»

А в это время один из слушателей незаметно отлучился в смежную палату, чтобы привести и других поглазеть на живого генерала. И через минуту все они тоже окружили нас, во все глаза уставившись на новенького. Теперь-то мы поняли, для кого сегодня прибирали одиночку, пустовавшую больше месяца. Персональная палата для генерала!

А он, прерывая наше замешательство, твердо произнес:

— Ну, довольно, хлопцы! Здесь нет генералов и нет рядовых. Все мы здесь ээки и, как в бане, все равны. Зовите меня по имени-отчеству, а я постараюсь и ваши имена запомнить... Мне, знаете ли, на Лубянке твердили, что я один такой умный нашелся. И что Хрущев на весь мир объявил, что в СССР нет политэзков. А оказывается вон нас сколько! Так вы говорите, что с соседями-бытовиками не общаетесь? Это жаль...

Уж как он выделил среди нас Пашу Едаменко, но только, поднявшись, он пересел вдруг к нему на койку и спросил:

— Я бачу, шо ти мій земляк?

— А ви з яких міст?

И начался их негромкий разговор, а мы с интересом прислушивались к диалогу молодого солдатика с бывалым генералом. И я впервые обнаружил, как красиво может звучать эта непривычная для меня речь с ее обилием звуков на «э» и на «ы».

Они не скрывали радости общения на «ридной мове», видно, очень соскучились по родному языку. Позже, в мордовских лагерях, мне не раз пришлось слышать украинскую речь и наслаждаться песнями западных украинцев. Изменилось и мое отношение к этому языку — он уже не казался мне исковерканным русским, наоборот, очень приятным и мелодичным.

А Пётр Григорьевич все продолжал расспрашивать.

— Як жэ додумался дзээртывувати з арміі?

— Тэрпіння закінчылось.

— За батьків напэрэд подумал?

— А як жэ.

— Жаліешь, шо натворыв?

— Тэпэр чого жаліть... Пізно вжэ...

И чем дольше длился их разговор, тем выше поднимался в наших глазах авторитет генерала и его младшего собеседника. И особенно нелепыми казались теперь наши попытки обучения Павла «правильной» речи.

Но загремела входная дверь, и в отделение вкатили тележку с ужином. Разобрав миски, мы принялись за еду. Увидев манную кашу, Пётр Григорьевич слегка удивился, а затем, извинившись, удалился со своей порцией к себе в палату.

2. Записка на волю

Весь вечер никто не решался беспокоить генерала, желая дать ему отдохнуть после трудного дня. А незадолго до отбоя он появился

снова и, подойдя к моей койке, попросил заглянуть в его палату. Лишь тумбочка и кровать умещались в этой комнатке с небольшим окном. И там, подойдя ко мне вплотную, он спросил, понизив голос до шепота:

— Скажи, Юра, а нет ли какой-нибудь возможности передать весточку на волю?

Я обещал подумать. Потому что был у меня действительно на примете один парень из бытовой зоны по имени Костя, весельчак, заводила и хохмач, осужденный за хулиганство и драку. С такими, как он, в любых условиях не соскучишься.

Находясь в зоне, Костя собирал и записывал в тетрадку частушки и анекдоты. А анекдоты были тогда все больше про Хрущева да про Чапаева. И кто-то настучал про эту тетрадку «куму». После капитального шмона тетрадочку изъяли. Почитали, посмеялись и решили раскрутить ее автора по политике. А он, не веря в серьезность подобного обвинения, только смеялся над ними. И такое поведение выходило, с точки зрения дознавателя, за рамки нормального. Потому что какой же нормальный человек не боится политической статьи? Возможно, именно здесь лежала причина его направления на психиатрическую экспертизу.

Объявили отбой, и все разошлись по своим местам. А я все ждал, когда Костя выйдет в туалет покурить, и там пересказал ему просьбу генерала. Просьбу эту он воспринял с полной серьезностью, а к утру у него уже созрел план. Перед завтраком мы сообщили о нем Петру Григорьевичу. План наш он одобрил и стал готовить свою «ксиву».

А тем временем Костя выпросил займы апельсин у одного из соседей, получившего на днях посылку. Получив записку и апельсин, он уединился и ловко заделал эту записку в заморский фрукт. «К нашедшему просьба позвонить по такому-то телефону и сказать: «Петро в Сербском», — только и было написано на той крошечной бумажке. Информация предназначалась для жены генерала.

Теперь для реализации Костиного плана нужно было уговорить как можно больше народу выйти на прогулку. Мы распространили слух, будто во дворе предстоят соревнования между палатами, и все сразу заинтересовались. Пошли одеваться и те, кто вообще не ходил на прогулки. Стали подбирать прогулочные ботсы, телогрейки и шапки, но тут впервые оказалось, что на всех не хватает, и удивленным санитарам пришлось идти одалживаться в соседнее отделение. В прогулочном дворике, обнесенном каменным забором с колючей проволокой, люди вяло топтались на снегу в ожидании обещанных соревнований, пока Костя не прокричал на весь двор: «Эй, психи, поиграем в снежки!»

Было холодно, и никому не хотелось морозить руки. Но получив пару раз снежком по голове, «потерпевшие» принялись отвечать обидчикам. И уже через пять минут все были по уши в снегу. Наши надзиратели не могли надивиться на своих, порою не молодых, поднадзорных. Усыпив таким образом бдительность персонала, Костя выбрал момент и, вместо снежка, запустил через забор на улицу оранжевый апельсин. Мы напряглись и пристально следили за реакцией санитаров, но ее, к счастью, не последовало.

— А где же соревнования? — дую на замерзшие пальцы, заныл один из молодых.

— Какие тебе соревнования — осадил его Костя. — Ты и так уже весь мокрый. Лучше отряхнись, спортсмен хренов, и дуй в палату, а то простудишься.

Но дело было сделано. Оставалось надеяться, что апельсин не попадет под колеса и что его подберет какой-нибудь порядочный человек. А если ребенок? А если кто-то из сотрудников Сербского? Много было этих «если», но все это от нас уже не зависело...

А после обеда Пётр Григорьевич от своего имени написал заявление главному врачу, в котором говорилось о дискриминации и информационной блокаде нашего отделения. Во всех других от-

делениях имеется радио и газеты, которых лишены мы одни. Он потребовал восстановить равноправие и предупредил, что в противном случае будет вынужден объявить голодовку.

Прочитав заявление, я предложил, чтобы все, кто с ним согласен, тоже поставили свои подписи, но Пётр Григорьевич отверг это предложение. Он сказал, что у подписавших могут быть неприятности, да и не принимаются в советских пенитенциарных учреждениях коллективные жалобы. И отдал свое заявление медсестре. А потом пригласил нас с Костей после ужина в свою каморку. И мы провели там втроем незабываемый вечер.

Расспросив Костю о семье, о жизни, об увлечениях, Пётр Григорьевич перешел к главному — к его делу. Он никак не мог взять в толк всю несуразность предъявленных ему обвинений. Но что же все-таки содержалось в той его злополучной тетради? Польщенный вниманием генерала, Костя рассказал, как стал записывать наиболее понравившиеся ему анекдоты и частушки и как разделил их для упорядочения тем на двенадцать разделов: про Чапаева, про мальчика Вовочку, про взаимоотношения полов, про пьянство, про партию, космос и т. д.

Чувствовалось, что Пётр Григорьевич впервые находится в обществе простых людей, оказавшихся на свою беду втянутыми в опасную сферу государственной политики. Костя же охотно отозвался на просьбу вспомнить кое-что из своих записей. Память у него была отличная, но он опасался, что не все может понравиться и не все будет правильно воспринято столичными слушателями. И вот, вместо тоскливого вечера, мы получили прекрасную возможность ненадолго отвлечься от окружающей нас мрачной обстановки. Смеялись мы оба, а у Петра Григорьевича порою даже слезы выступали из глаз. И только Костя сохранял полную невозмутимость, от чего смешной анекдот или частушка казались еще смешнее.

Вот кое-что из запомнившегося.

В музее революции гид демонстрирует скелет Чапаева.

— А это что за маленький скелетик рядом с ним?

— А это Василий Иванович в детстве.

Или некоторые из Костиных частушек:

Насмешили всю Европу, показали простоту
столько лет лизали ж.., оказалось — не ту.

Наши спутник запустили, вышел на орбиту.
В него лайку посадили, надо бы Никиту...

Мы гордимся, что Гагарин
не еврей и не татарин,
не тунгус и не узбек,
а наш советский человек!

Правда, после некоторых частушек Пётр Григорьевич морщился и мрачнел, как, например, после этой:

На задворках, на помойке,
Я ребёночка нашёл.
На большой советской стройке
Ему будет хорошо.

Но гораздо чаще наградой Косте служил еле сдерживаемый смех. Сдерживаться приходилось потому, что нам уже сделали замечание за нарушение тишины. А тех, кто жаждал узнать, что это за необычное веселье в одиночной палате, нянька и сестра безжалостно прогоняли.

Возможно, сегодня в ответ на приводимые здесь Костины хохмы кто-нибудь кисло улыбнется и пожмет плечами. Но надо пред-

ставить себе ту обстановку «Сербского суда» начала шестидесятых и нашу изоляцию от окружающего мира, от родных и близких. Представить всю неопределённость будущего всех троих участников этого импровизированного спектакля, чтобы понять, что значила для нас эта неожиданная психологическая разрядка. И сколько она вдохнула в нас бодрости и сил.

Вечер юмора подходил к концу. У меня уже болел живот от смеха, когда Пётр Григорьевич, утирая слезы, спросил:

— Скажи, Костя, а есть ли у тебя какая-нибудь мечта?

— А как же, — восторженно тот. — Во-первых, поскорее освободиться. А потом как-нибудь добраться до Парижа, влезть на ихнюю Эйфелеву башню и прокричать оттуда: «Эй, француженк-и-и-ии!!! Дуры вы все каг'тавые!!!...»

Позже Пётр Григорьевич признался, что уже несколько лет так не смеялся, как в тот вечер. А после нашего ухода он долго размышлял над содержанием «криминальной» тетради и пришел к выводу, что если из-за безобидных частушек и анекдотов могли раздуть такое политическое дело, значит, тоталитарная сущность режима нисколько не изменилась.

* * *

Следующий день проходил по обычному, заведённому в отделении распорядку: завтрак, вызовы на обследования, прогулка, послеобеденный отдых... Но всё это на фоне напряжённого ожидания ответа администрации на вчерашний генеральский демарш. Начало смеркаться, а газету так и не принесли. И вдруг, незадолго до ужина, загремели запоры, открылась входная дверь, и кто-то вошёл и назвал фамилию Григоренко. Мы насторожились. А вскоре послышался звучный «командирский» голос Петра Григорьевича и в ответ ему чей-то глухой: «Это не положено. И это. И это...». Так

прошло минут десять. В чем дело? Уж не хотят ли его в наказание перевести еще куда-то?

Но тут в проёме большой палаты появился сам улыбающийся генерал, с трудом удерживая огромную картонную коробку, и наши опасения в момент рассеялись. Поначалу показалось, что нам в отделение доставили телевизор. Вот теперь мы утрём нос нашим соседям! Все повскакали с мест и уставились на коробку, которую Пётр Григорьевич водрузил на обеденный стол. А он, выдержав паузу, объявил с лукавой улыбкой: «А ну-ка, психи, угощайтесь!» И тут мы поняли — апельсин сработал!

Конечно, кто знал про Костину затею, не переставали надеяться, что рано или поздно записка дойдёт до адресата, но чтобы так быстро? Всего за сутки?

Много позже выяснилось, что Зинаида Михайловна, жена генерала, привезла передачу для мужа на Лубянку, но там ей сообщили, что такой у них не числится. Сообразив, что в Москве есть ещё одна гэбэшная тюрьма в Лефортово, она потащилась туда через весь город, но и там получила тот же самый ответ, и это привело её в отчаяние. Куда же, в конце концов, упрятали мерзавцы дорогого ей человека? Усталая и расстроенная вернулась она домой и стала обдумывать вместе с младшим сыном Андреем дальнейшие свои действия, когда раздался телефонный звонок от... «апельсина». Ура, он жив и невредим, да ещё совсем рядом! В каких-то нескольких сотнях метров от дома. Теперь оставалось только добавить вес (в медицинские учреждения принимались передачи в два раза большие, чем в тюрьму — до 10 килограммов), и бегом туда.

После команды «угощайтесь» к столу сбежались все до единого. Поражал и объём «дачки». А когда Пётр Григорьевич открыл коробку и стал выкладывать на стол её содержимое, все ахнули. Чего-чего здесь только не было! Первым явился букет каких-то южных и, наверное, очень дорогих цветов, источавших опьяняющий запах.

Потом, вслед за сушками-баранками, мандаринами-апельсинами и разным печеньем, на столе стали появляться белая и красная рыба, масло, шпиг, лук с чесноком, палка копчёной колбасы, развесные шоколадные конфеты. Последним показался средних размеров ананас. На большом круглом столе не осталось пустого места, и три десятка глаз заворожённо смотрели на это богатство, будто сошедшее с прилавков «Берёзки».

— Да-а, натурально генеральская дачка! — нарушил оцепенение Костик и уничтожающе посмотрел в сторону двух сомневающихся, все никак не желавших поверить, что между нами настоящий генерал.

— Юра, Костя, поделите всё это поровну, на всех, — распорядился хозяин этого изобилия, довольный произведенным эффектом, и добавил: — Только чтобы никого не обидеть! А то знаю вас.

— Ну что Вы, Пётр Григорьевич, — загалдели в палате. — Если уж угощаете, то давайте по-честному: вам половину и нам половину.

Это предложение поддержали все, кроме самого хозяина.

— Хлопцы, решайте сами, но учтите, мне одному это не слопать. А вы молодые, вам только давай. А мне, старому, много ли надо?

Снова загремели засовы, и в предбанник вкатили тележку с ужином. Чтобы освободить стол, пришлось яства снова сложить в коробку. Но после увиденного ели вяло, без аппетита. Наскоро поклевали больничную кашку, быстро убрали миски и вновь окружили стол. Предстояла делёжка.

* * *

— Пётр Григорьевич, я отказываюсь делить, — пришлось сознаться мне. — Не умею я это, да и ножа нету. А как без него?

— Так. Сколько нас человек? Пятнадцать? Со мной шестнадцать? Слушай мой приказ: ты поступаешь под команду нашего

«гранатометчика». Задача — достать нож, вымыть как следует руки и приступить.

— Разрешите выполнять, товарищ генерал? — гаркнул вставший по стойке «смирно» новоиспечённый командир.

— Отставить, Костя! — досадливо отмахнулся Пётр Григорьевич. — Ещё раз напоминаю, здесь нет ни генералов, ни рядовых. Все равны.

— Так Вы же сами меня назначили.

— Назначил только на время дележа. Всё, я вас покидаю. Работайте.

И, взяв букет цветов и прижимая его к груди, он направился в свою одиночку, шепнув мне на ходу, чтобы были внимательнее при дележе на случай обнаружения весточки от родных.

А мы принялись уговаривать сиделку-надсмотрщицу выдать нам нож. Однако без дежурной медсестры она это сделать не могла. Но и медсестра без ведома дежурного врача не решилась доверить ножик «психам». И лишь после его разрешения нам выдали, наконец, закруглённый тупой нож, и мы с Костей под присмотром двух женщин, вымыв руки, приступили к работе.

Колбасу, шпиг, рыбу и сыр мы быстро поделили пополам и одну часть положили в коробку, а другую оставили на столе для дальнейшей делёжки. Резать эту вкуснятину на пятнадцать частей тупым ножом было сущей мукой, да и обильное слюноотделение мешало этому процессу. Не легче пришлось и с рассыпными продуктами — сушками, печеньем, конфетами. Их надо было пересчитать, поделить пополам и уже половину разделить на пятнадцать частей. То же самое надлежало сделать и с фруктами, луком, чесноком и орешками. Всё это заняло немало времени, даже при участии добровольных помощников. Да и невозможно было получить совершенно одинаковые порции при разделе столь разнообразных продуктов. Приходилось идти на ухищрения. Например, меньшую

долю чесночины компенсировать дополнительным орешком. Или в порции с крупной луковицей изымать сушку или дольку мандарина. С ананасом же справиться нам было и вовсе не под силу, но тут помогли пришедшие соседские санитары. А наблюдавшей за нами нянечке мы предложили кулёк гостинцев для внуков. Но она отказалась, быть может, из опасения потерять свое место.

Вернув ей ножик и взяв коробку с долей Петра Григорьевича, я пошел к нему. Он сидел на койке, поставив локти на тумбочку, и смотрел на цветы, стоявшие уже в банке с водой. Несмотря на сумрак в палате, я не мог не заметить глубокой грусти на его лице и даже в самой его позе. И лишь когда я поставил коробку на кровать, он, как бы очнувшись, спросил:

- Ну что, не наткнулись?
- Пока нет.
- Что ж, будем надеяться... Ну, как у вас там?
- Всё готово. Ждём вас. Все раздадим по жребью, и — пировать.

3. Банкет в психотделении

Войдя в ярко освещённую палату, мы увидели, что стол накрыт чистой простыней, закрывая от жадных взоров выложенные на нем яства. Должен напомнить, что из всех пациентов нашего отделения лишь я и Григоренко, два москвича, были арестованы в начале этого года. Все остальные были доставлены издалека и о домашней пище давно забыли. Нельзя не вспомнить также и о пустых прилавках начала шестидесятых годов, когда советская экономика задыхалась под бременем помощи «братским режимам» и из-за соревнования за лидерство в космосе, чтобы понять, что значило для собранных здесь людей целый час наблюдать за дележом невиданных деликатесов.

Увидев нас с Петром Григорьевичем, зажмурившихся на мгновение от яркого света, неугомонный Костик провозгласил:

— Люблю, когда зазвенят ножами и вилками и доложат: «Закуска готова!»

И с этими словами он сдёрнул «скатерть-самобранку». Перед восхищенными взорами присутствующих предстал стол, разделённый на 15 секторов, в центре которых красовался нарезанный ананас и тот кулёк, от которого отказалась наша бабулька. И всё это источало невообразимый аромат, так плохо гармонирующий с реальностью этих голых унылых стен. Великолепие стола и сияющие лица вывели Петра Григорьевича из задумчивости.

— Ну, братцы, это вы молодцы! Это ж надо так суметь! И сколько же порций у вас получилось?

— Ровно пятнадцать. А то, что в центре, — вам.

— Нет, мне сейчас не до еды. А мы давайте сделаем так: кто найдёт «клад», тот мою долю и получит. А я разве кусочек салыца с чесноком попробую.

Как ни старались устроители, но сектора всё же отличались друг от друга. В одном лежало румяное яблочко, в другом совсем зелёное. В одном блистала конфетка в заманчивом фантике, в другом ее шоколадная подруга вовсе без фантика. И все с нетерпением ждали, когда же начнётся раздача, чтобы, получив свою порцию, вонзить зубы в розовое, с прожилками, сало или, зажмурившись от наслаждения, почувствовать на языке вкус сочащейся осетрины. Глаза разбегались от всего этого изобилия, и каждый решал про себя, с чего начнёт.

А тем временем Костю, как старожила отделения, поставили спиной к столу, и Пётр Григорьевич, усевшись на табурете и поочередно указывая на тот или другой сектор, спрашивал у «гранатомётчика»: «Кому?» И тот, довольный возможностью лишний раз устроить спектакль, выдавал взамен фамилии ехидную характе-

ристку очередного арестанта, так что сразу было понятно, кому предназначается данная порция.

Вот карандаш в руке Петра Григорьевича ткнулся в ближайший сектор стола, и, обращаясь к стоящему спиной Косте, он спрашивает: «Кому?» И тот после секундного раздумья отвечает:

— Главному храпуну большой палаты!

И немолодой уже толстячок под общий смех неловко пробирается к столу с прихваченным полотенцем и сгребаёт в него свою долю.

— А это кому? — пряча улыбку, спрашивает наш ведущий.

— Тому, кто ржёт по ночам во сне.

К столу подходит нахмуренный парень и, бормоча себе что-то под нос, забирает свою порцию.

— А теперь кому?

— Тому, кто всех больше захребетников настрогал.

К столу подходит дяденька лет под пятьдесят, отец пятерых детей, и, зло глядя в сторону Костика, оправдывается: «Я что ли виноват, что она сразу тройню принесла?»

А Костя только того и ждёт:

— А почему свет не гасил, когда работал?

Тихо выругавшись, стахановец семейного фронта бредёт с полотенцем к своей кровати.

— Кому? — следует очередной вопрос.

— Тому, кто отморозил яйца в британских водах.

Все покатываются со смеху, а мой сосед, получив свою порцию, шипит: «Посмотрим, что про себя скажешь, умник».

— Постой, Костя! — утирая слезы, говорит Пётр Григорьевич. — Ты уж как-нибудь одними фамилиями обходись. А то, я смотрю, на тебя уже обижаются.

— А чего обижаться? Я ж ни про кого не соврал. А если неправда, зачем выходят?

Ещё не дождавшиеся своих «характеристик» с завистью смотрят на тех, кто уже приступил к еде. Им тоже не терпится скорей получить порцию, только вот чертовски боязно Костиного языка. Какую ещё гадость он про них может выдать?

Раздаётся очередное «Кому?»

— Это «лесному брату». Самую вкусную дайте — дольше всех парится мужик!

— А это?

— Тому, кто дольше всех туалет занимает.

Пауза, но никто не выходит. Костя оборачивается к столу: «Что, мужики? В чём задержка?» Кто-то пытается вытолкнуть деревенского паренька. Тот красен, как рак, яростно сопротивляется, но не выходит.

— Один что ли я там сижу? С такой кормёжкой хоть туалет закрывай... Третий день опростаться не могу. Чем я виноват?

— А мы тебе весь ананас скормим, добежать не успеешь! — заботливо успокаивает Костя. — Иди получай и не выёживайся.

— В гробу я видел твой ананас!

— А-на-нас, лапоть!

— Пошёл ты знаешь куда! — чуть не плачет парень и под хохот палаты садится назад на свою койку.

Костик окидывает взглядом заметно очистившийся стол, искося оглядывает своих «жертв», ожидающих уготованной им участи, и опять поворачивается носом к стене, а на очередное «кому» невозмутимо роняет:

— Это выдайте тому подлецу, который призывает казнить на Лобном месте своего крёстного Никиту.

Все с интересом смотрят друг на друга, пытаясь понять, кому адресован этот выпад, а я, выдержав паузу, подхожу и сгребаю свою долю на полотенце. «Спасибо, — думаю, — что ограничился только этим. От тебя и не такое можно услышать», и сочувственно смотрю

на парня, так и не вышедшего за своим угощением. А он, отвернувшись от всех, тоскливо глядит в окно, быть может, сожалея в душе, что не попал под колеса машины тот проклятый перекинутый через забор апельсин.

И снова звучит вопросительное «кому?».

— Эту выдайте доблестному солдату, воевавшему с немцами через двадцать лет после окончания войны.

Поднимается Паша Едаменко и под аплодисменты аккуратно, до последней крошечки, складывает гостинцы на полотенце.

— А из этого сектора прошу выдать тому, под кого на ночь клеёнку стелят, — не унимается наш доморощенный сатирик. И озабоченно добавляет: «Матрасов на него, беднягу не напасутся».

— Ты бы за собой последил, урка занюханная! — бесится молодой солдатик. — Тебя бы так погранцы отделали. Одной кровью ссал бы...

— Не журись, Колюня. Сочувствую, но мы же сегодня шутим...

Но вот и последний сектор, очевидно, Костин, и он, повернувшись, уверенно направляется к столу. Но Пётр Григорьевич его останавливает, требуя сказать что-нибудь и о себе.

— Правильно! — галдят все вокруг. — Пусть и себя нарисует, юморист долбаный!

Чего-чего, а этого от народа Костик не ожидал и попытался поскорей смахнуть свою порцию в подол куртки. Но ему не дали.

— Тебя слушаем. Ты правду любишь — вот давай гони её!

— Ну что мне сказать о себе, дорогие мои друзья-арестанты? Кроме хорошего вроде бы нечего.

— Как нечего? А кто у нас курево каждый день стреляет? Кто своим трёпом после отбоя спать не дает? Давай, давай, признавайся!

— Братцы, как же я от вас устал! Неужто вам хотелось бы, чтоб ни одного порядочного человека не осталось в отделении? Так пусть им буду я, — скромно охарактеризовал себя наш распорядитель и поспешил очистить предназначенный ему сектор стола.

Так закончился этот спектакль, предваряющий наш тюремный банкет. За этот час Пётр Григорьевич успел более не менее познакомиться с каждым из своих новых товарищей по неволе. А невостребованную порцию он самолично отнёс деревенскому пареньку и попросил ни на кого не обижаться.

— Ты пойми, сынок, мы все здесь под двойным следствием, нервы у всех напряжены, возможны срывы. Разве Костя над одним тобой подтрунивал? Да над всеми. Счастье мое, что я не попал к нему на язычок. Уж он бы, поганец, и меня, старика, не пощадил.

— А чё он, — дуется пострадавший.

— Всё. Кончай дуться. Титан уже закипел, бери кружку и угощайся.

Кому хватило места, подсели к столу, где по-прежнему возвышался разрезанный ананас. Разделить его на шестнадцать долей не смогли даже санитары со своим острым ножом. А потому решили оставить его на заглядку. Разложив деликатесы, каждый стремился угостить Петра Григорьевича из своей доли. Жевали, улыбались, подшучивая друг над другом.

— Ну и жена у Вас, Пётр Григорьевич! Какой же она молодец!

— Да, жена у меня замечательная. Трудно ей с сыновьями без меня.

— А сколько сыновей?

— Вы не поверите, но их пятеро.

— И ни одной девки?

— Ни одной.

— Вот это да... Учись, Семёныч! (Это тому, который «настрогал».)

...Да, был он нам не чета, этот человек, выделявшийся среди всех присутствующих не только возрастом, званием, эрудицией, но и какой-то еще подкупающей порядочностью, и необычной для своего возраста выправкой, и... добрыми глазами. И всё это так не вязалось с его шутовской больничной одеждой, которую, словно в издевку, напялили на него в отделении.

Но тут Пётр Григорьевич попросил тишины и обратился к пирующим:

— Друзья, мне радостно сознавать, что и в условиях несвободы случаются такие чудесные вечера. Благодарю всех вас за помощь. Без неё мы не сидели бы сейчас одной семьёй. Поблагодарим же и жену мою, Зинаиду Михайловну, сумевшую передать нам столько вкусного. Поблагодарим и того порядочного человека, который ей позвонил. А теперь давайте поторопимся, а то скоро «отбой». И постарайтесь не проглотить записку, кому она вдруг попадетсЯ. Приятного аппетита, хлопцы!

До самого отбоя продолжался пир, сопровождавшийся весёлыми воспоминаниями из прошлой жизни, анекдотами, смехом.

— Эх, одного не хватило в этой коробке! — мечтательно произнёс Костик.

— Это какого же рожна горячего тебе, наглецу, не хватило?

— Бутылочки доброго винца! Уж я бы поделил бы его «поровну»!

— И хороших сигарет! — крикнули с коек.

— И журнальчиков с девочками!

— А пару гранат, чтобы отвалить отсюда, не хотелось бы?

И пошло-поехало запредельное зэковское воображение... Но на «ксиву» так никто и не наткнулся. Ананас же, к немалому удивлению горожан, несколько сельчан даже не захотели попробовать. Им и без него хватило не виданных до сих пор деликатесов.

4. Голодовка

На следующий день во время обхода мы заявили, что если генералу Григоренко не сменят пижамный костюм, мы затолкаем свои пижамы под койки и станем ходить в нижнем белье. Вернувшись после прогулки, мы снова не обнаружили газет. А когда привезли

обед, Пётр Григорьевич от него отказался и объявил, что начинает голодовку. А несколько минут спустя появилась завхоз со стопкой свежевыглаженных пижам, и он ушёл к себе переодеваться.

Он вышел в почти новой пижаме, которая на этот раз была в полном соответствии с его ростом и комплекцией. Теперь он выглядел совсем по-другому, но радости в его лице я что-то не заметил. Увидев меня, попросил зайти к нему в палату, и, когда мы остались одни, сказал, чтобы я забрал коробку с оставшейся частью передачи в общее пользование.

С тяжелым сердцем выполнил я эту просьбу. Завернув коробку в простыню, я поставил ее к себе под кровать. А в отделении повисла напряжённая тишина. Все лежали на своих койках и молчали. Ужин прошел в подавленной обстановке, совсем не похожей на вчерашнюю. Мы переживали за генерала, но нарушить его одиночество не решались. Незадолго до отбоя я не выдержал и постучался к нему в дверь.

— Заходи, Юрок! — услышал я за дверью.

Вошел, присев на край койки. С минуту помолчали.

— Как Вы догадались, Пётр Григорьевич, что это я?

— Не знаю... Возможно, интуиция.

— Простите, но мы не хотели вас беспокоить. А я, вот, набрался наглости.

— И правильно делали, что не беспокоили. И что пришел, хорошо.

Осмелев, я открыл тумбочку и положил туда два завернутые в бумажку кусочка сахара. На его недоумённый взгляд прошептал:

— Пётр Григорьевич, я Вас очень прошу, выпейте с водичкой этот сахар. Он вас поддержит. Клянусь, об этом не узнает ни одна душа.

Прошло сорок лет с того момента, но и сегодня не могу вспоминать о нем без стыда. И как мог я, болван, предложить ему такое?

Ведь это же был совсем другой человек, совершенно не похожий на всех, с кем мне доводилось до тех пор иметь дело.

Он посмотрел на меня так, как, вероятно, смотрит боевой командир на проштрафившегося подчиненного, провалившего ответственную операцию. И сейчас, когда пишу эти строки, вижу этот его холодный, уничтожающий взгляд.

— Уж от кого-кого мог я ожидать такое, только не от тебя. За кого же ты меня принимаешь? И как тебе могло это войти в голову? Немедленно забери сахар! Эх ты, а еще политзэк...

Я схватил кулек и хотел немедленно выйти, скрыться с глаз долой, чтобы только не видеть этого взгляда. Но все-таки продолжал сидеть, уставившись в пол. Уши пылали от стыда, а сахар жег руку.

И тут Пётр Григорьевич тихо заговорил:

— Меня от вас могут скоро перевести. Судьба наша на ближайшее будущее неизвестна. Может быть, ты раньше выйдешь на свободу и сумеешь связаться с моей семьей. Запомни на всякий случай адрес жены и сына Андрея. Надеюсь, что он на свободе. Итак, запомни: Комсомольский проспект 14, квартира 96. Мы москвичи, и нашим жёнам легче будет пережить это время вместе. Запомнил адрес? Повтори.

Я повторил и встал, чтобы идти, но на пороге он меня окликнул:

— А передачу доедайте поскорей — иначе испортится! И не забудьте про эту, как ее... ксиву.

Уж больно хотелось ему узнать от жены что-то важное. Скорей всего, как и мне: кто ещё арестован по его делу.

* * *

Авторитет старого генерала рос среди нас с каждым днём, и медперсоналу было приказано пресекать наши контакты с Григоренко.

Жизнь в отделении, между тем, вошла в старое русло. Одних, кто прошел экспертизу, увозили, на освободившиеся места селили новеньких.

А на третьи сутки, наконец, принесли газету! Хотя и «Правду», но самый свежий номер. Было начало апреля, и я не держал в руках газет с самого Нового года. Три месяца полнейшей изоляции от всех и вся! Это тоже было своего рода пыткой. И вот она, первая информационная ласточка! Я схватил её и, убедившись, что она сегодняшняя, пересилил собственное нетерпение и бросился в одиночку. За мной последовали ещё с десятков ребят. Пётр Григорьевич лежа на койке читал книгу. Увидев нас, заполонивших всю крошечную комнатку, удивленно приподнялся:

— Что-то случилось? Кого-нибудь выписывают?

— Случилась победа, Пётр Григорьевич! Ваша победа!

И достав из-за спины газету, мы торжественно вручили ему ее. Он улыбнулся, подержал в руках, как бы взвешивая, а потом снова прилег и произнес с горьким вздохом:

— Поразительно. Каждую мелочь у них надо зубами выгрызать...

Оставив его наедине с «Правдой» — неразлучной спутницей всей его жизни, мы потихоньку вышли. Вскоре нас повели на прогулку, а, вернувшись, мы застали его все еще читающим. Перед самым обедом, шаркая шлепанцами, он вошел в большую палату и, обедая всех медленным взглядом, положил газету на стол.

— Пока, хлопцы, все остается по-прежнему. Не изменилось ничего.

Вид его на этот раз мне не понравился. Несмотря на новую пижаму, он казался бледнее обычного и выглядел словно бы постаревшим. Не было того огонька в глазах, которым они светились еще недавно при получении передачи и розыгрыше «призов».

Принесли обед, и мы с радостью посмотрели вслед уходящему с миской супа генералу. К хлебу он не притронулся. И все же это

был лучик света в темном царстве нашего бытия. Появилась газета — голодовка прекратилась!

5. «Ленинский» семинар

После обеда многие стали изучать газету, словно какую-то диковину. Мне тоже не терпелось ее заполучить, но чтобы ознакомиться доскональнее, я решил, что буду читать после всех.

И вот я держу ее в руках, ненавистную мне обычно «Правду», но на этот раз такую желанную. Как и всегда, впереди тошнотная передовица. Успехи тружеников села из южных областей, приступивших к севу. Досрочное выполнение планов 1-го квартала. Вести с областных партконференций. Очередная поездка дорогого и любимого Никиты Сергеевича. Выступление Громыко на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Заметки о счастливой жизни в странах народной демократии, о победах советских спортсменов за рубежом и прочая подобная муть. И, конечно, отклики зарубежной прессы на очередную болтологию нашего «вождя». Через две недели ожидалось 70-летие Хрущёва, и вся страна готовилась отметить это событие.

Так же, как и в тюрьме, мы могли заказывать книги, но выбор их был очень беден. Пётр Григорьевич выписал себе два тома Ленина и учебник со словарем немецкого языка. А однажды вдруг предложил провести семинар по марксизму-ленинизму! Желающие, как ни странно, нашлись, и после прогулки несколько человек, расположившись в большой палате за столом, приготовились слушать.

Поначалу мне показалось, что генерал, еще недавно возглавлявший кафедру в военной академии, просто соскучился по преподавательской работе и, чтобы не терять квалификации, решил немного попрактиковаться. Из кого же состояла его аудитория? Кро-

ме немолодого бухгалтера из Калининграда пришло еще несколько молодых ребят, старшим среди которых был я. Кроме бухгалтера, никто из нас не имел за плечами сколько-нибудь серьезного образования, хотя тяга к знаниям, по-видимому, ощущалась.

Во многих семьях, в том числе и моей, книжные полки, при всей их тесноте, занимали многотомные собрания Ленина и Сталина, и поневоле, больше из любопытства, я заглядывал в сочинения этих корифеев, не вдаваясь особенно в их смысл. Тем не менее, воспитываясь в семье прокоммунистически настроенных родителей, я еще со школы возненавидел Сталина, но продолжал преклоняться перед «дедушкой Ильичом», считая беспредел «культа личности» следствием болезни и смерти Ленина, который никогда ничего подобного бы не допустил. Одна из трех моих листовок заканчивалась словами: «Да здравствует свобода и счастье советского народа, как завещал нам великий Ленин!» А узнав, что Пётр Григорьевич организовал и возглавил «Союз борьбы за возрождение ленинизма», я подумал, что вступил бы в него не задумываясь, поскольку тоже считал отход от ленинизма причиной всех наших бед.

И тут мне вспомнилось, как года два назад наш сосед по квартире, подполковник, заведующий военной кафедрой МАДИ, рассказывал, как какой-то генерал на партийной конференции прямо с трибуны стал резать правду-матку в глаза большому начальству, а вскоре затем куда-то исчез. Я решил спросить об этом нашего лектора, не знает ли он случайно о дальнейшей судьбе того генерала.

— Генерала этого я знаю, — отвечал он, — а вот судьба его неизвестна, так как сейчас он в Сербском (!?)

Больше вопросов не было, и Пётр Григорьевич приступил к занятиям, для начала предложив нам познакомиться с работой Ленина «Государство и революция». Он рассказал, что Ленин работал над этой вещью в Разливе, скрываясь от агентов Временного правительства, всего за несколько месяцев до Октябрьского переворота.

Слушать его было очень интересно, потому что рассказчик он был замечательный. Просто и доходчиво объяснял малопонятные места из книги, обращал наше внимание на особенно важные, с его точки зрения, моменты. По-моему, увлечены были все, а мне так даже захотелось вести конспект, для чего нужно было сначала разжиться карандашом и бумагой, которые нам, психам, были не положены. Но вспомнив, где я нахожусь, я отказался от этой затеи, поскольку по возвращении в Лефортово мои записи все равно были бы отображены и легли бы на стол следователя.

Во все время беседы в палате стояла необычная тишина. Не было ни шума, ни хождений, ни смешков, хотя повода для них, казалось, было достаточно. Куда уж больше: психов приобщают к основам марксизма-ленинизма. Но, видно, таково было влияние генерала на окружающих, а его спокойный и твердый голос так овладел всей палатой, что она без возражений признала за ним право на эту «просветительскую миссию». Хотя, как стало ясно позднее, его заботило не столько наше идеологическое невежество, сколько хотелось научить нас думать, самостоятельно понимать и оценивать окружающее, сверяя (пусть и по Ленину) пустопорожние слова и лозунги с реальными поступками и делами.

Разумеется, не бывало еще в истории Сербского подобных мероприятий, и об этом сейчас же было доложено врачу Маргарите Феликсовне Тальце. Эта дама с узким лицом и тонкими, в ниточку, губами чем-то напоминала «железного Феликса», и по отделению даже ходил слухок, будто она побочная дочь Дзержинского. Мне казалось, что она люто ненавидит Петра Григорьевича и, где только можно, старается ему навредить. Так, когда он обратился к ней с просьбой выдать ему карандаши и бумагу, она ему отказала. А после его замечания, что даже Ленину, одному из вождей революционного подполья, разрешали в царской тюрьме ручку и чернила, она записала в истории болезни: «...сравнивает себя с Лениным».

К сожалению, этот наш семинар (а кроме него проводилась еще и коллективная читка «Правды», которую, чтобы как-то прекратить эту самодеятельность, стали поскорей забирать, якобы для пациентов других отделений) продержался недолго. Григоренко, может и умышленно, начали подолгу задерживать на обследованиях. Да и меня, в нарушение всех законов, без конца тягали к приезжавшему сюда следователю. Кроме бесконечных допросов, он заставлял меня еще писать диктанты для почерковедческой экспертизы. А мой подельник Борис Хасянов, как я узнал от него, изнывал в это время в своей Лефортовской одиночке, не догадываясь, что его «паровоз» уже месяц находится на обследовании в институте судебной психиатрии. Услыхав об этом, он очень долго смеялся.

Напоследок хотел бы добавить еще два слова о «Государстве и революции». Оказавшись в мордовских лагерях, я узнал об одном питерском парне, который, закупив штук двадцать экземпляров этой брошюры, подчеркнул в ней красным карандашом все наиболее примечательные на его взгляд места и стал раздавать книжку рабочим у проходной Кировского (Путиловского) завода. За это он был арестован и осужден на три года. Ума не приложу, по какой статье? Неужели по нашей, семидесятой, — за антисоветскую пропаганду и агитацию? Как же точно было кем-то однажды сказано: *«Отсутствие у вас судимости — не ваша заслуга, а недоработка системы»*.

6. Последняя неделя и возвращение в Лефортово

Все, что не подвергалось порче (шпиг, чеснок, сахар), мы после голодовки перенесли в тумбочку одиночки и следили за тем, чтобы генерал про это не забывал. А по вечерам «расслаблялись» как могли. Молодость есть молодость, она способна сохранять веселость даже в самых малоподходящих условиях. Смеялись над анекдота-

ми, показывали друг другу приемы борьбы или фокусы. Иногда на шум приходил и Пётр Григорьевич, отложив свои «умные» книги.

Особенно запомнился вечер накануне выписки Костика. Он, как и обычно, был гвоздём программы. В тот вечер он с кем-то поспорил на стакан компота, что за несколько минут снимет с любого нательную рубашку, не снимая пижамы. Для этого ему требовался ассистент, но на эту роль никто не соглашался, опасаясь с его стороны очередного подвоха. И все же ему удалось «уболтать» свежеступившего сельского пацана. Этот парень с грустными, как у коровы, глазами купился на обещанную Костей пачку «Примы». В уголовной среде, особенно в следственных изоляторах или на пересылках, фокусы с картами, спичками, незаметным вытаскиванием из карманов кошельков обычное явление. Здесь же публика собралась еще не искушенная, и подобное ей было в диковинку.

Костя вывел ничего не подозревающего ассистента на середину палаты и объявил:

— Уважаемые арестанты! Только для вас и только сегодня напоследок показываю трюк, которым, при желании, вы сможете в тяжелую для себя минуту заработать на кусок хлеба.

Люди со всех сторон стали подтягиваться к фокуснику. Паренек же, увидев себя в центре внимания, покраснел и, видимо стухнув, попытался смыться. Но Костя удержал его за руку, шепнув: «Не дрейфь, фраерок. Больно не будет, сукой буду...»

— Итак, прошу тишины, — провозгласил он. — А Вы, Пётр Григорьевич, следите особенно внимательно. Вам это тоже может пригодиться.

Костик попросил ассистента раскинуть руки в сторону на ширину плеч. Тот покорно выполнил это и стал ждать какого-то подвоха. «Факир» неспеша сделал круг, внимательно разглядывая при этом парня, словно цыган на базаре при покупке лошади. Потом обошел еще раз. Никакого действия пока что не было, но зрители

уже покатывались от смеха. Да и как было не смеяться, глядя на деревенского парня, стоящего в центре круга с расставленными, как у огородного пугала, руками и напряжённо следящего за поведением хитроумного кудесника.

Сделав несколько пассивов перед лицом «пугала», Костя растегнул пуговицы на его нижней рубашке, а свои рукава засучил выше локтя. После этого, крепко вцепившись обеими руками в левый рукав рубашки ассистента, он стал сильно тянуть ее на себя. Бедный парень качался, но добросовестно держал руки на уровне плеч. А Костя все тянул и тянул на себя его рукав. Подол рубахи выскользнул из-под пижамы и прикрыл половину лица «подопытного». Его глаза, полные слез, со страхом следили за мучителем. Наверное, он проклинал себя за слабость, что купился на эту чертову пачку сигарет на потеху всему отделению.

А в палате творилось что-то невообразимое. Зрители хохотали до слез и буквально катались на своих койках. Даже наши надзирательницы зашли поглядеть, что там вытворяют психи. Но вот Костя сделал последнее усилие и, наконец, велел жертве опустить руки. Тот с радостью это выполнил. Наступила полная тишина — все замерли. Рубаха ассистента обвивала его шею, а он стоял и хлопал глазами, не понимая, почему стало так тихо. И в этой тишине «факир», громко произнеся какое-то магическое заклинание, подошел к нему уже с другой стороны и глубоко просунул свою руку в правый рукав его пижамы. И через мгновение вся рубаха была уже у него в руках. Мы ахнули... Как это? А он победно размахивал над собой своим трофеем, тогда как его ассистент недоуменно разглядывал под пижамой свою голую грудь.

Раздались аплодисменты. Косте жали руку, поздравляли. А Пётр Григорьевич, утирая слезы, обнял его и поблагодарил: «Ну, Костик, и уморил же ты нас! Спасибо».

И довольный Костя, зная, что завтра его увезут и пользуясь редким к себе благорасположением, объявил: «Братья-славяне, неужели вы позволите моему помощнику умереть без курева? Скиньтесь, кто сколько может... А я ведь еще и кальсоны могу стянуть, не снимая брюк. Есть желающие?»

* * *

Наступил апрель, и моя экспертиза закончилась. Я снова в Лефортово. После светлых и шумных палат «Сербского» камера показалась каменным мешком, а одиночество невыносимым. Но человек, как известно, привыкает ко всему... Вскоре следователь уведомил меня, что я признан вменяемым и могу отвечать за содеянное, а, следовательно, меня будут судить. Вспомнился разговор с Петром Григорьевичем, сказавшим, что меня, рабочего человека, наверняка пошлют в лагерь, а вот его скорей всего упрячут в психушку.

Этого я никак не мог себе представить. Разве можно его, боевого офицера, преподавателя академии, энциклопедически образованного и совершенно психически здорового человека бросить к маньякам и дебилам? В тишине Лефортовской камеры я постоянно вспоминал этого необыкновенного генерала. Что он теперь делает, где находится? До «Сербского» его держали на Лубянке, может быть, и сейчас он там?

И вот однажды в солнечный день Первомая мы с сокамерником, придя с прогулки и прислушиваясь к доносящемуся к нам из коридора звяканью бачков с праздничным обедом, вдруг услышали, как тишину многокорпусного изолятора с замечательной акустикой взорвал громкий голос какого-то человека. Его должны были слышать обитатели всех до единой камер: «Товарищи! Поздравляю вас с празд...». Но тут послышалась короткая возня, и все смолк-

ло, уступив место обычной тюремной тишине, нарушаемой только хлопаньем кормушек да звоном половника о миски.

Не узнать этот голос было невозможно. Это его, Петра Григорьевича, ни на кого не похожий голос! Значит, он здесь. Значит, он ошибся, и его, как и меня, признали психически здоровым. Ура, он здесь, и, значит, мы даже можем попасть в один с ним лагерь! Этот Первомай, в самом деле, стал для меня по-настоящему праздничным. Я обнял своего соседа-валютчика, закружился с ним, забыв даже про открытую кормушку с привезенным обедом. А потом до вечера рассказывал ему, какой это смелый, добрый и умный человек, хотя и коммунист, и генерал, но совершенно не похожий на обычного советского генерала.

* * *

А через две недели нас с моим подельником Борисом Хасяновым судил московский городской суд. Всего два дня при совершенно пустом зале. Мы получили на двоих «десятку» строгого режима и стали ждать этапа. В июне нам дали свидание с женами. Перед самым свиданием мелким почерком я написал записочку, в которой просил жену зайти на Комсомольский проспект к жене генерала, чтобы познакомиться и по мере сил помогать друг другу. Записку скатал в комок и сунул за щеку.

Свидание проходило в кабинете следователя в присутствии его хозяина и надзирателя. Оно было очень коротким, и мы не успели как следует наглядеться после полугодовой разлуки. Общие фразы о здоровье, о сынишке, и вот уже велят прощаться. Мы потянулись через стол для прощального поцелуя, во время которого я попытался протолкнуть спрятанный за щекой комок в рот жене. Но, видимо, от неожиданности она выронила его на стол. Мокрый шарик тут же под-

хватил надзиратель и передал следователю. Тот аккуратно его развернул, разгладил и стал читать. А, прочтя, с злорадством произнес:

— Нехорошо, Юрий Леонидович, нарушать правила СИЗО. А Григоренко-то вам зачем? Он же сумасшедший...

— Всем бы быть такими сумасшедшими, — буркнул я упавшим голосом и укоризненно посмотрел на ничего не понимающую Соню, сидевшую напротив с полными слез глазами.

И только по пути в камеру я вдруг понял, что это могло значить. Петра Григорьевича таки признали «психом»! Он и тут оказался прав. И каким неопытным и наивным в который уже раз оказался я сам.

* * *

На наше счастье Хрущева скинули той же осенью, но увидеться мы смогли лишь через два с половиной года. Когда я вернулся в Москву и пришел по записанному у меня адресу на Комсомольский проспект, то долго стоял перед дверью квартиры, моля Бога, чтобы генерал оказался дома. Дверь открыл молодой парень в очках. Волнуясь, я спросил его, можно ли увидеть Петра Григорьевича.

— Сейчас нельзя, — ответил он. — Да вы проходите. Он вышел в магазин за картошкой, скоро вернется.

Мы познакомились. Им оказался младший сын Григоренко Андрей.

Так началась наша дружба семьями, которая длилась два десятилетия. А Пётр Григорьевич умер в 1987 году почти одновременно с моим сыном...

Мустафа Джемишев

«Он был более чем другом для крымскотатарского народа»

В течение уже более полутора десятка лет граждане бывшего Советского Союза, во всяком случае, большинство людей этого бывшего государства могут открыто, не опасаясь репрессий, высказывать и даже публиковать свои мысли и взгляды, то есть пользоваться своим естественным, данным им Всевышним правом, — правом на свободу слова и мысли. Но мы еще не так далеко ушли от тех лет, когда это могли позволить себе лишь немногие, потому что за свободное выражение мысли надо было расплачиваться годами лишения свободы в тюрьмах и лагерях, в страшных психиатрических «лечебницах» МВД, а зачастую и самой жизнью. Такая цена могла быть доступной только для тех, у кого человеческое достоинство было значительно сильнее страха за свою жизнь, за свое личное благополучие, для людей с очень чуткой совестью.

Есть на Востоке пословица, которая гласит: «Больше всего за свою шкуру трясется тот, чья шкура ничего не стоит». Петро Григоренко принадлежал к той когорте людей, для которых исполнение своего нравственного и гражданского долга было превыше всего.

О многогранной жизни и деятельности П. Григоренко можно писать очень много. В частности, военные специалисты, несомненно, могут анализировать и давать оценку его деятельности как военного ученого, ибо у него около сотни научных публикаций в военной сфере. Базируясь на исследовании П. Григоренко о советско-германской войне под заглавием «Сокрытие исторической правды...», которому дали высокую оценку многие специалисты, безусловно, можно говорить о нем как о талантливом историке. Я же ограничусь в основном повествованием о деятельности П. Григоренко в связи с крымскотатарским вопросом, основываясь на своих личных контактах с ним.

Крымскотатарское национальное движение, в силу своего ненасильственного и демократического характера, привлекало внимание и симпатии многих прекрасных людей различной национальности. Они оказывали нам посильную помощь. С риском для своей свободы они распространяли информацию о беззакониях властей против крымскотатарского народа, документы и обращения Национального движения, подписывали сами обращения и заявления для мировой общественности в поддержку борьбы нашего народа. И особое место среди этих людей занимает наш друг и брат — украинец Петро Григорьевич Григоренко.

17 марта 1968 года находящиеся в Москве делегаты крымских татар решили торжественно отметить 72-летие со дня рождения русского писателя, узника сталинских лагерей Алексея Костерина, который активно выступал в защиту прав репрессированных народов, распространял в самиздате очень смелые по тем временам статьи, памфлеты и открытые письма, где требовал незамедлительного восстановления прав крымскотатарского народа. Для чествования именинника мы арендовали помещение одного из московских кафе, приготовили национальные блюда и ждали Костерина. Но Алексей Костерин, ввиду случившегося накануне инфаркта, не

смог присутствовать на организованном нами торжестве. Приехали несколько московских диссидентов, супруга писателя Костерина и высокий плотный пожилой мужчина. Это и был тот самый военный ученый, опальный генерал Петро Григоренко, уже отсидевший к этому времени полуторагодовой срок в спецпсихушке МВД за выступления с критикой советского режима. Его на том вечере нам представили как самого близкого друга Алексея Костерина, которого писатель специально попросил участвовать на вечере вместо себя.

Мы произнесли в адрес Костерина свои благодарственные речи за его помощь, оказываемую им крымским татарам и другим репрессированным народам. С ответной речью от имени писателя выступил Петро Григоренко.

Это была блестящая речь, которую потом опубликовали в некоторых зарубежных изданиях, передавали западные радиостанции, в тысячах экземплярах распространяли среди крымских татар и зачитывали на всех наших собраниях и митингах. В одночасье Петро Григоренко приобрел широкую известность в крымскотатарском народе. С этого дня и до конца своей жизни он был всегда душой и сердцем вместе с нами.

Знаменитая речь Петра Григоренко на вечере в честь дня рождения А. Костерина оказала большое влияние на радикализацию крымскотатарского Национального движения. Григоренко призвал коренным образом изменить нашу стратегию и тактику, прекратить обращаться в ЦК КПСС и к правительству, то есть к основным виновникам всех преступлений против нашего народа, с просьбами о справедливости, а переходить к решительным требованиям, ибо, как он говорил, «то, что положено по праву, не просят, а требуют».

Конечно, и до выступления П. Григоренко в нашем Национальном движении почти с самого его зарождения существовало доста-

точно радикальное крыло, которое исходило из того, что нечего ждать милосердия и справедливости от преступных кремлевских вождей, и что только мобилизуя широкую мировую общественность можно заставить их уважать наши права. Но бесспорно и то, что именно после тесных контактов активистов нашего Национального движения с диссидентскими кругами и, в первую очередь с П. Григоренко, это крыло в нашем Национальном движении очень скоро стало основным и доминирующим.

Соответственно изменили в определенной мере свою тактику и карательные органы в отношении Национального движения крымских татар. Если они раньше обрушивали репрессии даже против тех, кто подписывал изложенные в строго коммунистическом духе просительные и верноподданнические петиции в адрес ЦК КПСС, то теперь они свой основной удар направляли против тех, кто поддерживал тесные контакты с диссидентами других национальностей и апеллировал в своих обращениях к международной общественности. Для внесения раскола в Национальное движение они стали даже создавать некие «течения» и группировки из числа крымских татар, исповедовавших просительский тон в взаимоотношениях с властью и отвергавших необходимость вовлечения активистов крымскотатарского национального движения в общедиссидентское движение СССР. Некоторые из таких лояльных к режиму группировок были использованы и против опального генерала — они выступили с заявлениями о том, что, мол, установление отношений с антисоветчиками типа Григоренко, Солженицына и Сахарова наносит ущерб крымскотатарскому национальному движению, дискредитирует наш народ в глазах советской общественности и отдаляет решение крымскотатарского национального вопроса. Взамен они настаивали на том, что следует ограничиться лишь обращениями к руководству «родной партии», которое непременно «по-ленински» решит наш вопрос.

Предпринимались с помощью угроз и посулов также попытки собрать подписи под заготовленными в КГБ и идеологическом отделе ЦК КПСС так называемыми «письмами трудящихся» и «обращениями представителей интеллигенции крымских татар» против генерала Григоренко. Но согласившихся поставить свои подписи под такими «письмами» во всем нашем народе нашлось всего несколько десятков человек — это были, в основном далекие от политики и национального движения, запуганные люди или же представители так называемой «крымскотатарской номенклатуры», то есть преимущественно члены партии, занимавшие какие-то посты и ради сохранения своих теплых мест готовые снести негодование своих соотечественников.

Квартира самого Петра Григоренко, естественно, находилась под постоянным наблюдением органов — все прослушивалось, просматривалось, почта тщательно перлюстрировалась. Он не мог даже сходить в соседний магазин за продуктами без того, чтобы за ним не увязалось несколько гебистских филеров. Но арестовывать его власти долгое время не решались — им мешала его огромная популярность и, особенно, его широкая известность на Западе.

Чисто в правовом отношении создавалась довольно странная ситуация. Если у рядового человека во время обыска обнаруживали статьи П. Григоренко и, особенно его знаменитую речь на вечере 17 марта 1968 года, то это было достаточным основанием для его ареста по обвинению в хранении и распространении документов, порочащих советский строй. Например, 21 апреля 1968 г. в г. Чирчике близ Ташкента были избиты и разогнаны несколько тысяч крымских татар, собравшихся отмечать свой национальный праздник «Дервизу», а несколько человек были арестованы и преданы суду. И основной причиной этой жестокости было то, что по оперативным данным КГБ на этом празднике активисты Национального движения собирались зачитать речь П. Григоренко. А вот сам автор

этой речи продолжал находиться на свободе. То же самое позже происходило и с произведениями А. Солженицына и А. Сахарова. «Архипелаг Гулаг» и «В круге первом» А. Солженицына или «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А. Сахарова давно гуляли по рукам и их обнаружение стоило хранителю как минимум статьи 190-1, а то и статьи 70 УК РСФСР, карающей до 12-ти лет лишения свободы, но авторы этих произведений продолжали находиться на свободе. А объяснение этому было в том, что органы действовали по принципу шакалов — хватать запросто очень сильных они побаивались, а ограничивались до поры до времени только гнусными провокациями против них, пытались создать вокруг них общественный вакуум.

Крымские татары, опасаясь внесудебной расправы над генералом с помощью какого-либо провокатора из-за угла, тоже были вынуждены принять некоторые меры в защиту своего друга. Из Узбекистана в Москву была послана специальная группа молодых крымских татар, которые должны были тайно вести негласное наблюдение за квартирой Григоренко и сопровождать его во время поездок по городу, а в случаях каких-либо провокаций со стороны органов защищать его всеми доступными средствами. Возглавлял эту группу член постоянной делегации крымских татар в Москве Кязим Сейтумеров из г. Гулистана.

Об этом долгое время не знал и сам Григоренко. Как-то он мне сказал, что в последнее время возле своего дома и во время прогулок он стал часто замечать почему-то и филеров нерусской национальности. А я ему ответил: «Вот их-то как раз можете не опасаться, а, наоборот, в случае необходимости всегда можете рассчитывать на их помощь...» Петро Григорьевич посмотрел на меня с недоумением, потом сердечно расхохотался, подал мне руку, но одновременно и пожурил за то, что мы «нерационально» тратим свои средства.

После вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 г. репрессии властей против диссидентов резко усилились. Один за другим были арестованы и 10 активистов нашего Национального движения. Пришли тогда гебисты и ко мне домой в Ташкенте, но мне удалось благополучно выпрыгнуть из окна и бежать с частью нашего архива, а затем в течение двух месяцев находиться практически на нелегальном положении.

10 ноября 1968 г. скончался Алексей Костерин. Его похороны превратились в грандиозную по тем временам демонстрацию инакомыслящих. Приехали на похороны также делегации от крымских татар, чеченцев и ингушей, за права которых долгие годы боролся Костерин. И возглавлял эту демонстрацию его друг — генерал Петро Григоренко, который произнес на его похоронах вызвавшую большой резонанс блистательную речь.

Через несколько дней после похорон в доме Григоренко состоялся обыск. Пришли рано утром — часов в шесть-семь. Я как раз в тот день ночевал у него дома. Раздается звонок, П. Григоренко подходит к двери и спрашивает — кто там. Те отвечают: «Мы крымские татары, из Узбекистана». Эти слова действуют на Григоренко магически, и он сразу же открывает дверь, но в квартиру вваливаются более десятка гебистов во главе со следователем по особо важным делам прокуратуры Узбекистана Б. Березовским. Формально обыск проводился по делу 10-ти арестованных крымских татар по постановлению прокурора Узбекистана.

Увидев в квартире и меня, они чрезвычайно обрадовались. Б. Березовский сразу же позвонил куда-то своим и сообщил, что М. Джемилев, бежавший во время обыска в Ташкенте, тоже здесь, и он будет «доставлен».

«Быть доставленным» в мои ближайшие планы никак не входило. Через пару часов после начала обыска, пользуясь создавшейся суматохой, я предпринял новую попытку побега. Но на этот

раз неудачно. Прыгая из окна квартиры Григоренко, расположенной на 3-м этаже довольно высокого дома, я сломал себе ногу, был схвачен и доставлен сперва в отделение УВД, а потом в больницу Склифосовского, где мне наложили на ногу гипс. Арестовывать они меня тогда не стали. Во-первых, об обыске в квартире Григоренко и инциденте с моим неудачным прыжком моментально передали многие западные радиостанции, а во-вторых, им явно не хотелось арестовывать меня в Москве. Видимо, они решили, что я с переломанной ногой далеко не уйду, вернусь к себе в Узбекистан, и там они меня спокойно заберут.

Через два дня в больнице Склифосовского врачи сказали, что меня выписывают, так как у меня нет московской прописки, и что дальше меня будут долечивать по месту жительства в Узбекистане. Но при выходе на костылях из больницы неожиданно подъехали несколько диссидентов — среди них Виктор Красин, Петр Якир — они посадили меня в машину и привезли прямо на квартиру Григоренко. Я оставался у них с гипсом в течение нескольких месяцев, стал как бы членом их семьи и отчасти стал вроде референта П. Григоренко: занимался его бумагами, перепиской, делал для него обзор прессы, принимал часть посетителей и т. п.

Месяцы, проведенные в этой прекрасной семье, были очень бурными и самыми интересными в моей жизни, ибо я находился в эпицентре диссидентского правозащитного движения страны: встречи с виднейшими диссидентами того времени, огромное количество самиздатской и эмигрантской литературы, которую едва успевал прочитывать и, главное, длительные беседы с самим Петром Григоренко. Он острее, чем мы сами, воспринимал все беззакония, совершаемые властями против крымских татар. Мы как-то уже привыкли к тому, что кого-то арестовывают, сносят в Крыму бульдозерами купленные за последние сбережения дома, а самих под конвоем выдворяют за пределы полуострова и т. п. А Петро

Григорьевич не мог успокоиться, пока что-нибудь не сделает в поддержку пострадавших. Помню, как он растолкал меня рано утром и говорит: «Ну чего ты спишь! Там в Крыму Энвер Аметов уже седьмые сутки держит голодовку в знак протеста против разрушения его дома. Надо же что-то делать...»

Когда моя нога зажила, Петро Григорьевич своим именованным кинжалом разрезал гипс и я, хотя и с палочкой, стал делать пробные вылазки за пределы его квартиры. Однажды выехал в город и прежде чем вернуться обратно, позвонил домой, чтобы спросить, не нужно ли купить какие-либо продукты. Трубку поднял Петро Григорьевич и взволнованным голосом сказал: «Сейчас только получил сообщение, что час назад у Боровицких ворот Кремля стреляли в Брежнева, и что вроде бы стрелял крымский татарин. Если это так, то начнут хватать всех крымских татар без разбора. Решай сам что делать!»

Это было что-то невероятное, потому что, во-первых, подобные методы были совершенно чужды для нашего Национального движения. Во-вторых, я знал всех крымских татар, кто находился в то время в Москве — они часто навещали меня в квартире Григоренко, и если бы намечалось подобное мероприятие, то обязательно посоветовались бы или хотя бы намекнули. Я сразу решил, что это какая-то провокация, а Петру Григорьевичу ответил, что в таком случае сегодня домой не вернусь, а свой адрес сообщу позже. Купил билет в сторону Кавказа и перед отходом своего поезда снова позвонил Петру Григорьевичу, чтобы попрощаться. Он говорит, что, мол, всё в порядке — возвращайся, оказывается, стрелял вовсе не крымский татарин, а какой-то лейтенант Ильин. Причем, стрелял как-то неудачно — перепутал машины и вместо того, чтобы стрелять в машину Брежнева, открыл пальбу из двух пистолетов в следовавшую за ней вторую машину, в которой находился только что вернувшийся из космического пространства космонавт Берего-

вой, сумев ранить только не то водителя, не то одного из телохранителей... Но я ответил, что поскольку все равно в ближайшие дни собирался уехать, то лучше это сделать сейчас.

Я уехал в Краснодарский край, а с Петром Григорьевичем мы поддерживали переписку и обмен информацией через наших спецкурьеров.

Тем временем в Ташкенте готовился процесс над 10-ю активистами крымскотатарского движения. П. Григоренко выразил желание выступить на этом процессе в качестве общественного защитника, и очень скоро было собрано около двух тысяч подписей крымских татар с ходатайством допустить его на этот процесс в качества общественного защитника.

Процесс был назначен на начало мая и П. Григоренко вылетел в Ташкент. Одновременно из Краснодарского края выехал поездом туда и я.

В Ташкенте я узнал, что процесс откладывается на июнь и П. Григоренко намерен вернуться в Москву. Мне сообщили, что он остановился в доме активиста Национального движения Дильшата Ильясова, и я выехал туда.

Григоренко был болен, с высокой температурой лежал в постели, но у него на вечер этого же дня уже был куплен билет в Москву и он обязательно хотел вылететь.

Прошло, наверное, не более часа с момента, когда я вошел квартиру, где находился П. Григоренко, как раздался звонок в дверь. Я машинально заглянул в окно. Весь дом был окружен милицией и солдатами — словно в этом доме находилась банда вооруженных головорезов, а не пожилой человек, единственным оружием которого было перо.

Я крикнул: «Не открывайте дверь!», так как думал, что пока они будут ломиться сами, мы успеем спрятать или уничтожить кое-какие бумаги. Но было уже поздно — в квартиру вошли более

десятка милиционеров, солдат и штатских во главе с тем же Березовским.

Начался тщательный обыск, а затем Петру Григорьевичу предъявили ордер на арест по статье 190-1 УК РСФСР. Ознакомившись с ордером, Петро Григорьевич бодро сказал, что ничего страшного — увидимся через три года. Я выразил надежду, что, может быть, увидимся еще раньше, и поблагодарил его за всё, что он сделал для нашего народа, и Петра Григорьевича увели. Это было 7 мая 1969 года.

И действительно, увиделся я с ним еще раз всего через несколько месяцев — правда, не на свободе, а в подвальной тюрьме КГБ в Ташкенте.

Я ожидал, что меня тоже арестуют, но этого в тот день не произошло. У меня отобрали все имеющиеся при мне бумаги и документы, оставили возле меня двух милиционеров, сказав им, чтобы они мне не разрешали выходить из комнаты или звонить по телефону, и уехали. Я решил, что Березовский поехал выписывать ордер на мой арест или советоваться со своими начальниками, но примерно через час милиционерам позвонили и приказали покинуть квартиру.

Позже мне удалось выяснить причину задержки с моим арестом. Оказывается, они располагали сведением, что с собой из Краснодарского края я привез несколько чемоданов с нашими архивными бумагами, но где я их спрятал, они не знали. Вот и решили, что если установить за мной плотную слежку, то накроют и архив. Но мне удалось оторваться от слежки и снова выехать в Москву.

Здесь 20 мая 1969 года на одном из собраний диссидентов, проведенном в связи с арестом Петра Григоренко, было составлено обращение в Комитет прав человека ООН, где повествовалось о грубейших беззакониях советской власти, и сформировалась Инициативная группа по защите прав человека в СССР в составе 15-ти человек. От крымских татар в эту Инициативную группу был включен я. Это была первая в СССР открыто и официально заявив-

шая о себе правозащитная политическая организация, резко оппозиционная к советской власти.

А еще через несколько дней — 6 июня 1969 года в день открытия в Москве международного совещания коммунистических партий — группа крымских татар (Решат Джемилев, Айдер Зейтуллаев, Ибраим Холапов, Энвер Аметов и Зампира Асанова) устроила демонстрацию на площади им. Маяковского в Москве с транспарантами «Свободу генералу Григоренко!», «Коммунисты, верните Крым крымским татарам» и др., и разбросала машинописные листовки. Демонстрация продолжалась всего 6 минут. Затем на них набросились милиционеры, гебисты и толпы москвичей, избили их и отправили в отделение милиции.

Одного за другим начали арестовывать и членов созданной Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В конечном счете из 15-и членов на свободе остались только трое — две женщины — лингвист Татьяна Ходорович и математик Татьяна Великанова, а также геофизик Григорий Подъяпольский. Шестеро были осуждены по статьям 190-1 и 70 УК РСФСР, четверо отправлены на долгие годы в спецпсихлечебницы, двоих заставили эмигрировать.

Меня арестовали в Москве на следующий день после демонстрации крымских татар на площади Маяковского и доставили в Ташкент. В КГБ Ташкента перед подписанием постановления о привлечении к уголовной ответственности сделали гнусенькое предложение написать заявление с осуждением Петра Григоренко и отказе от правозащитной, как они выражались, «антисоветской» и «националистической» деятельности, за это обещали свободу и даже квартиру в любом месте Крымской области.

Уголовное дело против меня, Петра Григоренко и арестованного в Москве и тоже доставленного в Ташкент поэта Ильи Габая было объединено в одно общее дело. Но вскоре дело против П. Григоренко было выделено в отдельное производство. Его решили не

судить, а направить в психушку — кара эта, разумеется, намного более страшная, чем любой лагерь.

Отсидев по три года в лагерях, я и Илья Габай вышли на свободу, но вскоре Илья Габай покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна своей квартиры в Москве на 12-ом этаже, а его семья потом эмигрировала в Лондон. Я жил в небольшом узбекистанском городке под гласным административным надзором, поскольку вышел из лагеря по окончании срока со справкой-ориентировкой, где говорилось, что я «на путь исправления не встал» и своих «преступных связей с антисоветчиками» не порвал.

Петро Григоренко продолжал оставаться в спецпсихбольнице — сперва в страшной психушке г. Черняховска, а потом, с 19 сентября 1973 года, под мощным давлением Запада его перевели в 5-ую московскую психбольницу вольного типа в с. Троицком в нескольких десятках километров от Москвы.

К этому времени у меня кончился срок административного надзора, мне было дозволено выезжать за пределы своего городка и я, взяв трудовой отпуск, вылетел в Москву и оттуда вместе с женой Григоренко мы посетили Петра Григорьевича.

Это была наша последняя встреча. Его окончательно освободили из психушки 26 июня 1974 года, но за неделю до его освобождения меня снова арестовали.

Страшные физические и нравственные пытки, которые перенес П. Григоренко в тюрьме КГБ Ташкента, в институте Сербского в Москве и в спецпсихушке Черняховска — избиения, смирительные рубашки, насильственные кормления во время голодовок протеста с выбиванием зубов, вызывающие ужасающую боль уколы аминазина и иных пыточных медицинских препаратов, вводимые в его тело врачами-садистами, специальные водворения его в тесные камеры с буйными умалишенными — ничуть не сломили волю этого мужественного человека.

Он снова приступает к правозащитной деятельности, налаживает связи с оставшимися еще на свободе и появившимися на политической арене страны новыми диссидентами, активно выступает с требованием освобождения из тюрем и «психушек» осужденных по политическим мотивам, делает новые заявления в защиту прав крымских татар. Во многом благодаря ему крымскотатарская проблема вышла на мировую арену.

В середине мая 1976 года он вместе с Еленой Боннэр, Анатолием Марченко, Юрием Орловым и другими правозащитниками создает Московскую Хельсинкскую группу за соблюдение прав человека в СССР. И первое заявление, сделанное этой группой, касалось проблемы крымскотатарского народа.

Еще позднее, 9 ноября 1976 года, он вместе с известными украинскими правозащитниками Мыколой Руденко, Иваном Кандыбой, Левко Лукьяненко, Мирославом Мариновичем и другими — всего 11 человек, создает Украинскую Хельсинкскую группу.

В конце ноября 1977 года — за месяц до моего освобождения из лагеря на Дальнем Востоке — в связи с болезнью и по приглашению американских врачей он вылетел на операцию в США. Перед вылетом у него состоялся разговор с ответственными чинами КГБ. Он сказал им, что вылетит в Америку только в том случае, если будет гарантия, что ему после лечения позволят вернуться обратно. Гебисты заверили, что его непременно пустят обратно, если он не будет в Америке делать политических заявлений и порочить советскую власть.

В аэропорту Нью-Йорка его встречали сотни проживающих там крымских татар, украинцев, представители различных организаций, десятки корреспондентов. Петро Григоренко сразу же заявил репортерам, что хотел бы после лечения вернуться домой и поэтому, в соответствии с условиями соглашения с властями СССР, никаких заявлений или сообщений политического характера по поводу положения с правами человека делать не будет, а всем, кто дейст-

вительно интересуется этими вопросами, предлагает самим приехать в СССР и увидеть всё своими глазами. Тем не менее, советские власти вероломно нарушили свое обещание.

10 марта 1978 года был объявлен принятый, оказывается, еще 13-го февраля, указ ПВС СССР за подписью Брежнева и Георгадзе о лишении его советского гражданства.

В это время я уже более двух месяцев был на свободе и жил под административным надзором в Ташкенте. Через день после публикации указа о лишении П. Григоренко советского гражданства мне позвонили из Нью-Йорка. Звонил проживающий там мой родственник, президент Национального центра крымских татар в США Фикрет Юртер, который после нескольких приветственных слов передал трубку Петру Григорьевичу. Дрожащим голосом он начал говорить о сложившейся ситуации, а потом посылались рыдания. Я стал за- верить его в том, что мы сделаем все возможное для восстановления его гражданства, и что кремлевские гниды вряд ли долго еще продержатся у власти, но я сам мало верил в свои слова. Мы действительно писали протесты, собирали подписи, протестовали и другие, как в СССР, так и за рубежом, но это не дало результатов.

Рыдал П. Григоренко, разумеется, не от того, что ему было плохо в Америке. Я позволю себе привести некоторые слова из опубликованных позднее его мемуаров, где он пишет об этой стране:

«...Америка предоставила нам политическое убежище, кров и пищу. Мы ей за это предельно благодарны. Мы многим восхищаемся в этой стране. И наверно восхищались бы больше, если бы была возможность в любой момент покинуть её и возвратиться к своим друзьям. Америка страна чудес. Я не перестаю поражаться её изобилием и организованностью. Здесь всё в избытке... В общем, мы попали не в другое государство, а на иную планету. «Догнать Америку» — это глупый лозунг. Догнать нельзя. Сегодняшняя Америка — результат многолетней свободы... Я полюбил эту страну и её добрый и гордый народ...»

У Петра Григоренко были прекрасные отношения и с высшими государственными деятелями США. Осенью 1990 года, когда я посетил его квартиру в Нью-Йорке, его жена З. М. Григоренко говорила о трогательном письме от тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера... Там были слова (не помню дословно, но смысл примерно такой): «Я знаю, что Вы тщательно выбираете своих друзей, но прошу Вас считать и меня другом Вашей семьи и разрешить иногда навещать Вас...»

Григоренко плакал потому, что он был верным сыном своего народа и он снова хотел быть в этой стране с ее ужасающей нищетой, усеянной тюрьмами, лагерями и психушками, с её тупыми и наглými чиновниками, ибо здесь его родина, его народ, его друзья и соратники.

Но и находясь в Америке, он сделал многое для помощи своему народу, своим друзьям и единомышленникам.

Вскоре меня снова арестовали — сослали на 4 года в Якутию, а потом после годичного перерыва на свободе новый арест и на этот раз отправили в лагерь строгого режима на Колыму. В ноябре 1986 года истекла моя очередной 3-летний срок заключения, но возбудили новое уголовное дело по так называемой «андроповской статье», то есть за неподчинение требованиям лагерного начальства, предусматривающей добавление срока еще на пять лет. Снова закрытый лагерный суд с подставными свидетелями-провокаторами. Меня признают виновным, но вдруг сообщают, что освобождаюсь из-под стражи. Оказывается, «учитывая гуманность советского суда» и наличие у меня несовершеннолетних детей (так говорилось в приговоре) решили приговорить меня к трем годам лишения свободы, но условно и с 5-летним испытательным сроком. Я был поражен, так как готовился совсем к другому. Думаю, откуда вдруг свалилась эта «гуманность советского суда», да и детей несовершеннолетних как будто бы раньше у меня не было...

Позднее я узнал, что наряду с различными заявлениями, протестами и демонстрациями, особенно в Турции, с требованием мо-

его освобождения, решающую роль сыграло обращение Петра Григоренко и его супруги Зинаиды Михайловны к президенту Р. Рейгану с просьбой оказать давление на советы и добиться моей свободы. Зинаида Михайловна говорила, что наряду с опубликованным позже в западной прессе их совместным обращением с ходатайством содействовать моему освобождению, было и другое письмо Петра Григоренко, где были слова: «Господин Президент, я умираю, и ничего меня спасти не сможет. Но я прошу Вас сделать все возможное для спасения другого человека...»

Так, за несколько недель до своей смерти, уже прикованный к постели и испытывая страшные боли, этот человек думал о других.

21 февраля 1987 года его не стало.

19 лет назад до своей смерти, выступая на похоронах своего друга — писателя А. Костерина, Петро Григоренко говорил:

«Далеко не каждый наделен таким качеством, как гражданское мужество... На моих глазах совершались героические воинские подвиги. Совершали их многие... Но даже многие из тех, кто были настоящими героями в бою, отступали, когда нужно проявить мужество гражданское. Чтобы совершить подвиг гражданственности, надо очень любить людей, ненавидеть зло и беззаконие и верить, верить беззаветно в победу правого дела. Алексею Костерину всё это было присуще. И тем тяжелее нам сегодня...»

Своим жизненным подвигом Петро Григоренко понятие о гражданственности и гражданском мужестве поднял на новую высоту.

В 1990 году, когда я впервые приехал в США и навестил его могилу, привратник кладбища, видя, что я возлагаю цветы к его могиле, сказал: «Вы знали этого человека? На его похоронах здесь было так много людей, как ни у одного из похороненных за все годы моей работы на этом кладбище».

Как известно, возвращающиеся на свою родину крымские татары в ответ на отказ властей выделить им земельные участки под

строительство жилья начали эти участки занимать сами и приступать самовольно к строительству. Один из таких самостроев возник в августе 1989 г. в селе Заланкой Бахчисарайского района, которое после нашего выселения в 1944 г. было переименовано в Холмовку. Власти пытались выдворить оттуда крымских татар силой и угрозами, но не получилось и после долгих проволочек все же земельные участки были узаконены. Выросло новое красивое крымскотатарское селение с двумя улицами. И решили жители этого села назвать одну из улиц именем Петра Григоренко, а другую именем Исмаила Гаспринского — нашего величайшего просветителя-гуманиста. Против И. Гаспринского власти ничего особого не имели, хотя и не знали толком о ком идет речь. Решили, видимо, что раз имя татарское, значит, это у них какая-то знаменитость — ну и Бог с ними. Но вот насчет Петра Григоренко они были решительно против. Они сказали, что эта улица будет называться «Фруктовой». Крымские татары заявили, что улица будет именно Петра Григоренко и никаких «фруктовых» или «овощных». И это противостояние продолжалось больше года. Людей не прописывали, потому что они не хотели прописываться на «фруктовой» и настаивали на своем, а, следовательно, они не могли из-за неоформленных документов ни устроиться на работу, ни оформлять иные правовые взаимоотношения... Но, в конечном счете, люди добились своего, и улица в Заланкое носит имя Петра Григоренко. Позже имя П. Григоренко было присвоено улицам в крымскотатарских поселениях в Симферополе и Ялте.

В 1999 году крымские татары решили установить памятник П. Григоренко в центре Симферополя на площади, которая называлась «Советской». Официального разрешения на это, конечно, ожидать не приходилось, поскольку в городском совете большинство составляли депутаты от компартии и шовинистических про-российских организаций. Поэтому решили устанавливать явочным порядком, т. е. без всяких разрешений. Коммунисты и активисты

пророссийских организаций заявили, что ни в коем случае не допустят установления памятника, а если он будет установлен, то непременно его снесут. Одновременно они предприняли попытку на намеченном нами месте водрузить камень с надписью, что там будет установлен памятник российской императрице Екатерине II. Строительство постамента для памятника П. Григоренко проводилось под охраной группы крымских татар, в задачу которых входило не только охрана строителей, но и недопущение установки камня с упоминанием Екатерины II. Поскольку угрозы не только не прекращались, но сопровождались небольшими стычками крымских татар с шовинистической толпой, мы тоже вынуждены были сделать свое заявление. Мы заявили, что памятник П. Григоренко обязательно будет установлен и не допустим установления памятника российской императрице, а в случае сноса коммунистами и шовинистами памятника П. Григоренко, немедленно приступим к демонтажу по всему Крыму многочисленных памятников Ленину и иным российским деятелям, которые известны своими злодеяниями против крымскотатарского народа. Председатель Бахчисарайского регионального меджлиса Ильми Умеров даже приготовил трактор и трос, чтобы немедленно снести огромный памятник Ленину на площади возле бахчисарайского горисполкома. Позже к годовщине депортации крымскотатарского народа с помощью государственного оргкомитета по мероприятиям в связи с этой годовщиной удалось не только узаконить уже установленный памятник, но и переименовать место его расположения в сквер имени Петра Григоренко.

К столетию со дня рождения П. Григоренко летом прошлого года я подготовил для рассмотрения Верховной Радой Украины проект постановления об ознаменовании 100-летия легендарного правозащитника. Зная неоднозначное отношение к нему со стороны различных политических сил в украинском парламенте, решил для обеспечения «проходимости» постановления включить в качестве соавто-

ров представителей и других фракций. С удовольствием согласился стать соавтором известный украинский правозащитник, соратник Петра Григоренко и старый каторжанин, депутат от фракции Блока Ю. Тимошенко Левко Лукьяненко. Не возражала быть соавтором и депутат от фракции Партии Регионов Н. И. Карпачева, занимавшая одновременно пост Уполномоченного ВР Украины по правам человека. Правда, она настояла на том, чтобы были некоторые изменения в проекте Постановления и убрать из него некоторые выражения, которые могут вызвать раздражение у коммунистов, входивших тогда в состав «антикризисной» коалиции. Сумма голосов трех фракций, то есть «Нашей Украины», БЮТ и Партии Регионов, даже если из последней проголосуют не все, составляло весомое большинство, и у меня почти не было сомнений, что постановление будет принято парламентом. Но мой оптимизм оказался преждевременным.

Слушание проекта постановления в Верховной Раде состоялось 31 октября 2006 г. Мое выступление с трибуны было встречено депутатами от фракции коммунистов злобными выкриками, особенно в том месте, где я говорил о заслугах П. Григоренко в борьбе с советским тоталитарным режимом. Закончил я свое выступление словами: «Очень надеюсь, что подавляющее большинство депутатов поддержат это постановление. У нас могут быть разные политические взгляды, но в вопросе оказания должных почестей людям, которые ценой своей свободы и жизни служили своему народу, полагаю, мы должны быть едины.» Но, оказалось, что большинство депутатов думало иначе.

Еще во время моего выступления заместитель главы фракции Партии Регионов, бывший спикер ВР АРК В. Киселев ходил по рядам своих однопартийцев и убеждал их в том, что ни в коем случае не следует голосовать за принятие постановления о Григоренко, поскольку коммунисты решительно против него, а если «регионалы» проголосуют, то может развалиться «антикризисная коалиция».

После меня выступили в поддержку проекта постановления В. Яворивский от БЮТ и Рефат Чубаров. Левко Лукьяненко не выступал, поскольку его в тот день не было в сессионном зале. Другой «соавтор» Н. Карпачева на выступление не решилась, очевидно, чтобы не раздражать своих союзников — коммунистов.

Объявляется поименное голосование. Табло показывает 193 «за», (тогда как за принятие постановления необходим минимум 226 голосов), 2 «против», «воздержались» 3, «не голосовали» — 208 депутатов. За принятие Постановления голосовали почти все присутствовавшие в зале депутаты фракций «Наша Украина» и БЮТ, а также 10 депутатов от фракции Партии Регионов. Социалисты не дали ни одного голоса, а коммунисты все до единого повытаскивали свои карточки, то есть сделали вид, что их нет в зале. Не голосовала за принятие постановления и «соавтор» от партии Регионов, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Н. Карпачева. На мой вопрос, как это следует понимать, она ответила, что будто бы не сработала её карточка и что она по этому поводу завтра сделает соответствующее заявление. Но никакого заявления, разумеется, с её стороны так и не последовало. Таким образом, большинство Верховной Рады отказало в посмертных почестях человеку, который так много сделал для ликвидации советского тоталитарного режима и открывшего путь к независимости Украины, депутатами которой они стали.

Невольно приходит в память в изложении М. Горького легенда бессарабской старухи Изергиль о Данко, который своим пылающим сердцем осветил дорогу своему племени, а соплеменники, увидев спасительный выход, бросились спасать себя, попутно раздавив пылающее сердце уже умершего Данко. Только безумной толпой здесь выглядело большинство политической элиты страны.

Позже состоялась встреча с Президентом В. Ющенко. Я рассказал, как обошлись с постановлением по Григоренко в Верховной Раде, и попросил его принять соответствующие меры по президент-

ской линии, то есть подписать это Постановление, но в форме Указа Президента страны. Президент не только согласился подписать такой Указ, но и искренне поблагодарил нас за нашу инициативу. На следующей встрече с Президентом 7 февраля этого года я передал ему и проект самого Указа.

Указ был подписан Президентом 5 марта 2007 года. Правда, кое-каких пунктов, предусмотренных нашим проектом указа по увековечению памяти П. Григоренко в уже подписанном Указе не оказалось. В частности, были убраны пункты, где говорилось о необходимости установления памятника П. Григоренко в Симферополе и Киеве, о создании фильма, учреждении ежегодной стипендии им П. Григоренко, о присвоении его имени одному из учебных военных заведений Украины и пр.

В Указе Президента Кабмину Украины предписывалось в течение одного месяца совместно с Национальной академией наук, Украинской хельсинкской группой и Обществом политзаключенных Украины разработать план мероприятий по чествованию памяти П. Григоренко. Однако проходит несколько месяцев и никаких мер не предпринимается. Встречаюсь 21 июня с главой секретариата Президента В. Балогой и спрашиваю насчет того, как выполняется Указ Президента от 5 марта. Секретариат связывается с Кабмином, а оттуда отвечают, что Указ Президента Минюстом Украины признан неконституционным, так как предусматривает материальные расходы, не предусмотренные бюджетом страны на 2007 год. Как будто речь идет о таких уж больших для страны расходах и как будто нет у нас резервного фонда! Правда, чуть позже вице-премьер Д. Табачник сообщил мне по телефону, что хотя Указ признан противоречащим Конституции, но, учитывая значимость фигуры Петра Григоренко, и что инициатива исходит от представителей крымскотатарского народа, решили все же создать организационную группу под председательством заместителя министра юсти-

ции И. Богословской и выполнить те статьи Указа президента, где не предусмотрены бюджетные расходы. В конечном счете, все наиболее существенные меры по увековечению памяти П. Григоренко, предусмотренные Указом Президента, были исключены.

20 лет назад в связи со смертью П. Григоренко номер издающегося в Бостоне крымскотатарского журнала на английском языке «Crimean Review» («Крымское обозрение») вышел в траурном обрамлении, с портретом П. Григоренко на обложке и надписью: «Он был более чем другом для крымскотатарского народа». А в некрологе, опубликованном в этом же номере журнала, редактор журнала Мубеин Бату Алтан от имени всей крымскотатарской диаспоры в США писал:

«...Мы говорим тебе прощай, дорогой друг. Мы говорим тебе прощай и заверяем, что твои жертвы были не напрасны... Будь уверенным, что наши дети, внуки и будущие поколения крымских татар будут помнить всё, что ты сделал для нас.

Мы поделимся с тобой тем подарком, который ты привез нам, когда приехал в Соединенные Штаты — горстью крымской земли. Пусть эта земля будет всегда вместе с тобой!»

И горсть крымской земли, которую он привез с собой в США и подарил Объединению крымских татар в Нью-Йорке, наши соотечественники во время похорон посыпали на его могилу в украинском кладбище в штате Нью-Джерси.

Конечно, благодарный крымскотатарский народ всегда будет помнить своего верного друга Петра Григоренко и без государственных мер по увековечению его памяти. Но очень важно, чтобы таких людей знала и помнила вся страна, весь народ Украины и народы бывшего СССР, ради свободы которых он вступил в борьбу с жестоким и бесчеловечным режимом.

Сергей Ковалёв

СОБЫТИЕМ БЫЛ ОН САМ

Предисловие к мемуарам П. Г. Григоренко

Любой мемуарист всегда балансирует между двумя жанровыми полюсами: повествованием и исповедью. В мемуарах советских диссидентов жанр исповеди приобретает особый смысл: это чаще всего рассказ о прозрении и (или) самоосвобождении. Человек может изначально, с детства или юности, отвергать официальную идеологию, презирать и ненавидеть исходящие от нее ложь и лицемерие — и в какой-то момент, по тем или иным причинам, переходит от «катакомбного» инакомыслия к открытому противостоянию. Но бывает и по-другому. В течение многих лет мемуарист искренне верит в то, что наша страна строит светлое будущее для всего человечества, что наш политический и общественный строй — самый справедливый и самый прогрессивный в мире, что впервые в истории нам удалось воплотить в жизнь мечту о справедливой власти. Он не слепой, он видит имеющиеся недостатки, несуразности и жестокости, но до поры до времени считает, что все это носит не системный, а случайный характер. Переоценка ценностей, когда и если она начинается, оказывается, как правило, процессом долгим, мучительным и требующим незаурядного интеллектуального мужества. Если это мужество сочетается

с гражданским чувством, решительностью и интересом к общественной активности, то во второй части мемуаров мы с большой вероятностью обнаружим автора среди диссидентов. Именно к этой категории относятся воспоминания Петра Григорьевича Григоренко, комсомольца 1920-х годов, партийца в 1930–1960-е, профессионального военного. Каким образом выпускник Академии Генштаба, элитный генерал, преподаватель Военной академии им. Фрунзе превратился в одного из самых известных правозащитников? Ответ на этот вопрос содержится в книге, которую читатель сейчас держит в руках. В какой степени характер автора был сформирован двадцатью восьмью годами армейской службы, а в какой — вопреки ей? Не знаю. В середине 1990-х годов мне пришлось много общаться с советскими генералами, и, Боже мой, сколько среди них оказалось лгунов, трусов, людей, больше всего на свете боящихся ответственности и больше всего на свете дорожащих не своим именем, а своей карьерой! Были, впрочем, и счастливые исключения, но, увы, именно исключения. Может быть, дело в том, что Петр Григорьевич принадлежал к другому поколению? Я все же думаю, что основа была чисто личностная, я бы сказал, биологическая. Ведь военная карьера и военная дисциплина — это такие вещи, которые отнюдь не способствуют развитию чувства гражданской ответственности и свободному следованию велениям собственной совести. И то, что даже на этом выжженном поле прорастают всходы, обнадеживает относительно неистребимости человеческой природы — в настоящих людях, конечно.

В первой части мемуаров, где автор описывает свою армейскую карьеру, перед читателем проходит целая портретная галерея его сослуживцев, многие из которых были или стали всенародно известными советскими военачальниками. Многие из них выглядят вполне достойными людьми, о некоторых он пишет с презрением, как о бездарных карьеристах. Оценки и суждения

Григоренко исходят, на первый взгляд, из двух критериев: профессионализм и человеческая порядочность. Постепенно начинаешь понимать, что автор не разделяет эти два понятия. Не случайно большая часть уважительных отзывов приходится на период 1941–1945 годов: вероятно, война — годы, когда многие наши сограждане чувствовали себя более свободными, чем в довоенное и послевоенное время, — дала возможность людям его профессии проявить то лучшее, что было в них заложено. Я узнал Петра Григорьевича уже тогда, когда с его военной и партийной карьерой было покончено, а громкая диссидентская слава еще не пришла к нему в полной мере.

...9 октября 1968 года. Во двореке около здания районного суда на Серебрянической набережной — толпа. Судят участников демонстрации на Красной площади 25 августа — отчаянного протеста против вторжения Советской Армии в Чехословакию, но в зал никого, кроме родственников обвиняемых и специально подобранной публики, не пускают. До этого момента я не соприкасался плотно с тем кругом, в котором зародилось и развивалось правозащитное движение, хотя и подписал две-три петиции. Так что среди собравшихся у дверей суда у меня было мало знакомых. Однако этого человека я заметил сразу — его нельзя было не заметить. Он опирался на внушительную трость, и сам был необычайно внушителен: пожилой, высокий, мощный, с уверенными и твердыми манерами, он сразу бросался в глаза среди друзей и единомышленников подсудимых — разношерстной толпы московских интеллигентов, густо прослоенной оперативниками КГБ, изображавшими «возмущенный советский народ». С последними он время от времени вступал в полемику, и тогда его рокочущий, спокойный баритон был слышен даже на приличном расстоянии.

Кто-то подвел меня к нему и представил нас друг другу. Я кое-что слышал и раньше об опальном генерал-майоре, отсидевшем

несколько месяцев в психбольнице и разжалованном в рядовые за попытку создания подпольного «Союза борьбы за возрождение ленинизма». Вместе с Петром Григорьевичем мы отправились к какому-то должностному лицу, то ли коменданту суда, то ли кому-то из судей — объясняться: суд открытый, почему же в зал не пускают публику? Разговор, конечно, получился пустой: зал полон, мы не можем проводить судебные заседания на стадионе, да и вообще, что за событие такое, подумаешь — хулиганов судят (подсудимые обвинялись по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190-1 — «клевета на советский общественный и государственный строй» и ст. 190-3 — «действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Но после этого совместного визита мы с Петром Григорьевичем почувствовали себя как бы уже близкими знакомыми.

В тот день я перезнакомился с очень многими из тех, с кем тесно общался и работал в течение последующих лет и десятилетий. Но Петр Григорьевич был не просто первым — он стал если не одним из самых близких мне, то уж, во всяком случае, одним из самых уважаемых мною людей.

Григоренко пишет, что его участие в правозащитной деятельности лишь в нескольких случаях можно назвать «событиями». Но событием был он сам — со своей неостановимой активностью и безоглядой решительностью, с бесстрашием мысли и бескомпромиссностью в поступках. К своему гражданскому долгу, как он его понимал, Петр Григорьевич относился так, как, вероятно, перед этим относился к воинской присяге — и не пытался избежать неизбежных последствий. Конечно, характер не мог не привести его «в диссиденты», но если бы во второй половине 1960-х годов он не нашел единомышленников и друзей вне привычного для него круга общения, он, конечно же, стал бы диссидентом-одиночкой. Да он, собственно, уже и был им. Разве его выступление на партконференции в 1961 году не поступок диссидента-партийца?

А его «Союз борьбы», в который вошли исключительно его сыновья и несколько близких родственников²⁴, — не акция диссидента-подпольщика? Петр Григорьевич, по-моему, прав: в подполье действительно частенько водятся крысы (хотя утверждение о том, что только крыс там и можно встретить, представляется мне публицистическим преувеличением, характерным для его страстной и беспокойной мысли). Но там, куда спускался он сам, крыс не было и быть не могло.

Выше я употребил слово «единомышленники». Я настаиваю на этом слове, хотя в конце 1960-х Григоренко, в отличие от большинства из нас, был еще убежденным марксистом-ленинцем. Но диссидентов объединяли не те или иные идеологические парадигмы, а нечто большее: неприятие лицемерия и лжи, господствующих в общественной жизни, и уверенность, что можно (П. Г. сказал бы: «нужно») жить и по-другому. Вопрос «Како веруеши?» не считался в этой среде чем-то очень существенным. Иное дело, что для многих наших «ленинцев» противоречие между ценностями права и свободы и учением, откровенно отрицающим свободу, а праву отводящим подчиненную и утилитарно-прикладную роль, со временем становилось нестерпимым; большинство из них в конце концов осознавали неизбежность выбора — и выбирали свободу. Так было и с Петром Григорьевичем: он перестал быть марксистом просто потому, что привык додумывать все до конца. Но это случилось позже. А тогда его коммунистические убеждения несколько не мешали ни мне, человеку скорее антикоммунистических взглядов, ни кому бы то ни было еще из нашей компании.

²⁴ Ковалёв здесь не точен — в СБЗВЛ было действительно несколько родственников П. Григоренко, но они не составляли большинства его членов.
Прим. А. Г.

Роль Григоренко в становлении общественного движения 1960–1980-х годов прежде всего — нравственная. Попав в новую для себя обстановку, — нервную, напряженную, насквозь пронизанную интеллигентскими, сугубо «гражданскими» комплексами, — он остался самим собой, в полной мере сохранил присущую ему прямоту и ясность суждений, чистоту души, доходящую иногда до наивности. И это не могло не влиять на тех, кто тесно с ним общался. В сущности, активное участие Петра Григорьевича в формировании правозащитного движения было очень недолгим: с 1967–1968²⁵ и до мая 1969 года, когда его арестовали. (Я не говорю о 1974–1977 годах — от освобождения до отъезда в США; это было совсем другое время, когда правозащитная работа уже стала для многих из нас чем-то вроде профессии.) Но впечатление его личности сохранилось не только в его статьях и книгах, — он и несколько подобных ему людей задали движению нравственный уровень на много лет вперед.

Есть все же один эпизод, в котором Петр Григорьевич сыграл не просто важную, а ключевую роль. Это — дискуссии весны 1969 года о том, должны ли правозащитники создавать свои открытые и гласно действующие общественные организации. Григоренко был яростным сторонником той точки зрения, что — да, должны. Это стало его любимой идеей, и, надо сказать, он очень болезненно переживал то обстоятельство, что не все из нас были с ним согласны. Следы этой обиды читатель найдет и здесь, в его мемуарах. Кстати, меня П. Г. зачисляет в свои сторонники. Это не совсем так: я, если и поддерживал его в тех спорах, то отнюдь не безоговорочно.

²⁵ Ковалёв здесь не точен — П. Григоренко стоял у самых истоков Правозащитного Движения в СССР. Собственно его первое публичное выступление в 1961 году уже было по сути правозащитным. Сразу же после освобождения из заключения в 1965 году П. Григоренко активно ищет единомышленников и его участие в демонстрации 5 декабря 1965 года не было случайным, а демонстрация 1965 года стала «днём рождения» Правозащитного Движения в СССР. *Прим. А. Г.*

Скорее, можно сказать, что я не был непримиримым оппонентом этой идеи. Аберрация памяти мемуариста вполне понятна: с одной стороны, он очень хорошо относился ко мне, а с другой — ему была очень дорога идея организации. Настолько, что некоторые из его оценок, и без того страстных, доходят здесь до пристрастности, и всегдашняя его трезвая и спокойная доброжелательность отступает на задний план. В мемуарах есть еще несколько подобных оценок, излишне доброжелательных или излишне недоброжелательных, с которыми я не склонен соглашаться, — увы, уже никогда не придется поспорить о них с автором.

Что до споров весны 1969 года, то Григоренко остался в меньшинстве; боюсь, разочарование и обида сыграли не последнюю роль, когда он принимал решение о той роковой поездке в Ташкент, где его арестовали. Впрочем, арест был, конечно, запланирован заранее и вряд ли его удалось бы избежать. Но своим арестом он добился того, чего не мог добиться аргументами: через несколько дней, 20 мая, была создана первая в нашей стране открыто действующая независимая общественная организация — Инициативная группа защиты прав человека в СССР.

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что Петр Григорьевич оказался гораздо дальновиднее нас. Во-первых, Инициативная группа действительно позволила до некоторой степени структурировать правозащитную работу. Во-вторых, мы «явочным порядком» реализовали гарантированную Конституцией свободу ассоциаций. И, наконец, в-третьих, ИГ продемонстрировала многим, что не всякая оппозиционная гражданская деятельность — это «политика», что может существовать и неполитическая — например, правозащитная — общественная активность.

Последнее, при тогдашней неприязни интеллигенции к самому слову «политика», было особенно важно. Так или иначе, именно Григоренко можно считать одним из основоположников независи-

мой общественности в нашей стране. И одно это обеспечивает ему место в истории.

Отечественное издание книги Григоренко — это и в самом деле важное событие.

Пожалуй, не следует относиться к ней как к стопроцентно надежному историческому источнику: когда Петр Григорьевич, на восьмом десятке лет, находясь в изгнании, взялся за мемуары, он был практически отрезан от документов. Поэтому в книге немало ошибок памяти, вроде неточностей в датах, биографиях, обстоятельствах. И, конечно же, на его воспоминаниях сказывается закон жанра: чем ярче личность мемуариста, тем сильнее излагаемые события окрашиваются в специфические, только данному человеку присущие тона. Я не могу с этой точки зрения судить о первой части воспоминаний, но что касается второй, «диссидентской» части, здесь у меня сомнений нет. Достаточно взглянуть на названия глав, посвященных диссидентскому периоду: «Партизанские бои», «Встречное сражение», «В осаде»... Ясно, что подобная военно-полевая образность не могла быть близка правозащитникам, людям, в большинстве своем сугубо штатским. Отчасти — но лишь отчасти! — эта специфическая особенность мышления автора сказывается не только на лексике, но и на оценках, и на анализе событий и явлений в диссидентской среде. И все же: самую важную задачу мемуариста — рассказать о времени и о себе, и о себе во времени — Григоренко выполнил с блеском. Я уверен, что его книга войдет в золотой фонд русской мемуарной литературы и что это, малотиражное и «юбилейное» издание — не последнее. Воспоминания Григоренко еще будут изучаться и комментироваться специалистами. И, разумеется, еще не раз будут изданы в России.

Генрих Алтунян

Цена свободы²⁶

Учителя

Жизнь подарила мне дружбу с Петром Григорьевичем Григоренко. Да, он называет меня другом в своих воспоминаниях. Человек это особый, уникальный во всех отношениях. Уж если кому и было что терять, так это ему. Блестящая военная карьера, генеральское звание, кафедра в московской военной академии...

В этом человеке было нечто такое, что и поражало, и притягивало к нему. Редкое качество, которым обладали люди типа Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»... Петр Григорьевич уязвлялся каждый раз, когда видел страдания и несправедливость.

К сожалению, это имя почти ничего не говорит молодому поколению, особенно если учесть бурные события последнего десятилетия.

А он был нашим современником, прожив большую и достойную жизнь, всего несколько месяцев не дотянул до своего восьмидесятилетия.

²⁶ Фрагмент автобиографической книги Г. Алтуняна того же названия. Изд-во «Фолио», «Радиокомпания «Радио+», 2000.

Тяжелое сиротское детство в селе Борисовка Донецкой²⁷ области.

Ученик слесаря, машинист, рабфаковец, с 1929 года — «по спецнабору рабочих с производства» — студент Харьковского технологического института, а с 1931 года — «по мобилизации ЦК ВКП(б)» — слушатель Военно-инженерной академии им. Куйбышева.

После трехлетней службы в саперных частях, в 1937 году — Академия Генерального штаба. С 1939 года — служба на Дальнем Востоке. Здесь его застала война.

До этого момента биография — как бы специально выдержанная в лучших традициях социалистического реализма.

Будучи начальником оперативного Управления штаба фронта (так тогда назывался Хабаровский военный округ) в кругу близких друзей, итожа результаты первых дней войны, он высказал не то чтобы сомнение, а некоторое недоумение по поводу неожиданного, чрезвычайно быстрого отступления советских войск.

Один из «друзей» на него донес. К счастью для Петра Григорьевича, благодаря члену Военного Совета фронта, он получил вместе с доносчиком «всего лишь» строгий выговор за «пораженческое настроение».

После многочисленных рапортов, в 1943 году подполковник Григоренко был направлен в действующую армию командовать штабом дивизии.

Интересно, что начав войну подполковником, он вплоть до начала 50-х годов²⁸ так и оставался им — случай практически беспрецедентный. Формальная причина — выговор.

²⁷ Здесь автор допускает ошибку. Родное село Григоренко — Борисовка — находится в Приморском районе Запорожской области (б. Таврическая губерния). *Прим. А. Г.*

²⁸ Утверждение ошибочно. В конце войны, после вмешательства Мехлиса, Григоренко получил звание полковника, а в генералы был произведен в 1959 г., то есть уже после смерти Сталина. *Прим. А. Г.*

Смеясь, он рассказывал, как в конце войны на парткомиссии армии решался вопрос о снятии взыскания. Всех уже охватила эйфория близкой победы, снимали строгие взыскания и оставляли в партии многоженцев, проворовавшихся интендантов, но когда очередь дошла до него, молчавший до этого момента член Военного Совета армии произнес — «за неуважение к гениальности тов. Сталина пусть свой выговор поносит, пусть поносит». Это был Леонид Ильич Брежнев.

После войны из-за ранений и контузий он был признан негодным к строевой службе²⁹ и был направлен на преподавательскую работу в Академию им. Фрунзе. После смерти Сталина был, наконец, снят выговор, а вскоре Петр Григорьевич уже начальник кафедры и генерал. Это была первая в СССР кафедра кибернетики в военной академии.

И снова перед ним блестящая перспектива, благосклонность Генерального штаба и Министра обороны.

7 сентября 1961 года в его жизни произошел крутой, можно сказать, исторический перелом.

Краткое выступление (стенограмма уместается на одной странице) на партконференции Ленинского района г. Москвы взорвало вялотекущее собрание. Нашелся человек, который понял буквально свое право критиковать проект Программы партии, а не только вместе со всеми одобрять. Вся партийно-советская система держалась на единомыслии. Инакомыслие допускалось только сверху, и оно мгновенно становилось единомыслием.

За все годы Советской власти после разгрома оппозиций все решения принимались единогласно. Кстати, именно поэтому у нас

²⁹ Здесь автор допускает ошибку — покойный генерал никогда не был признан негодным к строевой службе. *Прим. А. Г.*

всегда был на любых выборах один кандидат, именно поэтому в громадных залах заседаний никто и не думал устанавливать систему для подсчета голосов — против никто не осмеливался голосовать.

Здесь уместно привести очень характерный для Петра Григорьевича эпизод. Много лет спустя после описываемых событий, в августе 1968 года Советское правительство, введя войска в Чехословакию, решило *post factum* заручиться поддержкой всего народа, т. е. оно брало народ как бы в подельники. Во всех организациях и предприятиях были проведены собрания, где граждане единодушно одобряли эту акцию. Однажды к Петру Григорьевичу пришел один молодой человек и сказал, что на весь Ленинский район столицы нашлось всего два человека, которые проголосовали против. Петр Григорьевич встал из-за стола и с высоты своего огромного, почти двухметрового роста сказал: «Как это всего два? ЦЕЛЫХ два человека нашли в себе невероятное мужество, чтобы вопреки тысячам поднятых рук, на глазах у всех заявить, что они против!»

Однако вернемся к тому историческому собранию, откуда берет начало биография совершенно другого человека, человека-бунтаря, защитника обездоленных, историка, философа, ЧЕЛОВЕКА.

Вся крамола состояла в том, что Петр Григорьевич напомнил собравшимся идею Ленина о том, что хорошо бы ввести партмаксимум (это когда партийные чиновники независимо от ранга получают зарплату не выше квалифицированного рабочего). И кроме того, он предостерег от возможных повторений культа личности, даже не назвав Никиту Хрущева.

Реакция была бурной. Сначала его совершенно незаконно, решением конференции, лишили мандата (отозвать его могла только его парторганизация).

— Кто за то, чтобы лишить мандата генерала Григоренко? — спросил председательствующий. Не более трети присутствующих подняли руку.

— Кто против? — Никто не осмелился подать голос.

— Единогласно, — заключил первый секретарь Московского горкома Егорычев. Это о нем у Галича об исключении Бориса Пастернака из Союза писателей:

«Мело, мело по всей земле,
Во все пределы...
Свеча горела на столе,
Свеча горела...»
Нет, никакая не свеча,
Горела люстра,
Очки на морде палача
Сверкали шустро,
А зал зевал, а зал скучал:
Мели, Емеля,»
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере,
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А, как поленом по лицу
Голосованьем!»

Вскоре на партийном собрании кафедры стоял вопрос об исключении Григоренко из партии. Коммунисты потребовали стенограмму выступления отступника. Им, естественно, отказали. И тут руководство академии (генерал армии Курочкин) вспомнило, что они не имеют права рассматривать персональное дело начальника на собрании в присутствии его подчиненных. Дело передали в партком академии, который единогласно объявил ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. Интересно, что в Комитете партийного контроля при ЦК, куда Петр Григорьевич подал апелляцию, были очень удивлены «мягкостью» наказания, но возвращать дело назад не стали.

После полугодового ожидания — никак не могли решить, что делать со смутьяном, — отправился опальный генерал к своему новому-старому месту службы на Дальний Восток, в Хабаровск, с большим понижением в должности.

Конец пятидесятых-начало шестидесятых — время брожения умов, вызванное разоблачениями XX и XXII съездов.

Осенью 1963 года Петр Григорьевич создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма». Внимательное, непредвзятое чтение первоисточников марксизма-ленинизма, машинописные листовки, которые носили просветительский характер. Ведь сами основоположники утверждали, что «государство сильно сознательностью масс». В листовках, в частности, рассказывалось о жесточайше подавленных бунтах в Новочеркасске, Тбилиси, Темир-Тау, о причинах резкого спада в промышленности и сельском хозяйстве. Одна из листовок называлась, «Почему в стране нет хлеба».

Спустя год с небольшим, после мартовского 1965 года пленума ЦК КПСС один из участников незаконной расправы надменно сказал Петру Григорьевичу об этой листовке: «Здесь изложено то, что и в докладе Брежнева на пленуме, только намного короче и яснее. И беда Григоренко не в том, что он сказал это, а в том, что он сказал на полгода раньше, чем сказала партия».

1 февраля 1964 года Петр Григорьевич вместе с сыновьями, составлявшими основу «Союза», был арестован³⁰.

Конечно, вызвать такого человека на суд, пусть даже закрытый, с обвинениями в антисоветской деятельности опасно, ведь шила в мешке не утаить, и на суде волей-неволей пришлось бы оглашать документы организации, опровергнуть которые невозможно. Поэтому власти объявили его сумасшедшим.

³⁰ 1 февраля был арестован только сам П. Григоренко. Аресты остальных членов организации растянулись на весь февраль и начало марта. *Прим. А. Г.*

Закрытый суд³¹. До сих пор никто не знает его состава, генерал и его близкие так никогда и не увидели решение суда, но результат — психиатрическая больница специального типа.

Исключение из партии, разжалование в рядовые, за 8 месяцев не заплатили жалованья — все это разоблачало КГБ и партию. Ведь если человек болен, он не подсуден, а если подсуден — значит, здоров!

Через год Григоренко вышел на свободу и долго не мог уяснить свой социальный статус — кто он, с точки зрения закона: сумасшедший или преступник?

Лишенный средств к существованию, он вынужден был искать работу. С большим трудом он устроился прорабом в строительном управлении. Но вскоре его уволили «по сокращению штатов», а на самом деле за выступления на собрании, где он рассказал правду о процессах над диссидентами.

Он упорно добивался через суды восстановления на работе, так как никакого сокращения штатов не было. Наоборот, после его увольнения людей принимали на работу.

Я сам видел документ, на основании которого Верховный суд РСФСР оставил решение районного суда в силе. В нем строка «вакансия» была попросту ножницами отрезана. На документе осталась половина печати и верхушки подписей.

Однажды, слушая один из «вражеских голосов» сквозь шум помех, я впервые узнал фамилию генерала Григоренко. Радио сообщало, что шестидесятилетний опальный генерал работает грузчиком в овощном магазине. Честно признаться, я не поверил, но вско-

³¹ Чтобы не допустить в зал суда жену и других родственников, военный трибунал вызвал их всех в качестве свидетелей. Дело в том, что свидетель не имеет права находиться в зале суда до его вызова для дачи показаний, причем суд может этого свидетеля и не вызвать. Именно так и поступили со мной и с моей матерью. *Прим. А. Г.*

ре представилась возможность лично убедиться, познакомившись с этим выдающимся человеком.

После того, как за границей всюду стали говорить о генерале-грузчике, Петр Григорьевич неожиданно по почте получил пенсионную книжку — ему назначили пенсию 120 руб. Это была в то время максимальная пенсия гражданского служащего. Он сразу же бросился в бой, написав протест: «Если это пенсия отставного генерала — это слишком мало, если рядового, — то много, если гражданского, то я ее не заслужил, мне еще не исполнилось 60 лет!»

Реакцию властей передаю со слов генерала, сказанных мне лично:

«Вызвали меня в райвоенкомат. Военком запер дверь и сказал:

— Если ты еще, падло, будешь... «выкаблучиваться» (очень мягкий синоним), поедешь опять туда, откуда приехал».

Все протесты и возмущения с требованиями наказать хулигана последствий не имели.

Ясно, что Петр Григорьевич не мог оставаться в стороне от общественной жизни. Осуждают писателей Синявского и Даниэля за издание за границей книги — он активно протестует, осуждают тех, кто рассказал правду о процессе над писателями, — он вновь организует петиции протеста. Издеваются и преследуют крымских татар за естественное стремление вернуться в Крым — он активно выступает в защиту последних.

Им была проделана огромная работа по освещению этой проблемы в ее нравственном, правовом и политическом аспектах.

«Петр Григорьевич плодотворно участвовал в дискуссиях по коренным вопросам настоящего бытия и нашей истории. Особенно велик его вклад в разработку проблем истории первоначального периода ВОВ.

Потрясают своей жестокой достоверностью собранные им материалы о жизни крымских татар в изгнании, о их попытках вернуть-

ся в Крым и о способах их выдворения оттуда» (Из письма-протеста Б. Цукермана в связи с арестом П. Г. Григоренко. Май 1969.).

«Осенью 1968 года возле здания суда на Серебрянической набережной, где судили Павла Литвинова и Ларису Богораз со товарищи за их демонстрацию против вторжения войск в Чехословакию, — там все три дня при закрытых дверях шел стихийный диспут между единомышленниками подсудимых, пришедшими сюда по уже сложившейся традиции поддержки, и специально отряженными идейными оппонентами из комсомольских оперативников МГУ, МВТУ и т. п.

Начальство готовилось таким образом дать идейный бой нашему брату якобы от имени простого народа. Хлебнув в соседнем дворе водочки, «простой народ» смешивался с нашей небольшой толпой и заводил глубокомысленные беседы, быстро доходившие до «давить таких надо».

Особенно осаждали они генерала Григоренко, высившегося среди нас, задирали и всячески вызывали на спор:

— Вот вы говорите: сталинисты. Ну где, где они по-вашему?

— Да везде? — откликается генерал.

— И в руководстве?

— Вот там-то особенно.

— Ну где, где конкретно?

— Да, хоть, в Политбюро.

И они, естественно, закричали:

— Ну кто? Кто конкретно сталинисты в Политбюро?

И замерли. И мы замерли. Все до единого, затаив дыхание, ждали. Ну? Слабо? Скажет или не скажет? Неужели осмелится — вслух про короля? Ну? Кто? Кто главный сталинист? Всем хотелось правды!

Генерал не замедлил:

— Да, Брежнев, кто.

Добились-таки. Спровоцировали. Теперь, стало быть, надо накидываться, хватать и тащить. Или, хотя бы крикнуть: «Клеветник!»

Ничуть не бывало. Раздался какой-то общий выдох, толпа вокруг генерала как-то сникла, опала и рассеялась, словно оглушенная пыльным мешком. Никто за Брежнева не заступился» (Юлий Ким).

В мае 1969 года он приехал в Ташкент на суд над 31 крымскотатарским патриотом в качестве общественного защитника. Вообще, знакомство Петра Григорьевича с проблемой крымских татар, с проблемой репрессированных народов началось, как он сам вспоминал, со встречи с Алексеем Евграфовичем Костериным, который провел три года в царских и семнадцать лет в сталинских тюрьмах.

Участник большевистского подполья и Гражданской войны на Кавказе, он не понаслышке знал проблемы горских народов. Его «Размышления на больничной койке» стали одним из самых значительных и интересных произведений «самиздата». Вместе с этой рукописью он отправил в ЦК КПСС свой партбилет с «длиннющим» дореволюционным стажем. От ареста его спасли тяжелая болезнь и смерть поздней осенью 1968 года. Это он фактически первым подал голос в защиту репрессированных народов вообще и крымских татар в частности. Я имел счастье быть знакомым с Алексеем Евграфовичем и никогда не забуду беседы с ним в уютной квартире на Большой Грузинской улице.

Вспоминаю, как он рассказывал о своей переписке с Анастасом Микояном.

В то время (1967–1968 годы) в журнале «Юность» из номера в номер печатались воспоминания Микояна о его революционной юности. Алексей Евграфович напомнил ему в письме эпизод, когда он привез на Кавказ партию литературы из Москвы. Микоян быстро ответил с благодарностью и просил писать еще.

Тогда Костерин послал ему второе письмо, в котором спрашивал, как же ему удалось избежать судьбы Джапаридзе, Шаумяна и многих других, ибо, насколько он помнит, Микоян был в числе 26 бакинских комиссаров.

Ответа не последовало...

Наше поколение хорошо помнит «Дневник Нины Костериной», впервые опубликованный в «Новом мире» Твардовского. Это дочь Алексея Евграфовича. Почти до самой смерти в фашистских застенках она вела дневник. Этот документ потрясающей духовной силы вполне может быть сравним с дневником Анны Франк. Нина Костерина — Герой Советского Союза посмертно.

В Ташкенте Петр Григорьевич был арестован, и вся его гражданская деятельность прерывается на пять длинных лет, которые он провел в Черняховской спецпсихбольнице.

Однако прежде чем попасть в больницу, Петр Григорьевич прошел через психиатрические экспертизы. Одну, амбулаторно, проводили в Ташкенте 18.08.69 года профессора Ф. Ф. Детенгоф, Е. Б. Коган, А. М. Славгородская, И. Л. Смирнова. Их вывод: «Признаков психического заболевания не проявляет в настоящее время, как не проявил их в период совершения инкриминируемых ему преступлений. Вменяем. В стационарном лечении не нуждается».

Но следователей КГБ такой вывод совершенно не устраивал, Петра Григорьевича переводят в Москву в институт им. Сербского и 19.11.69 года — стационарная экспертиза, ее провели «светила» нашей науки, среди которых академик, профессора, доценты: Г. В. Морозов, В. М. Морозов, Д. Р. Лунц, З. Г. Турова, М. М. Мальцева. Вот выводы этой экспертизы: «Страдает психическим заболеванием в форме патологического (паранойяльного) развития личности с наличием идей реформаторства, возникших у личности с психопатическими чертами характера и начальными явлениями атеросклероза головного мозга. (В 1964 году отмечались идеи ре-

форматорства, отношения и преследования). Нуждается в принудительном лечении в спецпсихбольнице».

Причем, на вторую экспертизу был приглашен проф. Детенгоф. Последний согласился с выводами, сказав, что он ошибся, а москвичи его поправили, хотя в этот раз он даже не осмотрел Петра Григорьевича.

За освобождение Петра Григорьевича активно выступали его друзья и единомышленники. Многие из них сами за это угодили в лагерь и психушки. Но поток протеста нарастал. В него влились голоса не только недругов Советского Союза, но и друзей. Многие коммунистические деятели и партии настаивали на освобождении генерала Григоренко.

Пожалуй, наиболее существенным в жизнеописании Петра Григорьевича является его «психушечная одиссея» и все, что с ней связано.

Масштабы этой личности таковы, что обречь его на страдания мог только высший психиатрический синклит по прямой команде высшего руководства. Первый раз это был Хрущев, второй раз — Брежнев с Андроповым.

А палачами в белых халатах стали «корифеи» советской психиатрической науки и практики. Это они разрабатывали теорию, в соответствии с которой любой инакомыслящий, инакодействующий человек мог быть объявлен сумасшедшим.

Никто не считал, сколько людей были искусственно и преступно объявлены «психами» только за то, что они критиковали или возмущались, нет, не коммунистической системой, не действиями руководства страны, а самодурством начальника цеха, председателя колхоза или секретаря райкома?!

Уделяя этой проблеме достаточно много места, я преследую одну цель — разоблачить на его примере всю партийно-кагебистскую систему, которая не останавливалась перед самым страшным

злом — объявить совершенно здорового человека психом и бросить его на многие годы в среду настоящих больных.

Предубежденный читатель вправе усомниться: ведь автор не врач, не психиатр, как он может так безапелляционно судить и обвинять в предвзятости маститых ученых, основателей психиатрических школ?

Единственным человеком, кроме следователей, имевшим доступ к делу Петра Григорьевича был его защитник — блестящий московский адвокат Софья Васильевна Каллистратова. Ее судьба, ее роль в правозащитном движении заслуживают отдельной книги и очень жаль, что ее сегодня нет с нами.

Знакомясь с делом, она переписала текст судебно-психиатрической экспертизы. А для того, чтобы на суде квалифицированно оспаривать отдельные положения этой экспертизы, тайно ознакомилась с ней врача-психиатра, которому доверяла.

Этот врач камня на камне не оставил от доводов маститых корифеев. Но он настаивал на анонимности. Только сегодня, когда не страшно, он сам рассказал об этой истории. Вот что писала сама Софья Васильевна о ташкентском следствии и суде:

«Содержали Григоренко в местном изоляторе КГБ, но под охраной специально выписанных для этой цели лейтенантов из Лефортово.

Все судебно-психиатрическое действие проходило в отсутствие «невменяемого».

Причем, знакомясь я с обвиняемым по ст. 190 — «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих Советский строй», а в зале суда неожиданно выяснилось, что судить его будут по ст. 70, ч. 1 — антисоветская агитация и пропаганда (до семи лет лишения свободы). Это чудовищное нарушение закона. И таких на следствии и в суде было 49! Я требовала назначения контрольной экспертизы в суде, поскольку в деле имелись два противоположных заключения экспертов. Отказ. Я ходатайствовала о вызове в суд всех членов таш-

кентской экспертной комиссии. Отказ. Вместо этого вызвали Лунца. А потом лишь одного члена ташкентской комиссии, Детенгофа, который в суде присоединился к заключению института им. Сербского. Я спросила его:

- С момента экспертизы по сей день вы видели Григоренко?
- Нет.
- Имели в распоряжении дополнительные медицинские документы?
- Нет.
- Имеете новые свидетельские показания?
- Нет.
- На чем основана Ваша позиция?
- Мы ошиблись, а наши московские коллеги нас «поправили».

Однако нашелся смелый и честный человек и среди психиатров. Молодой киевский врач Семен Глузман, получив от Елены Георгиевны Боннэр³² переписанный Софьей Каллистратовой текст экспертного заключения института им. Сербского, изучив его, а также зная произведения Петра Григорьевича, распространяемые в «самиздате», пришел к однозначному выводу — у московских врачей не было оснований считать Григоренко больным.

Он не побоялся, и это, пожалуй, главное, сделать свои выводы доступными для всех, а авторство быстро перестало быть тайной. Реакция была скорой и вполне предсказуемой. Следственный изолятор киевского КГБ, а потом и пермские лагеря для особо опасных государственных преступников пополнились еще одним «отщепенцем». Надо сказать, что Семен Глузман не просто констатировал и доказал, что «*признание Григоренко психически больным*» неправомерно и что нет никаких данных для помещения его в спецпсихбольницу. Молодой врач пошел дальше. Он закончил свою экспер-

³² В действительности текст экспертизы Глузмину был передан мной. В ту пору Глузман еще не был знаком с Еленой Георгиевной. *Прим. А. Г.*

тизу требованием тщательной проверки профессиональной пригодности Г. В. Морозова и Д. Р. Лунца и, в случае подтверждения компетентности, возбуждения судебного дела за дачу заведомо ложного заключения, а также за понуждения экспертов, в частности Ф. Детенгофа, к даче ложных показаний.

— Ну что же из этого? — скажет наш дотошный читатель. — Одна экспертиза — «за», одна — «против». Тем более, что вторую делал никому не известный с очень незначительным опытом врач, а от Ташкентской отрекся ее основной составитель.

Но все дело в том, что все, кто общался с Петром Григорьевичем, начиная от его близких и родных и кончая случайными попутчиками в поезде, все без исключения, не видели никаких изменений или отклонений в его поведении, облике и поступках. Более того, главный психиатр Советской Армии — зав. кафедрой психиатрии Медицинской академии им. Кирова генерал-майор медслужбы Н. Н. Тимофеев, когда, наконец, освидетельствовал Петра Григорьевича, решительно заявил, что его пациент здоров. Это было после снятия Хрущева, т. е. во время первой «психушки». Он предложил Петру Григорьевичу два варианта: или провести комплексную экспертизу с выводом о том, что здоров сейчас и никогда не был болен психически в прошлом, или же амбулаторная экспертиза признает его здоровым сегодня, он освобождается и уже с воли добивается полной реабилитации. Первый путь долгий, а каждый день пребывания за решеткой в окружении больных людей — это тяжелейшее испытание. Второй — с одной стороны — вот она свобода, с другой — не исключает дальнейших усилий и торжества истины. Петр Григорьевич соглашается на второй. Однако ему уже не дали возможности добиваться, так сказать, сатисфакции.

И все-таки, завершая диалог с уважаемым читателем, закончу эту часть повествования выводами психиатрической экспертизы, проведенной в США.

По приезду (после лишения советского гражданства) в Америку Григоренко обратился с просьбой провести тщательную стационарную экспертизу и заранее дал согласие на публикацию выводов экспертной комиссии, независимо от их содержания.

И вот, после многодневных наблюдений и исследований, которые фиксировала беспристрастная телекамера, шестеро психиатров, профессора: Уортер Райх, Лоуренс С. Колб, Алан А. Стоун, Норман Гершвид, Джеймс Д. Путман, Барбара П. Джоунс (Гарвард) написали:

«Тщательно изучив заново все материалы исследования, мы не обнаружили у генерала Григоренко никаких признаков психических заболеваний... Мы не обнаружили также каких-либо заболеваний в прошлом. В частности, не найдено никаких параноидальных симптомов даже в самой слабой форме...

Мы нашли человека, который напоминал описанного в советских актах экспертизы столько же, сколько живой человек напоминает карикатуру на него. Все черты его советскими диагностами были деформированы. Там, где они находили навязчивые идеи, мы увидели стойкость. Где они видели бред — мы обнаружили здравый смысл. Где они усматривали безрассудство — мы нашли ясную последовательность. И там, где они диагностировали патологию, мы встретили душевное здоровье».

Когда сегодня мы взвешиваем все pro и contra независимости Украины, давайте с удовлетворением отметим, что бессовестные «врачи» лунцы и морозовы, несмотря на бурные протесты мировой медицинской общественности, продолжают руководить психиатрией, но щупальца их обрезаны по Хутор Михайловский.

Вновь выйдя на свободу, Петр Григорьевич активно участвует в общественно-политической жизни. К тому времени Советский

Союз подписал Хельсинкские соглашения, и в разных республиках СССР стали создаваться Хельсинкские группы, основной целью которых было наблюдение за выполнением этих соглашений, особенно их «третьей корзины», где речь шла о соблюдении прав человека.

Такие группы были созданы в Москве, в Украине, Армении, Грузии, Литве и др.

Петр Григорьевич был членом Московской группы и представителем Киевской в Москве.

Ненависть властей к своим собственным наблюдателям была настолько велика, что все члены всех групп были либо арестованы, либо депортированы за границу.

Маленькая квартира Григоренко стала «Меккой» всех правозащитников и диссидентов. Там всегда были люди, там всегда кто-нибудь находил кров, защиту и добрый совет.

Это был настоящий центр кристаллизации инакомыслия СССР. На 70-летие Петра Григорьевича через эту небольшую квартиру прошло более 120 человек. Студенты, рабочие, священники, профессора, академики... Петр Якир, Леонид Плющ, Юрий Орлов, Юрий Гримм, Володя Гершуни, Леонард Терновский, Виктор Некипелов, Мыкола Руденко, Татьяна Ходорович, Сергей Ковалёв, Таня и Ксения Великановы, Лев Копелев, Лариса Богораз, Мустафа Джемилев, Илья Бурмистрович, Александр Подрабинек, Мераб Костава, Ашот Навасардян, Павел Литвинов, Андрей Сахаров... Всех разве перечислишь? «Иных уж нет, а те далече».

В конце 1977 года Петр Григорьевич получил разрешение на выезд за границу на полгода для операции и последующего лечения. Он приехал к нам в Харьков прощаться с друзьями. Было ясно, что назад его уже не пустят. Так и случилось. За несколько дней до окончания срока визы он был лишен советского гражданства.

Я с Петром Григорьевичем познакомился в 1968 году. Может быть, под влиянием этого человека, с первого разговора с ним и на-

чалось мое переосмысление жизни. Я уже рассказывал о том, как встретился впервые с Петром Григорьевичем. А вот как об этом вспоминает он сам.

«Алтуняна Генриха Ованесовича я знаю с весны 1968 года. Алтунян Г. О. приехал в Москву специально, чтобы познакомиться со мной, так как он слышал от кого-то из военных мою историю и хотел лично убедиться в правильности слышанного им.

Мне он очень понравился, как человек грамотный, развитый и приятный, поэтому я с ним долго разговаривал по различным вопросам и расстались мы дружески. С тех пор я с Алтуняном перезванивался по телефону, и когда я возвращался из Крыма в сентябре 1968 года, Алтунян встретил меня в Харькове на перроне и рассказал, что его уволили из армии и исключили из рядов КПСС за связь со мной и с Якиром Петром Ионовичем.

С жалобой на это Алтунян приезжал в Москву в первой половине октября 1968 года, останавливался у меня на квартире, жил несколько дней, ходил по своим делам в Министерство Обороны, а вечера проводил вместе со мной, много беседовали. Я познакомил его с писателем Костериным, вместе бывали у Костерина дома. В конце сентября или в начале октября 1968 года я был в Харькове, навестил Алтуняна, познакомился с его семьей и его друзьями, все они милые люди. После этого продолжали перезваниваться, и где-то в начале 1969 года Алтунян был еще раз в Москве, в связи с разбором его партийной апелляции, и в этот раз он останавливался у меня. Алтунян исключительно честный и порядочный человек, и считаю, что предпринятые в отношении его репрессивные государственные и партийные меры являются неправильными».

Эти теплые слова Петра Григорьевича наполнены для меня особым, благородным смыслом. Ведь говорил он это не в простой беседе, а в СИЗО КГБ города Ташкента на допросе.

Был случай, когда нам с Петром Григорьевичем рука об руку пришлось принять настоящий рукопашный бой. Это было в октябре 1968 года. В Москве проходил суд над теми смельчаками, которые 25 августа 1968 года вышли на демонстрацию протеста против оккупации Чехословакии. Я приехал в Москву на этот процесс. Алексей Евграфович Костерин, о котором упоминал Григоренко, был болен, лежал после инфаркта. Петр Григорьевич ходил к нему каждый вечер, рассказывал, как идет суд. Я тоже ходил с ним. И вот, 12 октября, вечером... Впрочем, Петр Григорьевич сам описал этот случай в своих «Воспоминаниях».

«Возвращались от Костерина часов около 9 вечера. Прибывший на процесс из Харькова Генрих Алтунян обратил внимание, что следующая за нами оперативная машина КГБ наполнена до предела — пятеро с шофером. Я махнул рукой на его замечание. Сказал: «Надо же им что-то делать. Пусть хоть в машине ездят. Лишь бы без дела не сидели.

Дома у нас был Рой Медведев. Поговорив, пошли провожать его до метро. Генрих несколько отстал от нас. А когда я, простившись с Роем, возвращался, то увидел, что на Генриха напал один из моих постоянных «топтун»». Я бросился на помощь. И тут подлетела, прямо на тротуар, та самая автомашина, о которой мы говорили. Только было в ней теперь четверо. Пятый стоял около нас.

Трое высыпали из машины и бросились к нам. Я употребил в дело свою палку и заставил их отступить. Одновременно они засвистели в пять милицейских свистков. И тут же, почти немедленно, появилась дежурная машина милиции. Нас посадили в нее и повезли...»

Я хочу вспомнить некоторые интересные и смешные детали. Тот «топтун», который нападал на нас, испугавшись, убежал в кусты, а те, которые подъехали на машине, стали уверять прибывших милиционеров, что они сами видели, как трое били одного. Нас завели в подрайон станции метро «Парк культуры», и уставший капитан

стал выяснять личность пришедших. Потом он приказал сонному сержанту пойти и привести «потерпевшего». Через некоторое время в каморку привели загулявшего музыканта с огромным тромбоном.

— Этот?

— Нет, тот был без трубы!

Самое смешное то, что через несколько минут пришел наш герой, он успел хорошо нагрузиться, несло от него, как из водочной бочки. Когда нас «погрузили» в «Волгу», ничего не понявший милицейский начальник все допытывался у «потерпевшего», что он делал так поздно в центре, если прописан где-то в Мневниках. В райотделе нас развели по разным помещениям и предложили написать объяснительные, пообещав, как минимум, по 15 суток за хулиганство. Но нам повезло. Рой Медведев оказывается никуда не уехал³³, его остановил шум, он видел, как нас забрали, и позвонил Петру Якиру. Последний поднял на ноги весь МУР, требуя немедленного нашего освобождения, пообещав наутро мощную демон-

³³ На самом деле все было несколько по-другому. Так случилось, что в это самое время я выходил из метро и увидел прячущегося за колонну Роя Медведева. Он был явно чем-то испуган, а на мое приветствие он отреагировал довольно странно, показав пальцем в конец Крымской площади, где возвышалась голова моего отца. Там же я увидел и Алтуняна, а также несколько явных гебистов. Понимая, что в этой ситуации от Медведева вряд ли будет какой-нибудь толк, я попросил его позвонить Якиру, а сам побежал туда, где был отец. Однако прежде, чем я успел добежать, их обоих уже увезли. Я тут же сообщил об этом по телефону матери, и мы вместе с ней стали выяснять, куда могли увести наших близких. Один из знакомых милиционеров подсказал мне, что это, по-видимому, седьмое районное отделение. Он оказался прав. Из отделения мы позвонили Якиру, который уже знал от Медведева о задержании. Якир обещал скоро приехать. Однако появился он в сопровождении Красина только часа через четыре, когда задержанных уже отпускали. При этом оба были в сильном подпитии, чего милицейские чины, к счастью, не заметили. Так что утверждение, будто Якир «поднял на ноги весь МУР», выглядит явным преувеличением. Угроза же устроить демонстрацию совершенно точно исходила от матери. *Прим. А. Г.*

страцию протеста. Долго куда-то звонили, но в конце-концов в три часа ночи мы были отпущены с твердыми заверениями, что нас будут судить за хулиганство. Конечно, о нас «забыли», но не забыл Петр Григорьевич: он неоднократно обращался во все инстанции вплоть до Верховного суда России, требуя привлечь к ответственности наших обидчиков.

Петр Григорьевич бывал и у нас в Харькове. Последний раз он приехал ко мне и моим друзьям незадолго до своего отъезда в Америку. Рассказал, что хочет делать сложную операцию. Сначала он собирался лечь в московскую больницу. Но некоторые обстоятельства, подозрительная возня вокруг предстоящей операции заставили его насторожиться. Ведь можно было легко сделать так, чтобы семидесятилетний старик умер на операционном столе. Скажут, сердце не выдержало.

Петр Григорьевич обратился к властям с просьбой дать ему уехать в Америку прооперироваться. Ему дали визу на полгода, об этом он и рассказал на нашей последней встрече. Мы тогда ему сказали:

— Вас назад не пустят.

— Ну что вы, — ответил он. — Мне там нечего делать. Прооперируюсь и вернусь.

Но мы понимали, что Петра Григорьевича больше не увидим, и прощание было очень грустным.

Петр Григорьевич тяжело переживал свое изгнание. Еще и потому, что там, в Америке, он недобро был принят частью украинской диаспоры. Не всей, конечно! Многие высоко и тепло отзывались о нем. Но некоторая часть диаспоры, такие как Валентин Мороз, стали вести разнузданную травлю: москаль, запроданец и тому подобное. Каково было читать и слышать все это ему, человеку, который боль целых народов — русских, украинцев, татар — принимал как свою!

Юрий Орлов

Об отдельной роли П. Г. Григоренко в распаде советской системы

В 2007 году — столетие со дня рождения Петра Григорьевича Григоренко. Григоренко — один из самых известных фигур того ненасильственного, морального сопротивления советскому режиму, которое подрывало и (вместе с другими факторами) подорвало его основы. Именно в таком плане след от жизни и деятельности Григоренко останется в истории России и Украины, в истории драматического — но не трагического — распада СССР.

Советский режим распался не потому, что проиграл холодную войну. Ни в наступательном, ни в оборонительном вооружениях, ни в расширении потенциальных плацдармов на мировой арене Советский Союз не проигрывал. Афганистан был серьезным исключением, но всё же исключением. СССР проиграл эту не горячую войну потому что был системой, для которой победа, «окончательная победа», всегда разумелась как победа идеологическая, моральная, психологическая, победа в войне за души. Но именно по этой линии он драматически проигрывал, и не Америке, а своим собственным диссидентам. Можно сказать, что, как система, режим постепенно

потерял самый смысл своего существования. Это был конец, и тут очевидна ключевая роль таких фигур, как Григоренко.

В фундаменте советского коммунизма были заложены вера и надежда, внедряемые в каждого пропагандой и поддерживаемые в каждом насилии, с пеленок и до могилы. Были они изначально внедрены и в сознание Петра Григорьевича Григоренко (как и многих других будущих диссидентов старшего поколения) Но когда он вырвался на простор свободной, критической мысли и режим применил насилие — мерзкое насилие — оно на нем споткнулось! Как споткнулось на всем правозащитном движении. Давайте разберемся чуть детальнее, почему в начале 1990-х годов распалась советская система. Экономика? Не сахар, но в советской истории были времена несравнимо худшие. (Кстати о сахаре. В моем деревенском детстве я всегда оставлял недососанный кусочек сахара на следующее чаепитие. А через полвека, в сибирской ссылке, я, как и все, мог купить полкило сахара по ежемесячному талону. Очевидный прогресс.) Американская программа непробиваемой стратегической обороны? Но она не только не была осуществлена; согласно экспертам Американского Физического Общества, она неосуществима в случае такого супер-противника как Россия. И это знали Советы. (Я спросил Теллера, на нашей единственной — частной — встрече, состоявшейся в 1986 году: В чем смысл такой обороны, непробиваемость которой заведомо мало вероятна? Он ответил, что даже при малой вероятности того что ответные силы США выйдут дееспособными из первого советского удара, эта вероятность удержит Советы от его нанесения. Я считаю такую оценку не-безумности советских лидеров правильной. Но она не объясняет распада их политической системы.)

Общее технологическое отставание? Да. Но, с другой стороны, один шаг позади в технологическом прогрессе был уже давно встроен в систему, которая, в соответствии со своим существом, доверяла своим шпионам гораздо больше, чем своим ученым.

Растущая как рак коррупция во всех эшелонах власти? Серьезное дело. Но в закрытом тоталитарном обществе коррупция внутри власти есть частное дело этой власти, между собой решаемое дело. (В 1977, в Лефортово, я узнал от сокамерников о закрытых делах по коррупции прокуроров, секретарей обкомов, и т. п. Людям снаружи это было неизвестно. Но семью годами позже, в сибирской ссылке, рабочие-строители спрашивали меня, выступаем ли мы, диссиденты, против коррупции.)

Боязнь восстания? Да, и это было. Ведь уже создана была антисоветская рабочая Солидарность в Польше. (И спрашивал меня в 1978 году Каталиков, один из моих следователей в Лефортово: «Я читаю ваши диссидентские заявления. Они становятся все более антисоветскими и резкими. Что, следующий шаг будет призыв к оружию?» Я ответил только, что правозащитники против насилия.) Но система и в этом пункте работала четко. Местные выступления быстро, жестоко и достаточно секретно подавлялись, как это было в Новочеркасске или, скажем, в Караганде. Остальное население страны не знало об этих выступлениях. Власти могли бы спокойно управлять и дальше без самоубийственных для их системы попыток самоулучшения. Вместо этого они вдруг объявили перестройку и (требуемую диссидентами по крайней мере 20 лет) гласность, хотя и в их кастрирующей интерпретации. Они начали освобождать политзаключенных!

Зачитав мне указ о лишении гражданства и депортации в октябре 1986 в Лефортово, двое в штатском сообщили мне довольно изумительную в их устах новость: «Ожидаются перемены в вашем духе, Юрий Федорович. Не спешите ругать нас на Западе.» В конце того же года, уже в Вене, на очередном совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, где Л. М. Алексеева и я представляли общественную часть американской делегации, советский посол Ю. Кашлев открыто объявил, что с целью улучшения отношений

с Западом СССР начинается освобождение заключенных по известным статьям УК. Это был прыжок в неизвестность, который развивался далее по своим собственным законам. Были освобождены, в частности, члены Украинской Хельсинкской группы, ставшей центром мирного освободительного движения в Украине. Напомню, что в октябре 1977 Григоренко был одним из её отцов-основателей.

Итак, никаких срочных материальных причин для начала самоубийственной самореконструкции советской системы не существовало. В этой сфере поражения еще не было. Однако в нематериальной сфере унижительное поражение было налицо. Оказалось, что истинным гарантом существования этой утопической системы был не её ядерно-ракетный арсенал, и даже не её свирепая служба «безопасности», а её агрессивно отмываемый и подпудриваемый образ — в мире, в стране, и в мозгах самих её вождей. И вот однажды все, включая короля, обнаружили, что король просто гол.

Тут мы и подошли к отдельной роли П. Г. Григоренко в распаде советской системы. Я говорю «отдельной роли», потому что одновременно действовали и другие выдающиеся фигуры мирного сопротивления советскому тоталитаризму. Были «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» Сахарова, был «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и была громадная, четверть-вековая работа большого множества других диссидентов — правозащитников, политических диссидентов, национальных диссидентов, религиозных диссидентов, и так далее и так далее. Множество имен можно найти, конечно, и в замечательных мемуарах самого Григоренко. Каждый диссидент-правозащитник был костью в пропагандистском горле советской системы, но Григоренко как личность был особая кость. Его влияние на людей внутри страны — а с ним сталкивалось исключительно много народа на всех уровнях общества — вытекало из его «простого» происхождения, высокого генеральского положения, его богатой биографии

как ветерана Отечественной войны и безусловного патриота, и его общительного характера. Прибавим его известные профессиональные качества как военного и инженера, его здравый ум, умение четко формулировать и просто объяснять, а также немедленно очевидную честность и открытость. Наконец, его исключительная смелость там, где обычные генералы трусят — в отношениях с властью. Наконец и его презирающую палачей стойкость перед лицом психиатрических пыток.

Все это привлекало к нему людей самого разного толка и самых разных убеждений. В отличие от многих других замечательных правозащитников, он ни в коей мере не был далек от народа. Отсюда особая реакция режима на появление в оппозиции генерала Григоренко.

Надо тоже иметь в виду, что где-то не позже 70-х, уже сравнительно большая масса народа была готова слушать критику режима не донося. Это хорошо видно из воспоминаний Григоренко, «В подполье можно встретить только крыс». Я знаю это и по своему опыту.

Григоренко прекрасный публицист. Его политические убеждения, всегда на стороне бедных, можно было бы назвать левыми и даже социалистическими, если бы не было там так много просто-го глубокого сочувствия к людям. Что означает, что он был на самом деле правозащитник от природы.

На мою первую встречу с Петром Григорьевичем, в 1974 году, меня подтолкнул Игорь Шафаревич. П. Г. только что вернулся в Москву из последней психушки. «Почему, выпустив столько сильных заявлений в защиту Плюща, Вы не сделали ничего подобного в защиту генерала Григоренко», спросил меня Шафаревич. Это был ужасный упрек. Я пробормотал, что сам только чуть больше года как из де факто административной ссылки. Но он это знал. На следующий день я попросил, кажется, Алика Гинзбурга захватить меня и мою жену Ирину в гости к Григоренкам. После этого я бывал у них

довольно часто, иногда с Ириной. Мне запомнилось, что там всегда было много народу, почти как у Сахаровых, а впрочем, как и в нескольких других «диссидентских» домах. Было всегда несколько таких центров, образующихся вокруг еще не арестованных или уже не арестованных фигур. Зависело тоже от этих фигур жилищных условий и местоположения. Были собрания организованные — пресс-конференции, собрания групп, скажем, Международной Амнистии или Московской Хельсинкской группы (называвшейся тогда по другому), неофициальные домашние семинары, и т. п. Например, на квартире Григоренко было объявлено о создании Украинской Хельсинкской Группы, на моей квартире было объявлено о создании Литовской Хельсинкской Группы. Но в большинстве это были просто неорганизованные прихождения на огонек. Мы, диссиденты разных направлений, виделись друг с другом, делились нашими неофициальными новостями, часто с помощью только записочек, иногда дискутировали, хотя это было не очень интересно в обстановке глобального прослушивания, а чаще всего составляли открытые обращения и собирали подписи под ними в защиту репрессируемых властями.

Конечно, наиболее важная для меня часть моей правозащитной деятельности и, в частности, совместной работы с П. Г. Григоренко связана с Московской Хельсинкской группой, которую я организовал в мае 1976 года и которая существует и активна по сию пору. Как вспоминает П. Г., я начал в марте 1976-го убеждать правозащитников, и его в частности, что следует использовать Хельсинкские соглашения в наших правозащитных целях. Вначале он не поддерживал идею и согласился дать своё имя, важное для влияния документов группы на общественность, лишь в последний момент перед моим заявлением о её создании. (Это заявление я сделал на квартире и при содействии Андрея Дмитриевича Сахарова. На моей квартире телефон был давно обрезан.)

По Петра Григорьевича инициативе, первый документ группы информировал глав правительств, подписавших Хельсинкский Заключительный Акт, о нарушениях этого Акта при суде над Мустафой Джемилевым и в действиях властей против крымских татар вообще. (Все документы МХГ до-Горбачевского периода, их 195, теперь изданы и переизданы в Москве и могут быть прочитаны.)

Этот первый, можно назвать его «Григоренковский», документ МХГ был представлен зарубежным корреспондентам 15 мая 1976. (Мы иногда специально приглашали и советских корреспондентов, но они никогда не являлись.) Так группа начала работать. Кроме Григоренко, в первый состав группы вошли другие известные асы правозащитного движения — А. Марченко, А. Гинзбург, Л. Алексеева (теперешний президент МХГ), А. Щаранский, Е. Боннэр, М. Ланда, и тогда мало известные В. Рубин, М. Берштам, А. Корчак. Я в это время был задержан и сидел в подвале своего районного КГБ, а в это же самое время ТАСС (Телеграфное Агентство Советского Союза) сообщало, но только гражданам Запада, что Орлов — старый антисоветчик, что было правдой; что он давно забросил науку, что было клеветой; что группа антиконституционна, что было, между прочим, правдой (вспомните какие были статьи в той конституции); и что Орлов предупрежден, что дело будет передано в прокуратуру, если его группа начнет работу. (Предупреждение я назвал самиздатом и не подписал.)

Этим громким официальным заявлением, направленным западным странам-участникам Хельсинкских соглашений, советский режим сам определил ту высокую международную шкалу, по которой отныне оценивалась работа Московской Хельсинкской группы.

«Только это заявление ТАСС открыло мне глаза», — пишет Григоренко. (Я цитирую по книге «В подполье... «издания 1981 года, которую он подарил Ирине и мне в 1986 году.) «Я понял, что создание группы — это гениальная находка правозащиты.»

Что касается открытия глаз, П. Г. просто имеет в виду наши предыдущие расхождения в оценке потенциальной эффективности группы по наблюдению за советскими нарушениями соглашений, заключенных по советской же инициативе. Действительно, мы все понимали, что «Хельсинское совещание — это «фокус», трюк советской дипломатии...», как пишет Григоренко в той же книге. Расхождение наше состояло только в том, что трюку я предлагал противопоставить трюк, а он вначале считал это бесполезным.

У меня были глубокие основания надеяться, что создание «Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», как я её назвал, окажется для советского режима серьезной проблемой именно потому, что режим сам инициировал эти соглашения, и мир знал об этом.

Я говорил (и написал позже в одном из документов группы), что при тогдашней нестабильности в отношениях с Китаем, СССР очень нуждался в Хельсинкских соглашениях, несмотря на правозащитные обязательства, так как эти соглашения были эквивалентом Европейского мирного договора в части фиксации послевоенных западных границ. Но в этом и был советский трюк, говорил (и позже писал) Григоренко. Настоящий мирный договор зафиксировал бы сроки вывода советских войск из Восточной Европы и кроме того, как указывали и другие диссиденты, пересмотрел бы включение Прибалтики в состав СССР. То, что Запад согласился на советский вариант соглашений о взаимной безопасности, советские правозащитники считали предательством Запада по отношению к оккупированным народам Восточной Европы.

Все же, говорил я, в Хельсинкских соглашениях Запад связал международную безопасность с некоторыми, совершенно невыполнимыми для СССР, обязательствами по правам человека. Очевидно, чтобы сохранить важные для него другие статьи соглашений, Брежнев был вынужден формально согласиться на правозащитные

статьи. Теперь от нас правозащитников зависит, считал я, будет ли Запад требовать их выполнения. Без нас этого точно не произойдет хотя бы потому, что у Запада не будет доказательств нарушений этих статей.

Кроме того, я напоминал, что концепция глубокой связи между правами человека и международным миром и безопасностью, поставленная Западом в одну из основ Хельсинкских соглашений, это также и наша идея, к которой советские правозащитники, начиная с Сахарова, пришли независимо. В этой части Хельсинкские соглашения идейно близки нам. В декларации об образовании группы я указал на эту связь между правами человека и международной безопасностью.

Петр Григорьевич вскоре полностью согласился со мной. Затем он и сам помог организовать Украинскую Хельсинкскую группу.

В своих оценках эффективности западного давления на советский режим, сделанных им до распада советского режима, Григоренко был довольно пессимистичен. Мы не знаем, что бы он сказал теперь, после распада. Но он бы не забыл, как забывает теперь часть диссидентов, считающая что «ничего не изменилось», что в результате распада СССР появилась, например, независимая Украина.

Я думаю, что он был бы счастлив.

*Итака, Нью-Йорк
2007*

Гомер Басв

Вспоминая Григоренко

О Петре Григорьевиче Григоренко — генерале, участвовавшем в демократическом движении, я услышал во второй половине 1960-х.

К очередной годовщине депортации крымскотатарского народа 18 мая 1968 года в Москву из различных регионов стекались большие группы крымских татар — чтобы выразить протест властям, которые, несмотря на принятые решения о реабилитации народа и его праве жить на родине, продолжали не прописывать крымских татар в Крыму.

Среди тех, кто направлялся в Москву, был и я.

Однако, когда мы прибыли в Москву, отделения милиции были уже забиты крымскими татарами, которых отлавливали по всему городу, руководствуясь «антропологическими» признаками. Арестованных крымских татар направляли на Казанский вокзал, где сажали в поезда и выдворяли в места, откуда они приехали.

Меня «правоохранители» тоже попытались насильно «выпроводить» из Москвы. Но на первой же остановке вместе с Роланом Кадыевым мы выпрыгнули из поезда и вернулись в Москву, сразу же позвонив Григоренко, который, как мы уже знали, активно интересовался крымскотатарской проблемой и следил за развитием событий в Москве и в Крыму.

«Почему о выступлении крымских татар молчат западные журналисты?», — спросили мы его. «Они ждали вас на Красной площади», — ответил генерал. Григоренко пообещал, что вскорости сам приедет в Крым.

Действительно, в июне 1968 г. он прибыл в Крым, устроившись работать грузчиком в Ялте. Время от времени Петр Григорьевич приезжал из Ялты в Симферополь, наблюдая и участвуя в демонстрациях протеста крымских татар, которых власти категорически отказывались прописывать на родине. Впечатления от этой поездки Григоренко подробно описал в своей книге «В подполье можно встретить только крыс».

Уехал Петр Григорьевич из Крыма в Москву в конце августа 1968, числа 25-го или 26-го, а 29 августа меня арестовали, предъявив тяжелую статью — «антисоветская агитация и пропаганда».

Как-то раз меня вызвали на допрос, где мне представили моего адвоката. Мне он с первого взгляда очень не понравился — напомнил гэбиста. «Я буду вас защищать» — говорит он мне. «Мне адвокат не нужен, я сам себя буду защищать, — отвечаю я ... И тут он передает мне письмо от матери и от Петра Григорьевича, в котором Григоренко сообщает, что это ученик известного адвоката Софии Каллистратовой Николай Монахов, и просит не отказываться от защиты, поскольку через адвоката он сможет получать информацию о ходе процесса. Так я познакомился с адвокатом Николаем Монаховым — эрудированным и порядочным человеком, с которым впоследствии очень подружился... Тогда, чтобы защищать крымских татар, требовалось большое мужество.

...Меня судили в Крыму, в апреле 1969 года, я получил два года заключения. А, как я узнал позднее, через несколько дней в Ташкенте был арестован Петр Григорьевич...

После освобождения, в 1971 году, я приехал в Москву — чтобы встретиться с Григоренко и рассказать о моем сокамернике — ди-

ректоре школы из Евпатории Гавриленко. В 1968 году, после вторжения в Чехословакию советских войск, Гавриленко написал эссе, в котором критиковал советские власти за это решение. Вскоре он был арестован и впоследствии признан невинным. О судьбе Гавриленко я и хотел рассказать Петру Григорьевичу — однако когда приехал, выяснилось, что генерал сам находится в спецпсихбольнице...

Наш народ навсегда сохранит благодарную память о таких людях, как Петр Григоренко, София Каллистратова, Николай Монахов, которые, в числе немногих, протянули нам руку помощи в самые для него трудные времена.

Наум Коржавин

В защиту банальных истин

Над страницами жизни Петра Григоренко

Некоторое время тому назад ко мне обратился Андрей Григоренко с просьбой написать небольшой очерк-воспоминание к 100-летию со дня рождения его отца. Поскольку с Андреем мы были знакомы еще в Москве, то он считал, что я также был знаком и с покойным генералом еще с диссидентских времен. На самом деле Андрей ошибся. Я, естественно, много слышал о бунтовщике-генерале и даже присутствовал на похоронах Костерина, где Петр Григорьевич произнес свою, знаменитую теперь, речь, но лично знаком с ним не был. Мы познакомились только в Америке.

По странному стечению обстоятельств это произошло в тот день, когда генерала лишили советского гражданства.

Поскольку наше знакомство с Петром Григорьевичем было достаточно недолгим, и о нем я знаю в основном по книге его воспоминаний, то я предложил Андрею включить в сборник мою рецензию на эту книгу, написанную вскоре после выхода книги в свет. Конечно, многое изменилось за те двадцать с лишним лет после написания моей рецензии. В частности, исчез Советский Союз. Таким образом, когда в рецензии я говорю «наша страна»,

то надо понимать, что я имею в виду все страны, образовавшиеся на его месте. Я говорю о нашей общей истории и общих проблемах, как прошлого, так и настоящего. То, что я говорил тогда, остается справедливым и сегодня.

*Наум Коржавин
Бостон, 10 июня 2007 года*

Если судить по названию книги П. Г. Григоренко — «В подполье можно встретить только крыс», — то это еще одна книга о проблемах диссидентского движения. Между тем, это движение не занимает большого места в этой книге. Это прежде всего рассказ о том, как один честный, талантливый и умный человек начал служить, почти всю свою жизнь честно, даже идя на конфликты, прослужил, а потом перестал служить советской власти. Название явно уводит в сторону. Правда, сам автор дает ему особое истолкование. Он исходит из того, что подполье — это не вообще нелегальность, а только заговор группы лиц, имеющий целью захват и удержание власти над всеми остальными. А поскольку автор всю жизнь служил именно таким крысам, получается, что название это вполне уместно. Но, во-первых, эти объяснения — устные, а во-вторых, плохо, что название вообще требует объяснения и вызывает семантические споры. Так или иначе, но по названию о сути книги догадаться трудно. И многих оно может оттолкнуть или не заинтересовать. А жаль. Эта книга нужна всем.

Кстати говоря, проблем подполья П. Г. Григоренко почти не касается. Даже на последних двухстах страницах, собственно и посвященных участию автора в правозащитном движении.

На этих страницах тоже есть много интересного. Особенно, когда автор рассказывает о своем пребывании в закрытых психиатрических больницах — «психушках», то есть в самой уже бездне советского бесправия, где у человека вполне официально отнято право на личность.

«Больной, не возбуждайтесь!» — змеиным шепотом шипели на него сестры этого заведения, когда он серьезно возражал, заступаясь за других несчастных. Это был одновременно и намек на то, что они вправе к любым его словам относиться как к бреду сумасшедшего, а при случае могут его и «успокоить». Такого торжества ублюдков над высоким интеллектом и духом вряд ли когда-нибудь знала история. В сущности, ублюдочная власть так же относится ко всему народу, заставляя его делать вид, что внушаемая ею бессмыслица есть членораздельная речь, а тех, кто отказывается делать такой вид, — «успокаивая». Обстановка, которая вырвала когда-то у Григоровича знаменитую фразу «Вся Россия — палата номер 6» — по сравнению с этой рай земной. Не говоря уже о том, что и тогда эта фраза была преувеличением. Но думаю, что если сказать: «Весь СССР — спецпсихбольница МВД!» — преувеличения не будет. Думаю, что так, как П. Г. Григоренко прошел через эти испытания, — мало кому бы удалось пройти. Он не только вошел, но и вышел из этой больницы, сохраняя здравость ума и души. Но это уже потому, что он — человек незаурядный, что этих качеств у него не только достаточно, но и в избытке, что сила его духа и интеллекта редкостны. В принципе, такие испытания человека должны сломить. Ведь это же пять лет таких издевательств, мелочных, ежедневных, ежечасных, непрерывных... Это было так тяжело, что и сегодня Петр Григорьевич избегает слишком много об этом рассказывать, переживать это снова.

Но он сохраняет способность относиться к этому факту широко, обобщенно. Он видит в нем угрозу не только жителям тоталитарного мира, но и всем людям на земле. Ибо это дурной пример. Ибо впервые доказано, что психиатрию можно в широких масштабах использовать против человека. От себя добавлю, что довольно медленная реакция мировой психиатрической общественности на компрометацию своей профессии подтверждает основательность тревоги П. Г. Григоренко. Но он вообще склонен рассматривать проблемы

широко, а не только с поверхностно-правозащитной точки зрения. Это значит, что для него все проблемы бытия вовсе не сводятся к защите прав, хотя правам он придает большое значение. Это очень интересно сказало на том, как он, например, воспринял жизнь в родной деревне, куда приехал отдохнуть после психушки. Многие его обрадовало. В глазах людей исчез страх. Иностранцы передавали на русском языке слушали открыто, не таясь от соседей. Мальчишки преследовали сексотов, пытавшихся следить за опальным земляком. «Шпиёны приехали!» — орал он на всю улицу. Всему этому Григоренко радуется, без этого нельзя. Но в голову ему приходят и совсем не правозащитные мысли. «Избавление от страха, это именно то, что нужно нашему народу прежде всего, — признаёт он. — Но этим все не исчерпывается. Что придет на смену этому чувству? Какой духовный мир займет его место? Это вопрос, во всяком случае, не менее важный. Но ответа на него пока нет. И даже не намечается». И действительно, коммунистическую пропаганду народ не приемлет, церковью почти нет, а западные радиостанции, даже «Свобода», не создают программ, способствующих формированию внутреннего мира человека. «Что же будет с не знающей страха, но пустой душой? Пока что пустоту эту заливают самогоном или домашним вином. А что будет дальше?» — тревожится он. И тревога его — существенна. Ибо вопросы эти перед ним стоят, и о них нельзя забывать, они ведь все равно себя покажут. И человека, способного так свободно, четко и широко мыслить, в нашей стране объявили сумасшедшим.

Тем не менее, все-таки я считаю, что последние двести страниц лучше было бы в эту книгу вообще не включать, их надо было либо издать отдельно, либо включить в какую-нибудь другую книгу — в дополнение к написанному о диссидентском движении другими авторами и самим П. Г. Григоренко.

Ценность же этой книги, и ценность непреходящая, в другом — в том, что она есть историко-психологическое свидетельство пер-

востепенной важности. Это свидетельство человека, прошедшего с советской властью весь ее путь до сегодняшнего дня, путь рядового представителя тех кадров, которые, по выражению Сталина, решают все. И которые действительно все решили. Путь человека, втянувшегося, как и многие, в этот слой — незаметно, но полностью. Но, в отличие от многих, вырвавшегося из этого слоя и поэтому способного взглянуть на свой жизненный путь как бы со стороны. (Самосознание — не относится к сильным сторонам этого слоя.)

Когда он выходил в жизнь — советская власть только начиналась, была подростком, как и он. Вместе с ней он мужал, креп, входил в возраст, старел. Только вот в старческий маразм он вместе с ней не впал. Отошел. При наиболее благоприятных карьерных перспективах. Притом что от него лично эта карьера особых подлостей не требовала. (Он занимался военно-техническими и военно-историческими исследованиями.) И для тех, кто жил в это время в СССР, и кто помнит, как и чем мы все жили, совсем неважно, что поначалу его отход объяснялся увиденным несоответствием реальной власти «настоящему и творческому ленинизму». Констатация несоответствия между догмами (вернее, внушенным образом) ленинизма и сущностью тогдашней (и нынешней) власти — существенный шаг для начала самосознания. Это — первый шаг. Понимание, что, тем не менее, истинный ленинизм и его сегодняшнее воплощение очень родственны, что одно вытекает из другого почти автоматически, приходит потом — если этот первый шаг сделан. Конечно, я говорю о поколениях, которые были под обаянием того и другого. Не только о П. Г. Григоренко, но и о себе — хотя я на 18 лет младше его. Более младшие поколения получили это преодоление коммунизма готовым из наших рук, но само это — не ценность. И само по себе это отнюдь не уберегает их от заболевания другими болезнями духа, иногда даже сходными. (Если опыт нашего соблазна только отвергнут, но не понят.) Но речь сейчас не об этом.

Конечно, личность человека определяется не только (да и не обязательно) категорией, не только социальным или иным слоем, к которым мы его относим, не только общностью происхождения и биографии, а и личными особенностями. Например, семьей. Многое в личности Петра Григорьевича определяется тем, что он, как говорится, человек из хорошей семьи. Обыкновенно это выражение относят к семьям дворянским, купеческим, вообще интеллигентным. Я же отношу его здесь к семье крестьянской. Но это была именно хорошая семья — с устоями, традициями, с чувством собственного достоинства, с большой и разумной любовью к земле, к знаниям, в том числе и практическим, применяемым к той же земле. Конечно, люди есть люди, и в этой семье тоже случалось всякое. Например, бабка автора, человек во всех остальных обстоятельствах добрый и заботливый, вынудила уйти из семьи беззащитную и очень добрую женщину — мачеху автора, бесприданницу, — причем, когда отец был в солдатах, и эта мачеха оставалась одна с детьми. Эта история до сих пор отзывается болью и стыдом в душе автора — может быть, именно потому, что она резко противоречит всему, что он видел в своей семье, что в нем было заложено с детства. Ему повезло. И не только с семьей. Он испытал все благотворное влияние редкостного духовного наставника — православного священника о. Владимира Донского, человека высокого духа, ума и фундаментальных знаний, миссионера-бессеребренника, проведшего лет тридцать в Африке и под конец обосновавшегося в их деревне. Влияние о. Владимира не уберегло автора этой книги от многих соблазнов времени, от большевизма и безбожия, но — вместе с заложенным в семье — все равно от многого уберегло, ибо составляло костяк его личности, как бы он внешне далеко подчас ни отходил от этого и как бы преданно ни служил новому строю.

Встречаясь на страницах этой книги с самим автором и некоторыми его товарищами, узнавая в них хороших и достойных людей,

легко соблазниться, решить, что поскольку хорошие люди встречаются везде и всегда, то к таким понятиям, как «коммунизм», «новый строй», «партийность» и тому подобное — надо относиться терпимее. Это ошибка.

Конечно, хорошие люди — хорошие люди, и лучше, где бы то ни было, иметь дело с ними, чем с другими. Но когда эти слова внедряются в сознание насильно, то они начинают — книга показывает и это — влиять не только на поведение людей, но даже на формирование их внутреннего мира, определяют использование их самых лучших качеств. Порядочный человек начинает истово служить оголтелой непорядочности. Особенно это опасно, если человек по природе активен. П. Г. Григоренко судит себя самого достаточно жестко. Не только за свои прямые прегрешения, их не так уж много. Наивное кощунство, совершенное в восторге комсомольского неофитства, особенно горькое тем, что он оскорбил этим о. Владимира Донского — человека, которого всегда любил и уважал, который так много сделал для него — для его просвещения и становления. Правда, пристыженный священником, он потом дома в одиночестве забрался в сарай, упал на сено и горько заплакал от стыда и потрясения. И хоть, как он сам говорит, с тех пор он принес еще много зла своему народу, но кощунства и святотатства больше не допускал никогда. И еще один грех — в качестве начальника штаба отдельного саперного батальона и талантливого инженера, «виртуозно» взорвал по приказу начальства три православных храма, среди них замечательный собор в Витебске. Но все же это уже выполнение приказа, и к тому же эта «работа» начала быстро ему претить, и он при первой возможности перепоручил ее другим. Выход не блистательный, но другого — для тогдашнего П. Г. Григоренко — не было.

Однако судит он себя не только за то, что делал, но и за то, что делалось без него, но при его косвенном соучастии, за то, что не хотел видеть и понимать, — короче, за все, чем была и что делала

партия, в которую он добровольно вступил и против которой сознательно выступил гораздо позже, чем, по его мнению, надо было это сделать. Впрочем, почти никто из людей его биографии этого не сделал до сих пор. А он это сделал в расцвете своей карьеры, когда его практически никто не трогал и он мог работать, непосредственно не совершая подлостей. Даже те неприятности, которые обычно, особенно в СССР, выпадают на долю всякого талантливого и самостоятельного человека, были у него уже, в основном, позади — таким было его положение. И вот в один день он сам своими руками все разрушил, отказался от того, за что все вокруг держались зубами, не только руками.

Впрочем, если бы этого не было, не было бы и того Петра Григорьевича Григоренко, которого мы знаем, а был бы просто талантливый военный (инженер, кибернетик, военный мыслитель и организатор) — генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии и даже маршал. И, как он сам говорит, возможно, сегодня душил бы Эфиопию не Василий Иванович Петров, а Петр Григорьевич Григоренко — пусть при этом, добавлю от себя, не очень уважая пославшее его туда начальство. А с ним — в глубине души — и самого себя.

Но этого не произошло. Нет маршала Григоренко, а есть правозащитная деятельность, злобная и жестокая месть за нее «с использованием» психиатрии, эмиграция и, наконец, эта книга. В каком-то смысле я считаю эту книгу венцом и наивысшим достижением всей жизни этого незаурядного человека.

Значение этой книги переоценить трудно. Без нее просто невозможно теперь изучать историю советского общества. И не только изучать, но и просто представить. Ибо что можно представить, не представляя психологии людей, составлявших основу этого строя, ее костяк. П. Г. Григоренко был при всей своей незаурядности все же типичным представителем этого слоя. Путь его вполне типичен для многих талантливых, энергичных и отнюдь не обязательно нечес-

тных подростков и юношей из низов (но не только из низов), которых привлекла к себе и светом ложной, но соблазнительной истины, и открывающимися путями, захватывающими перспективами молодая советская власть. Во всяком случае, во все время своего существования в этом слое, то есть до своего открытого выступления на партактиве, П. Г. Григоренко никогда не чувствовал себя белой вороной или совершенно одиноким человеком, всегда, кроме идиотов и жуликов (а их, конечно, хватало, и они весьма затрудняли жизнь), вокруг него были люди, которых он уважал, которым доверял и о которых и сейчас вспоминает с искренним уважением. Даже о тех, кто его уважения заслуживает далеко не во всем, он говорит объективно, отдавая дань их достоинствам и хорошим поступкам. Они для него люди, а не знаки: и уже упоминавшийся В. И. Петров, и маршал Чуйков, и многие другие. Люди, среди которых он жил и возвышаться над которыми он вовсе не стремится. Хоть и приходится.

То, что все эти люди — люди, никак не дает оснований для пересмотра нашего отношения к той страшной силе, которой они служат и которую составляют, но это разрушает схематические представления и способствует более глубокому пониманию жизненных процессов и человеческих отношений в тоталитарном обществе на протяжении всей его истории. Так и получается, что в самом центре этого завихрения, при всех деформациях сознания, люди часто в своих человеческих отношениях остаются людьми, хотя эти человеческие отношения (и в этом трагедия!) на ход событий совсем не влияют. Наоборот, люди более честные, часто попадая при этом в конфликтные ситуации, тем не менее, приносят своим бесчеловечным режимам больше пользы, лучше им служат, чем все остальные, — иногда против воли начальства.

Вот характеристика, которую в середине тридцатых годов вроде бы дала П. Г. Григоренко польская разведка (он строил тогда укрепрайоны на польской границе, и у этой разведки могли быть ос-

нования им интересоваться): «Принадлежит к так называемому сталинскому поколению. Идеальный. Предан Сталину и его режиму не из желания выслужиться, а по убеждению. К критике в адрес режима относится нетерпимо, но доносов не пишет, а горячо убеждает оппонента в его неправоте. Головокружительное продвижение по службе воспринял как должное и, несмотря на отсутствие опыта, дело взял в руки твердо и уверенно. Инициативен и решителен. Принимать на себя ответственность не боится. Заметных пороков не обнаружено. Подходов для вербовки нет». Текст был бы совсем достоверен, если бы дальше не следовала еще одна фраза: «Можно попытаться действовать через женщину, хотя надеяться на успех тоже трудно». Фраза ставит весь текст под сомнение. Возможно, автор (или редактор) этой характеристики не польская дефензива, а советский НКВД, которому она вдруг зачем-то понадобилась — и именно в качестве документа «с той стороны». Уж слишком стиль этой фразы в духе тогдашних процессов и митингов! Да и прочитал автору этот текст — да еще так, что тот никак не мог в него заглянуть, — не кто-нибудь, а представитель этой организации Кириллов («череп, обтянутый кожей» — такое он производил впечатление). Может, он и дописал последнюю фразу. Но здесь для нас это неважно. Важно все, что предшествует этой фразе. Кто бы ее ни написал. Правда о П. Г. Григоренко и о многих других людях, живших активно в эти годы. Человеческая активность — драгоценное качество, но она же и бремя. Потребность эта не менее остра, чем другие физические, материальные и духовные потребности. Эта потребность далеко не всегда даже связана с тщеславием или честолюбием, она часто бескорыстна и, во всяком случае, ни с какой прямой материальной или карьерной корыстью не связана, но потребность эта может быть весьма соблазняющей. Ведь гораздо приятнее действовать, зная, что каждый твой час и миг отдан, по выражению комсомольского писателя Николая Островского, борьбе за освобождение человечества, а не просто прозе жизни.

И тут далеко не каждый легко согласится увидеть (точнее, осознать, что видит), что борьба эта имеет другой вид и смысл. Конечно, если ты не дурак, ты видишь все это, но упорно и умело убеждаешь себя, что это только частности, а так все разумно и хорошо. И это действительно для тебя частности, ибо главное сейчас — это стихия твоей жизни, увлеченность работой, широта перспектив, наполненность каждого дня. Во всем этом столько захватывающего, что просто как-то не вяжется с чем-либо дурным — и ничем, кроме как частностями на светлом фоне или временными трудностями, быть для тебя не может. И даже впечатление от родной деревни во время коллективизации, куда ты и прибыл-то из своей интересной жизни только затем, чтобы увезти, спасти от голодной смерти, то есть от общей судьбы, родного отца, а потом и от другой, куда тебя пошлют уполномоченным на уборку урожая, и где ты встретишь несчастных людей, доведенных до полной апатии и равнодушия, — ни в чем не смогут тебя поколебать. Особенно после того, как свою деревню, то есть тех, кто уцелеет до этого времени, тебе все же удастся отстоять — на том, правда, основании, что она, в отличие от всех деревень вокруг, всегда тяготела к коммуне. И уж совсем ты успокоишься после того, как Сталин в «Головокружении от успехов» сделает вид, что все это «перегибы» слишком ретивых исполнителей. А ведь сам слышал выступление украинского генсека Косиора на инструктаже уполномоченных по хлебозаготовкам и даже вполне уловил сознательное намерение партии уморить голодом часть украинского крестьянства, чтобы остальным nepовадно было сопротивляться коллективизации. Говорилось нечто вроде того, что «мужик», отказываясь собирать хлеб, хочет задушить нас голодом, но мы ему самому дадим почувствовать, что такое голод. Предлагалось заставить вывезти все подчистую, якобы для того, чтобы заставить мужика открыть потайные ямы (которых, все знали, не было). Ты тоже будешь знать, но уверишь себя, что виноват только Косиор, даже захочешь жаловаться

на него Сталину — спасибо друзьям, отговорят. И твою потребность к служению и вере советская власть всегда использовала. Хотя больше симпатизировала тем, у кого ее не было. Особенно после того, как сталинская диктатура окончательно оформилась.

Но до этого советская власть должна была утвердиться как порядок вещей, как ход жизни, как нечто, с чем вполне реально и респектабельно могли связываться всякие жизненные планы, расчеты и честолюбие многих людей. Большую роль в этом сыграла тотальная советская пропаганда. Она всегда умела создавать впечатление, что то, что она хочет навязать, давно всем известно, кроме каких-то глупых, отсталых и замшелых людей, что люди, которые ей противостоят — ублюдки, корыстные эгоисты и так далее. То есть она всегда творила мир. Сегодня она это делает — и часто успешно — и в международном масштабе. Утвердившийся в мире — и почти само собой разумеющийся — образ агрессивных и ужасных Соединенных Штатов, грозного и агрессивного сионистского Израиля, представление, что можно требовать от Израиля выполнения им всех арабских требований, сводящихся к его уничтожению, но не хотеть при этом самого уничтожения, — все это ее заслуга. Да что эти частности. Миру навязана такая атмосфера, при которой подчас даже президенты Соединенных Штатов (только не Рейган) оправдываются, когда их обвиняют в дурном отношении к социализму, словно это их действительно позорит! Это в свободном мире. А что могла сделать такая пропаганда там, где она же контролировала все средства информации. И сочеталась с террором: хочешь — верь, хочешь — пулю.

Но все-таки ее функции было мало для создания порядка вещей. Годы революции и гражданской войны еще никакого порядка вещей не создали. Люди ощущали не наличие его, а, наоборот, отсутствие, исчезновение, революцию, хаос. Люди упрямо ждали, «когда все это кончится». Порядок вещей начался с нэпа, когда возникла иллюзия, что нормальная жизнь может быть и при советской

власти, которая даже начинала выглядеть конструктивной силой. В связи с этим сама романтика утопической идеологии и связанный с ней дух революции, разрушения, вражды, дикости, неуживчивости — стали казаться чем-то респектабельным и солидным, и девушки из хороших семей стали выходить замуж за бескомпромиссных утопистов (люди дозволенные, но все же идейные, то есть культурные, а не дикие). Конечно, можно греметь филиппиками против мещан и приспособленцев, хотя не стоит уж слишком презирать среднего человека за то, что он хочет жить и не соответствует не им придуманным представлениям о должном. Но, даже отвлекаясь от этого, надо все же заметить, что в том и порядок вещей, что такие люди воспринимают создавшееся положение за реальность, к которой надо приспособиться. Это легализация плоти жизни, ее узаконение в нормах и представлениях бытия. Трагизм советской истории состоит в том, что легализация эта была обманчивой, даже провокационной. Стремление людей к жизни, к порядку, к устойчивости оказалось пойманным на крючок — люди обрадовались концу откровенного хаоса и не обратили внимания на то, что власть, созданная во имя утопии, объявила, что уступает требованиям жизни только для того, чтобы не слететь, и то при этом сохраняет «командные высоты» в своих руках, во имя тех же, то есть утопических и скомпрометированных, целей. Впрочем, жизнь уже и так брала свое, и многих партийцев сохранение «командных высот», иначе — своей власти (связанной и с положением, и с благами), интересовало уже и тогда гораздо больше, чем причины, по которым это необходимо, даже если они этого не сознавали. Но эта реальность была в их мозгах причудливо связана с их утопизмом.

Так и пошло, так и образовался порядок вещей. Конечно, идеальная сторона этого утопизма тут же — и чем дальше, тем быстрее (а после окончательного воцарения Сталина — с ужасающей скоростью) — стала испаряться, пока, в конце концов, просто не была

выброшена на свалку вместе с ее носителями, даже теми, кто ради пребывания у власти шел на многие беспринципные компромиссы. Но и сменив все, даже свой состав, партия, созданная ими, продолжала держать эти «командные высоты» как свою главную ценность. Командные над жизнью и над всеми ее интересами, внеположные по-прежнему для этой партии, хотя идеологические цели, во имя которых они были когда-то взяты, превратились в муляж из обесмысленных и потерявших всякую логическую связь терминов. Впрочем, муляж идеологии выражает и сущность, и реальную духовную потребность строя лучше, чем что-либо иное. Порядок вещей уже был создан, утвердился, приобрел инерцию и привычно продолжал работать сам против себя, против своей природы на нарушение жизненных связей, да и самой жизни. Признание муляжа и миража за реальность стало признаком благонамеренности. Люди, внутренне расположенные к иерархическому порядку, вопреки своей консервативности и даже благодаря ей, старательно занимаются насаждением и соблюдением беспорядка, а люди, сознательно стремящиеся к порядку, оказываются в положении бунтовщиков, с существованием которых мирятся как с необходимым злом. Кстати, мириться с их существованием власти становится все труднее, ибо все труднее ей справляться со своей внеположной сущностью. Хотя кто-то ведь должен работать и должен был работать всегда. Власть, даже основанная на утопии, — вещь не утопическая. Так или иначе, она подчиняет себе порядок вещей. И это страшно. Особенно тогда, когда утопию заменяют ее муляжом и заставляют верить в него, как в реальность. Сегодня даже те, кто подчиняется этому порядку вещей, в глубине души и почти открыто презируют его. Но когда П. Г. Григоренко выходил в жизнь, этот порядок еще до конца не раскрылся и, несмотря на большое количество открытых врагов, в глазах многих выглядел еще вполне привлекательно.

Автобиография генерала Григоренко — как уже было сказано, это своеобразная история советского общества. Разумеется, не полная, не исчерпывающая, но история. Это не только важнейшее свидетельство современника, это еще и очень серьезное осмысление пережитого. Радость общения с очень умным и внутренне очень богатым человеком не покидает нас во все время чтения этой книги. Это, конечно, не значит, что она отвечает на все трудные вопросы советской истории. Это невозможно. Но она касается их глубоко, заставляет о них думать, и многое все-таки становится яснее — даже из того, что понять вообще трудно: и как все-таки утвердился этот противоестественный порядок вещей, и как могли его поддержать люди, по своей природе чуждые ему, — такие, например, как мудрый, добрый, смелый человек, дядя автора — Александр. Правда, только поначалу, но потом уже спохватываться было поздно. Против порядка вещей, опирающегося на террор и диктатуру, после того, как он утвердился, восставать трудно. История его показательна, ибо спохватился он довольно скоро, как только заезжие чекисты расстреляли в их деревне по пустяковому поводу первую партию заложников. Природа его, несовместимая ни с какой, особенно, бессмысленной, жестокостью, сказала тут же. На ближайшем же митинге, а они устраивались каждый день, когда после очередных угроз оратор (главный чекист) спросил: «Вопросы есть?» — неожиданно в ответ прозвучал спокойный голос дяди Александра, задавший такой простой, естественный после происшедшего вопрос: «А за что вы людэй расстрилялы?». Он тут же был арестован, и только случайность спасла его от смерти на следующий день. Какой путь прошла страна, чтобы в ней исчезли обыкновенные люди — не борцы, не деятели, не фанатики, — способные в таких неестественных обстоятельствах задавать естественные вопросы. Не удивительно, что такой человек, неспособный идти против собственной совести и здравого смысла, намучался и пропал в годы коллекти-

визации, — гораздо удивительнее, что он до нее дожил. А поначалу он принял советскую власть и даже чуть не поссорился с почитаемым им священником о. Донским, который стоял за белых. Если бы такие люди, как этот человек, поддержали с самого начала белых, многого бы не случилось. Не поддержали. Почему? В общем, это старый вопрос, вопрос о том, почему проиграли белые.

Ведь сегодня почти всем — и в том числе П. Г. Григоренко — вполне ясно, что победа белых была бы спасением для страны,³⁴ — а вот не победили. Как это произошло? Кое-что можно почерпнуть и из этой книги.

Стоит запомнить, что в начале революции Петр Григоренко был, по его собственным словам, человеком политически нейтральным. Религиозным. Любившим петь в церковном хоре. То есть никак не большевиком. И он очень хотел учиться, очень стремился к расширению собственного мира и к какому-то иному приложению сил, которых он в себе чувствовал много. Это очень важно запомнить, ибо таких людей, стремившихся реализоваться по-иному, чем их родители, накопилось тогда по городам и весям России много. Это был резервуар энергии, с которым надо было обращаться бережно,

³⁴ Позволим себе усомниться в этом утверждении. В самом деле точка зрения, согласно которой победа белых была бы неоспоримым благом довольно распространена, и особенно в России. В нерусских частях бывшей империи такое мнение превалирует только у тех, кто испытывает ностальгию по быломu эфемерному величию. Для Украины же белая армия была таким же смертельным врагом, как и армия красная. И то, что молодой Украинской республике приходилось вести войну не только против красных (на севере), но и в центре и на юге против белых, не в последнюю очередь сыграло роковую роль в ее судьбе. Конечно, если говорить о том, чья победа была бы меньшим злом, то, наверное, нельзя не согласиться, что страшнее строя, чем установили интернационал-социалисты, или большевики, трудно было бы представить. В то же время существует немало достаточно веских аргументов в пользу того, что проигрыш белых в тех исторических условиях был неизбежен. *Прим. А. Г.*

который надо было умеючи направлять, использовать и давать дорогу и уж, конечно, не направлять его против себя.

А получилось так. Способный мальчик пришел сдавать экзамены в реальное училище г. Ногайска (ныне Приморска, расположенного в семи километрах от родной деревни). Далось ему это непросто, так как бабка, вопреки желанию еще не пришедшего с войны отца, оказала бешеное сопротивление, которое преодолеть удалось только с помощью о. Владимира Донского. Юноша сделал все возможное, чтобы выглядеть соответственно случаю. «Идя в училище, — вспоминает он, — я оделся по-праздничному: хорошо выстиранные и аккуратнo залатанные штаны и рубашка, подпоясан специально сшитым матерчатым пояском на пуговке, голова стрижена под машинку, босые ноги чисто вымыты». Между тем, остальные кандидаты были одеты или в форменную одежду реалистов, либо в нечто с нею сходное. Все это смущало будущего генерала и заставляло прятаться за спины будущих товарищей (относившихся к нему насмешливо и в свою среду пока не принимавших). То, что произошло дальше, мне кажется невероятным. Однако это — было. Юношу обнаружил директор.

«— Молодой человек! А вы зачем сюда пожаловали?

— На э-к-з-а-м-е-н, — проблеял я.

— На экзамен надо одеться приличнее! Ну что это? — потряс он меня за тряпичный пояс. — Нужен ремень. Если и не форменный, то, во всяком случае, кожаный и широкий. И ботинки нужны. Босиком только стадо пасти можно. Вот так! Идите! Оденьтесь, как положено, и тогда приходите!».

Вот так для него произошла встреча двух миров. Мира рвущихся к культуре и как бы окопавшихся в нем. Разумеется, человека, так встретившего сына народа на пороге знания, всерьез считать русским интеллигентом нельзя. Русский интеллигент, при всех грехах этой формации, такого отношения бы себе не позволил. Но интелли-

гентными профессиями всегда занимались не только интеллигентные люди. Да и вряд ли тогда еще дифференцировались в сознании Петра Григорьевича понятия интеллигент и чиновник. Но представителем старого мира этот директор для него был. И, к сожалению, не только для него. Впрочем, именно для него дело кончилось сравнительно благополучно. Он сумел одолжить у знакомых требовавшуюся одежду и на следующий день блестяще выдержал экзамен. Но в том, что он так легко отдался большевизму, заслуга вышеназначенного директора есть. На горе им обоим и многим другим.

Или вот такой факт. «Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы (автор и его друг Семен, сын о. Владимира Донского — Н. К.) никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили — все пошли к собору встречать дроздовцев». Друг побежал встречать брата, но Григоренко его примеру не последовал, «хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал», — добавляет он. Очень важное объяснение, особенно, если принять во внимание то, что произошло дальше. Неподалеку от училища, у здания бывшей городской управы, нынче совета, толпился народ, родные членов совета. Сами же члены «все до единого собрались в зале заседаний, чтобы передать управление городом в руки военных властей». «Городской совет Ногайска», — объясняет автор, — «как и большинство советов первого избрания, был образован из числа наиболее уважаемых, интеллигентных, преимущественно зажиточных, а в селах хозяйственных людей». Для них важнее всего был твердый порядок, а потому они не хотели оставить город без власти даже на короткое время. Им говорили: «Офицерье вас перестреляет». На что им отвечали: «За что? Ведь мы же власть не захватывали. Нас народ попросил. Офицеры — интеллигентные люди. Ну, в тюрьме подержат для острстки несколько дней. А расстрелять...». Однако, как только появились дроздовцы, группа офицеров направилась к совету, и конвой начал тут же выводить арестованных его членов

(два фронтовика пытались убежать, но были убиты). И через короткое время погнали их к подорожной деревне Денисовка. Скоро оттуда донеслись выстрелы, а потом оттуда прискакал офицер и прокричал: «Где здесь родственники советских прислужников? Можете их забрать». Все было кончено и проделано на глазах у людей. Спасся только один, учитель, бывший фронтовой офицер. Но и он тут же был расстрелян, когда, надев форму и четыре «Георгия», явился в комендатуру — обжаловать беззаконный террор. Хоть семья у него в ногах валялась, умоляла не ходить. Но он не мог. Тогда еще было много таких людей. Теперь они почти вывелись.

Когда-то, еще в 1974 году, только попав за границу, я с интересом прочел рецензию на только что вышедшую тогда, по-видимому, очень интересную и важную книгу «Дроздовцы». Рецензия эту книгу оценивала довольно высоко, но отмечала в ней один недостаток—упоминание о фактах, подобных вышеописанному. «Это не на пользу Белому делу», — не видя в этом ничего странного, объяснял свою позицию рецензент.

Меня тогда поразила эта соцреалистическая логика в устах врага советской власти. Теперь я, конечно, понимаю, что сходство это чисто внешнее. Слишком часто такие факты использовались для очернения всего Белого дела, суть которого отнюдь не определялась такими фактами и победа которого, несмотря на них, была бы спасением для России и ее населения. Но это не значит, что надо болезненно реагировать на упоминание об этих фактах вообще. Все-таки не на пользу Белому делу пошли сами факты, а не упоминание о них спустя 54 года после того, как белые проиграли. Среди расстрелянных членов Ногайского Совета большевиков не было совсем или почти совсем. А сам этот расстрел толкнул к большевикам многих. «Меня огнем пронзила мысль, — продолжает рассказ П. Г. Григоренко, — дядя же Александр председатель Борисовского совета! Значит, его тоже могут расстрелять!». После чего он со всех

ног бросился бежать домой, благодаря чему «никого из Борисовских советчиков дроздовцам захватить не удалось. Были предупреждены и соседние села. Все отсиделись в камышах». Это ведь не от красных, от белых они там отсиживались, то есть от людей, пришедших наводить порядок, от людей, которые могли бы их спасти от многого, что с ними случилось потом. Естественно, особо теплых чувств эти крестьяне — те, кто прятался, и те, кто их скрывал от неправедной расправы, — к белым питать не могли. И не питали. Это подтверждается и моим личным опытом. Мне приходилось в разное время жить в разных местах по пути отступления армии Колчака, и везде слово «колчаки» в устах простых людей — к тому же переживших все прелести коллективизации и индустриализации — было ругательством. На странность этого факта обращает внимание и сам П. Г. Григоренко, говоря о том, что белые у них в селе никого не убили, а красные — семерых ни в чем не повинных крестьян и, тем не менее, и он, и многие другие ненавидели белых, а не красных. Прегрешения красных как бы забывались. Белым же ставилось каждое лыко в строку. В конце концов, все белые бесчинства были не более чем эксцессами, естественными в гражданской войне, а у красных кроме таких эксцессов, которых тоже хватало, был целенаправленный, холодно рассчитанный (по соседству в деревне, ранее восставшей против белых, был потом красными расстрелян каждый второй мужчина — по мнению Григоренко, хорошо понимавшего логику большевизма, на том основании, что восставший против белых, может восстать и против красных), ужасающий (и применяемый для того, чтобы ужасать!), беспощадный, систематический террор, террор, не обошедший ни одного из слоев населения. И тем не менее... В другом месте Григоренко говорит, что, превратив террор в индустрию, красные и относились к нему профессионально. Никого не расстреливали просто так, на улице или на глазах у всех отведя за город. Расстреливали в подвалах, в укромных местах, заглушая выстрелы

ревом моторов, действуя на воображение таинственностью и необъяснимостью своих действий, а не обнажая их живыми картинами в духе вышеописанной, смысл которой нагляден и понятен всем. И который вполне сумеет использовать советская пропаганда, уже тогда творившая тот порядок вещей, о котором шла речь выше. И не пошло ли ей на пользу зверское убийство зажиточной еврейской семьи, предпринятое группой офицеров для устранения свидетелей грабежа, леденящие подробности которого до сих пор еще волнуют автора мемуаров. Уцелел только один член этой семьи — внук, которого в последний момент прикрыла своим телом бабушка. Топор только скользнул по черепу, оставив глубокий шрам, в то время как бабке и деду топором раскроили черепа. Конечно, во время гражданской войны такие эксцессы встречались сплошь и рядом, но ведь в данном случае в нем участвовали офицеры, то есть люди, вставшие на защиту порядка. Дед и впустил их в дом потому, что они назвались представителями комендатуры. Кстати, потом они с помощью комендатуры и от ее имени пытались добыть из больницы уцелевшего свидетеля этих подвигов — да доктор спрятал его. И разве удивительно, что потом автор встретил его в облике секретаря уездного комитета комсомола, когда сам пришел вступать в эту организацию. Думаю, что обоих в значительной степени толкнуло на это соприкосновение с дроздовцами в Ногайске. И такие близкие им по духу люди, как директор училища, так мало интересовавшийся той энергией, которая таилась в глубинах народа и требовала правильного использования, а не отправки назад — пасти коров. Повторяю, не свожу к ним Белое дело. Не считаю, что именно они определяют его состав и суть. Но они помогли советской пропаганде создать ложный образ этого дела и в значительной мере предопределили его проигрыш. В результате чего Петру Григорьевичу пришлось в конце жизни пересматривать весь свой путь и каяться в нем, а секретарь укома Голдин настолько серьезно воспринял идеологию большевизма, что

остался ортодоксальным большевиком, когда порядок вещей стал требовать от желающих оставаться в партии большевизма более диалектического, то есть примкнул к троцкистам. И, по-видимому, потом разделил судьбу почти всех, кто отнес сам себя или был отнесен другими к этой категории. В конечном счете, от проигрыша Белого дела не выиграл никто: ни те, кто его защищал, ни те, кто ему изменил, ни те, кого оно само толкнуло в лагерь победителей, ни отчасти сами победители — особенно, если они были честными хотя бы по отношению к своему делу.

Правда, перед Петром Григорьевичем этот выбор не стоял. Вступать в новую жизнь он начал, когда Белое дело было уже проиграно, когда новый строй открывал перед ним блестящие перспективы, путь к знаниям был открыт, теперь никто бы уже не посмел намекнуть ему, что его дело не учиться, а пасти коров. (Кстати говоря, и пасти коров надо уметь, не все умеют, и это вовсе не знак человеческой никчемности.) Когда при его вступлении в профтехшколу с ним попытались сделать нечто подобное (правда, не за то, что мужик, а за то, что комсомолец), то он знал, даже слишком хорошо знал, что у него есть защита. Это даже привело его к одному из немногих в жизни сомнительных поступков: «...Я написал в уком комсомола письмо о том, что в Молокановке создана не профтехшкола, а гнездо контрреволюционной белогвардейщины». «К счастью, — добавляет Григоренко, — в то время «бдительность» еще не достигла той степени, что в 30-х годах, и мое заявление не имело трагических последствий». А могло бы иметь. В оправдание ему можно привести юношескую неопытность и то, что с ним самим поступили кричаще несправедливо. Он был хорошо подготовлен, и все экзаменационные задачи, в которых не было для него ничего нового, решил правильно. (Он запомнил и задачи, и решение, и правильность последнего возмущенно подтвердил тот, кто его готовил к экзамену, — талантливый педагог, бывший преподаватель мате-

матики одной из лучших московских гимназий, которого на Юг погнала угроза голодной смерти.) Тем не менее, ему в глаза соврали, что решение ошибочно, но работу показать отказались. Совсем как на нынешних приемных экзаменах в советский вуз: когда дано указание кого-либо «зарезать».

Конечно, людей, боявшихся иметь у себя комсомольца, можно понять, но подлог есть подлог. Такие вещи только углубляли трагическую неразбериху и взаимонепонимание. И еще больше увеличивало кредит советской власти в глазах такой, рвущейся к большой жизни талантливой молодежи. По молодости лет он не обратил особого внимания на уничтожение партийных оппозиций, более того, они были подкопом под подлинность идеологической сущности строя, открывавшего такие перспективы перед ним, и он, наверное, инстинктивно отталкивался от всего, что они говорили. Сейчас он, как и многие другие, отказался от этой идеологии полностью — в любом ее виде, но это уже другая степень. До нее ему, как и многим другим, пришлось пройти и через «подлинный ленинизм», то есть через то, что противопоставляла сталинскому духовному и идейному небытию оппозиция. Отступление в этот «ленинизм» — это отступление к начальному соблазну и греху из порожденных ими духовного небытия и протрации, но боюсь, что без этого отступления понять сущность такого греха трудно: что вообще можно понять, находясь в протрации? Тогда это казалось не протрацией или потерей идеологии, а наоборот, жизнью и продолжением ее. К сожалению, не только для таких, как П. Г. Григоренко, который и мыслить всерьез критически начал около тридцати, а и для многих людей иных возрастов, политической подготовки и социального происхождения. Но это уже хоть и близкая к нашей, но иная тема.

Информатор польской дефензивы (все-таки вряд ли советский НКВД — он, скорее, подправил что-то в конце) безусловно прав, рекомендуя П. Г. Григоренко «представителем так называемого сталин-

ского поколения». Но сталинское поколение составляли люди совершенно разные. Большинство из тех, кого относят к этому поколению или, точнее, с кем связывают представление об этом поколении, так или иначе связаны с представлением о порождении культурной революции и чисток 37-го года. П. Г. Григоренко ни к тем, ни к другим не относится. Вехи его биографии и роста только внешне совпадают с вехами биографии таких людей. Он тоже происходит из низов, тоже неоднократно посылался по партийной мобилизации, каждый раз почти против воли, скачкообразно перебрасывался с уровня на уровень без ликвидации пробелов, то есть из него тоже готовили «кадру», облаченную больше доверием, чем знаниями или ответственностью. Дело не только в том, что Петр Григорьевич таким не стал, — дело в том, что у него не было и предпосылок таким стать. Хотя бы потому, что учиться он хотел и всегда учился, как только выпадала возможность, что к жизни и деятельности его тянуло и до того, как навстречу этим желаниям пошла партия. Короче, он был одним из тех представителей народа, который действительно хотел подняться и поднимался, которых накопилось довольно много перед революцией, а не представителем тех, кого партия поднимала к свету знания за уши, чтобы иметь своих «специалистов». Именно поэтому П. Г. Григоренко и такие, как он, проявляли иногда героические усилия, ликвидируя пробелы самостоятельно, но получали полноценное образование. Само по себе это тоже не панацея. Старательно вместе с П. Г. Григоренко учился и Николай Леличенко, в конце 50-х годов один из украинских министров, который при встрече стал доказывать, что один из общих товарищей по учебе, арестованный в 37-м году как «враг народа», действительно этим врагом был. «И я подумал», — говорит автор, — «что, видимо, сам он приложил руку к его (товарища — Н. К.) гибели». Не о всяком ведь так подумаешь.

Далеко не всякое приобщение к знаниям, к профессии бывает приобщением к культуре. Мимоходом, кстати говоря, Григоренко

отмечает, что в той массе «оргнабора» (то есть насильственно мобилизованных на культурный фронт), которая училась плохо или вовсе не училась, почти никто в годы чисток не пострадал. Когда интеллигентного юношу, попавшего в институт не по набору, а по конкурсу, спросили, что после института будет с выдвиженцем, к которому он был прикреплен для «подтягивания» в порядке комсомольской нагрузки, но который упорно «подтягиваться» не желал — только требовал, чтобы прикрепленный решал за него задачи, умудренный опытом многих, интеллигентный юноша не задумываясь, ответил: «Он будет моим начальником». И как в воду глядел. Стал. Буквально. Конечно, так получилось не только в этом случае. Не знаю, как себе представляли последствия таких оргнаборов те, кто их придумал, но они, вынужденные защищать свое место в жизни, должны были овладеть самой жизнью, довести ее нормы до своего уровня. И от них одинаково солоно приходилось не только старым «гнилым» интеллигентам, но и многим новым — таким, как П. Г. Григоренко. В сущности, этих выдвиженцев выводили как гомункулов, но только не из неживой материи, а из живых людей, и они-то и составили основной костяк сталинщины. Над ними смеются, но за глаза — в глаза попробуй. Они упрямо, глупо, нелепо, но успешно навязывают свой уровень и язык своих противоестественных представлений всем внутри страны (в том числе и тем, кто над ними смеется), мировому коммунистическому движению (это не моя забота, но отметить надо), мировой дипломатии, вынужденной считаться с их языком, да и вообще всему миру, вынужденному осмысливать их как реальность. При Сталине они обходились без самосознания, главная их добродетель перед людьми и «Богом» была в том, что они были верны «Ему», а он уж знал, кто они и для чего. Но после Сталина они предпринимают иногда попытки самосознания и определения собственного идеала, идеала людей, облеченных чем-то неизвестно из чего и неизвестно для чего. Особенно это ярко проявилось в рома-

нах В. Кочетова «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома». Гомункулус заявил о себе. Картина мира с точки зрения интересов бездарного человека, имеющего право на несоответствие занимаемой должности. То, над чем все остальные смеялись, что всем отвратительно (безличность, подхалимаж, прислужничество), в этих произведениях отнюдь не скрывалось, а поднималось на высоту идеала. Но это, так сказать, касалось вынужденных героев. А вот что орал открыто, на официальном заседании Центральной Контрольной комиссии КПСС не вымышленный герой, а зампредседателя этой комиссии — старый сталинский функционер Сердюк: «Оклады его высокие не устраивают, видите ли... Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о моем высоком окладе думал, когда говорил об этом... — Нажал он на слове моем. — Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты же не о своей сменяемости думал. Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтобы тебя сменили. Ты хочешь, чтобы меня сменили... Развел такую демагогию и еще имеешь нахальство жаловаться...».

Эта речь — реакция на выступление Григоренко на Фрунзенском райпартактиве г. Москвы, где он настаивал на соблюдении «ленинских принципов», то есть на сменяемости функционеров и ограничении их окладов зарплатой среднего рабочего. Тогда еще Петр Григорьевич ощущал себя коммунистом и видел в соблюдении этих утопических принципов спасение от всех бед. Но речь сейчас не об эволюции его взглядов, а о прямом самовыражении гомункулуса, о прямом выражении им своей, как говорят марксисты, «классовой позиции», в том числе классовой ненависти выдвигенцев, ни на что, кроме как на принадлежность к правящей мафии не способных, к специалистам, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, и которых необходимо держать в руках, и именно потому, что они-то без «нас» обойтись вполне могут... Это искусственно выве-

денная порода, роботы, восставшие против своих творцов. А одним из их творцов был и сам Петр Григорьевич, когда по воле партии тащил их за уши к получению дипломов, к уравнению их в правах с теми, кто может и хочет знать, с такими, как он сам, и теми, у кого он учился и хотел учиться. Сегодня эти роботы постепенно сходят со сцены, но они очень заботятся о том, чтобы ничем полноценным их заменить нельзя было — причем в одной из самых умных, образованных и квалифицированных стран мира. Впрочем, о том, кто придет им на смену, пока еще можно только гадать, но людям, долгие годы вынужденным приспосабливаться к их ирреальности и скрывать от них творческий огонь, очень трудно будет сохранить его и донести его до момента, когда его можно будет применить. Но будущее — это иная тема. На сегодняшний день реальными победителями революции остаются гомункулусы. Видимо, к этомушло с самого начала. Но вовсе не было очевидно. В событиях участвовали не только кандидаты на высокое звание. Даже в высшем слое, даже сегодня ими являются далеко не все (но все должны приспособляться к ним, то есть делать то, что отказался делать наш автор). А на первых порах негомункулусов было гораздо больше, ведь самый тип выработался и утвердился намного позже. И очень интересно, как именно они контактировали с той бесчеловечной стихией, которая их влекла (хотя таковой в их глазах не выглядела), и с бесчеловечной идеологией, в которую верили. Как уже упоминалось, информатор дефензивы характеризовал П. Г. Григоренко как человека, нетерпимого к антисоветским взглядам и разговорам, но мимоходом сообщает: «доносов не пишет».

Позволительно было бы спросить: «А почему?». Ведь предан же делу, ведь столько есть врагов у советской власти, ведь жестокая схватка и капиталистическое окружение, ведь долг коммуниста прямо обязывает, ну не доносить, конечно, но сигнализировать компетентным товарищам по партии (которой он предан не

за страх, а за совесть!) о нездоровых настроениях и их носителях. А вот поди ж ты... И ведь не только не доносит, а когда его товарищ Гриша Балашов, такой же верующий комсомолец, как и он сам, решает сознаться, что он сын попа (в первые годы советской власти, до середины тридцатых годов, это было большой компрометацией), он не только сам не доносит, но даже уговаривает Гришу не делать этой глупости, понимает, что она может погубить хорошего человека. «Не знаю почему, но я считал этот обман вполне оправданным», — говорит он о тогдашнем себе. Очень многие, верующие коммунисты (и нацисты тоже) считали свои жестокие принципы верными во всех случаях, кроме тех, когда они касались людей знакомых и понятных им. Это никак не заставляло их отказываться от этих принципов. Впрочем, это касалось вещей и гораздо более глубоких, и основополагающих. И столкнулся с ними П. Г. Григоренко гораздо ранее, в самом начале своего комсомольства.

Один из двух присланных в их деревню для организации ячейки комсомольцев, Иван Мерзликин, был случайно ранен во время любительского спектакля, когда исполнял роль расстреливаемого комиссара. Все, в том числе и автор мемуаров, очень удивлялись, каким образом пых смог пробить полушубок. Удивлялся и будущий генерал. Но Ваня вопреки очевидности доказывал, что пых и не пробивал никакого полушубка, ибо полушубок был распахнут. В доказательство он демонстрировал целехонький полушубок. Но юный Григоренко, перед спектаклем застегивавший ему этот полушубок, обнаружил, что полушубок подменен. Мерзликину пришлось раскрыться: «Про пых это я придумал. Уговорил Грибанова (доктора — *Н. К.*) поддержать мою версию. С полушубком она не получается, вот я и подменил его. Для чего я это делаю? Я догадываюсь, как это произошло. Тут никто не виноват. Но если дело попадет в Чека, то не одна голова полетит... Я немного служил в Чека, и теперь врагу не пожелаю туда попасть». Несколько странно звучит

в устах сторонника диктатуры такая характеристика главного ее органа. Но дальше — больше: «Теперь учти, кроме меня правду знают только Грибанов и ты. Грибанов не скажет, так как его за «пыж» запросто к стенке поставят. Я тем более не скажу, так как мне сразу припаяют «покровительство бандитам». Значит жизнь моя, Грибанова, всех братьев Яковенко (один из них был хозяином дробовика, другой из него стрелял по ходу спектакля) и еще, может, кого-то зависит от тебя одного». В связи с этим Мерзликин просит Григоренко помочь ему уничтожить улику, т. е. картечину. «Пойдешь домой — выброси в речку. Я хотел сохранить на память, да боюсь, найдут. Уже сегодня был чекист. Но он шлапак: поверил Грибанову и мне. Но там не все такие. Найдется кто-нибудь, кто начнет копать. Поэтому от греха подальше». В заключение автор говорит: «Я выполнил его просьбу». И даже более того: «Замечание насчет Чека запало мне в душу на всю жизнь. Может, этим объясняется, что я никогда ни на кого не донес в ЧК и в душе подвергал сомнению распространяемые советской пропагандой страшные истории о «врагах народа» и рассказы о «подвигах» чекистов. При той восторженности, с какой я воспринимал все советское, я без Мерзликина мог натворить много такого, за что потом было бы стыдно и больно».

Честно говоря, я не очень верю, что Петр Григорьевич при любой восторженности мог бы натворить «много такого». Ведь для этого мало оступиться, надо долго жить определенным образом, противоречащим его натуре и воспитанию, а этого он не мог бы. И ведь чувствовал в нем нечто надежное тот же Ваня Мерзликин, когда доверял безусому юнцу столь ответственную тайну. Но все же наверняка кое от чего Ваня Мерзликин его уберег. Но этот конспиративный разговор и сговор двух сторонников диктатуры, стремящихся скрыть следы никогда не существовавшего преступления в боязни, что начнут копать и тогда выкопают — то, чего не было, эта твердая убежденность, что родным компетентным органам ничего доказать нельзя, что они

человеческому языку не доверяют — даже тогда, когда он исходит из уст доверенных людей при готовности и дальше вполне честно идти с этими органами в одном строю к тем же сияющим вершинам, — вещь весьма знаменательная. Нет, это не сталинские гомункулусы, это люди, в значительной степени сами выбирающие себе дорогу, но уже ставшие на нее, уже обложенные тем, что большевики называют дисциплиной, уже подвергнутые постановлению о запрещении фракций, уже обязанные не считаться с велениями собственной совести (совестью их тоже в централизованном порядке должна распорядиться «партия», то есть партократия, и совесть разрешенная — это только полная разоруженность перед ней). Конечно, времена еще сравнительно вегетарианские, еще в центрах человек с достаточным партийным весом может и вырвать кого-либо из лап ЧК, еще анфан террибль партии Рязанов, несмотря на свое пошатнувшееся положение, может, будучи вызван в ЧК на допрос для опознания какого-либо соглашателя, начать путать карты и опознать его только после прямо выраженной просьбы опознаваемого, которому зачем-то это нужно («Память», № 3), но в глубинке на это шансов меньше, и вообще официально ЧК — вещь духовно высокая, карающий меч революции, и в это надлежит верить. И все движется к тому, что исчезнет всякий вопрос о вере, о самостоятельной ответственности (прямо перед начальством и в тех терминах, которые оно употребит), и наилучшими людьми станут те, для которых это естественно, то есть гомункулусы. Но никогда, нигде, ни на каком уровне не будет так, чтобы были одни гомункулусы. И человеческое как-то будет проявляться. И все-таки люди будут доверять друг другу. Даже в очень серьезном.

П. Г. Григоренко винит себя в том, что он был не в состоянии понять, что делают и что собираются сделать с крестьянством, что понравившиеся ему и успокоившие его статьи Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» на самом деле были маневром для того, чтобы сбить с толку серьезное сопротивление

ние крестьянства и выиграть время для подготовки страшнейшего преступления против него — организации искусственного голода. Еще бы! Ведь он сам слышал речь тогдашнего секретаря компартии Украины Косиора на собрании тех, кто должен был выезжать в качестве уполномоченных ЦК КП(б) Украины на уборку урожая. Речь эта очень важна, это одно из немногих прямых доказательств, что страшный голод начала тридцатых годов был организован умышленно, и ее пересказ я повторяю полностью. Вот она: «Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить советскую власть. Но он просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Речь эта произвела очень тяжелое впечатление на Петра Григорьевича. Он знал, что никаких ям нет и в помине, что были они только до нэпа и понял довольно четко, что просто Косиор сознательно решил организовать на Украине искусственный голод — что он почти прямо и высказал. (Понять, что дело тут не только в Косиоре, Петр Григорьевич еще и не мог, не решился.) Поразительно то, что он своего отношения к речи Косиора (как-никак секретарь ЦК Украины, член Политбюро большого ЦК!) в своей среде не скрывал. И секретарь институтского партбюро Топчиев с ним не спорил, но как человек более взрослый, отговаривал его только писать жалобы Сталину на Косиора. Советовал пока подождать. А ведь практически обязан был квалифицировать настроения П. Г. Григоренко как кулацкие и антипартийные — особенно в момент обострения классовой борьбы. И поступить соответствующим образом. Ан нет. Не поступил. И человек был, видимо, другой, и обстановка, види-

мо, была еще далеко не та, что потом. Из того, что народ был лишен всяких прав и всякого голоса с первых дней советской власти, и потом все изменения практически касались только изменений внутри партии, никак нельзя делать вывод, что эти изменения не имеют значения. Сокращение демократии внутри партии — а этот процесс шел все время и довольно быстро — означало, что демократия сокращалась и в партии, что везде, любая — даже искривленная, партийная — жизнь сходила на нет, и в стране не оставалось никого и ничего, кто мог бы хоть в мизере возразить верховной власти, означало все большую замену на всех уровнях великих грешников теми, кто сам себя называл номенклатурой, то есть теми, кого вытаскивали и вытащили за ушко в руководители всех сторон жизни, в создание обстановки, где на руководящих уровнях просто гордились, что за них думает Сталин, и где высшей доблестью и удачей считалось правильно угадать его верховную волю. На таких основах уже не поговоришь. Конечно, и там оставались люди, которым было что сказать друг другу, да и появлялись новые (жизнь-то шла!), но равняться приходилось на других, «нетипичных», но почему-то все решающих. Да и очень редко — на партийном уровне. На профессиональном — чаще. Вспомним описанную Григоренко реакцию армии на то, как проходило — на уровне грамотности Буденного — присвоение новых (вернее, старых, дореволюционных) званий комсоставу. Или разговор Новобранца с Рыбалко в Генштабе по поводу разведсводки № 8, разговор, требовавший высочайшего доверия друг к другу: узнай кто-нибудь, конец бы не только Новобранцу (он и так избежал его случайно), но и Рыбалко тоже — за соучастие. Но за выражение недовольства порядком переаттестации потом сажали, а разговор двух военных с самого начала был строго секретный, чуть ли не заговорщицкий. То, что при этом был заговор не против интересов власти, а за них и что из-за этого один его участник шел на верную смерть, а другой — на смертельный риск, в этом

дух сталинщины. А ведь разговор с Топчиевым был просто разговором, хоть был он прямо политическим и касался линии руководства. Ибо все-таки у обоих была инерция ощущения членом партии, а не просто людей, допущенных к ней для получения благ и чинов. Другая атмосфера в отношениях не то что была, но еще была возможна в отношениях между людьми. Хоть это уже был анахронизм (или атавизм). Хоть в каком-то смысле это были самые преступные годы советской власти, последствия их на отношениях внутри партии сказались несколько позже — во время и после чисток.

Этот инструктаж Косиора сблизил П. Г. Григоренко еще с одним человеком, чрезвычайно интересным для понимания общей обстановки и реальной истории, заворгом комитета комсомола, бывшим троцкистом Яшей Злочевским. В самиздатской публицистике утвердилось мнение о троцкистах, как об исчадиях зла, главном источнике бед, людях в лучшем случае из романтических соображений ненавидящих народ и крестьян. Я отнюдь не собираюсь защищать троцкизм, ибо считаю его догматическим большевизмом, грешным всем, чем грешен большевизм, и ответственным за все, что творил большевизм, пока включал в себя и его. Его идеологию и проповедь я считаю опасным и бесчеловечным делом — разумеется, не более бесчеловечным и страшным, чем то, что творил (то, что он говорил, не имеет значения) Сталин, но к тому ведущий, к нему приведший. Но молодежь к нему влекли не его бесчеловечная суть (ее хватало и в «генеральной линии»), а некий вид идеологической цельности, протест против бессмысленной беспринципности, нежелание повторять абракадабру. Толкало их безусловно не в ту сторону — не к отказу от коммунизма, а к его углублению, очищению. Но я ведь не троцкизм защищаю, а людей, которые заблуждались далеко не всегда из низменных побуждений. И воюю против схемы, позволяющей отвлечься от стыда сталинского небытия. Отвлекаться от этого не надо, это надо преодолеть — в некоторой степени и в самих

себе, главное — в самой нашей жизни. Ведь и троцкизм, и ленинизм во многих преодолены, а сталинщина — не всегда, слишком разрушительные последствия она оставляет после себя.

Во всяком случае, бывшего троцкиста Яшу Злочевского с крестьянским сыном Петром Григоренко, и до этого симпатизировавших друг другу, окончательно сблизило их отношение к вышеупомянутому инструктажу. Оказалось, что они одинаково расценили его — как указание об организации голода. Только Яша Злочевский, он был старше на три года, понимал это отчетливей — в том смысле, что Косиор знал, что делал, и что он не один это выдумал. «Не он один. Все они растленные типы. Для них человек — ничто. Власть им нужна любой ценой. Ради нее они никого не пожалеют, даже друг друга», — он говорил, как рубил... Под словами этими может подписаться любой из нас сегодня. Но может быть, дело тут в троцкистской озлобленности — все же оттеснили, оболгали, используя методы, которые, впрочем, Троцкий считал вполне нормальными, но только вне партии, а не внутри ее. Собственно, этот вопрос — правда, в другой форме — и задает ему его более молодой собеседник. Вот он: «Яша! А как у тебя с троцкистским прошлым? Что, твой отказ от троцкизма — тактика или действительный отход?». Выслушаем ответ. Он очень важен: «Видишь ли, я вообще ничего не могу делать неискренне. В троцкизме я действительно разочаровался и никогда к нему не вернусь не только организационно, но идейно. В главном троцкизм не отличается от ленинизма, а, следовательно, от теперешней идеологии и тактики партии. Но у троцкистов я многому научился. Анализ бюрократизма и диктатуры партийного аппарата троцкисты сделали классически». А дальше, немного непоследовательно идет программа жизни, принятая несколькими поколениями советской интеллигенции, теми ее представителями, которые безуспешно старались сводить концы с концами и оставаться честными: «Благодаря этому (анализу — *Н. К.*) я, идя с пар-

тией, придерживаясь ее идеологии, стратегии и тактики, вижу те извращения, которые на них накладывает советский бюрократический и партийный аппарат, особенно борьба за местечки. Делай все честно, в меру своих сил препятствуй аппаратчикам, бюрократам душить партию и народ, но не лезь со своими жалобами в верха».

Нет сомнения, что Николай Леличенко был искренен, когда убеждал своего бывшего однокашника, что Злочевский — в отличие от других «жертв культа личности» — и на самом деле был «врагом народа». Вероятно, он услышал от Яши нечто такое, что ему показалось невероятным. И тем более страшным, что было проаргументировано и не могло сойти за «обывательские разговорчики». Логика таких людей — когда речь идет о том, за что они держатся, — не убеждает, а только пугает и раздражает. Николай Леличенко (в отличие от большинства из «спецнабора») учился добросовестно и старательно, хотя учеба давалась ему трудно. И вполне возможно, он усвоил профессиональные знания, но мысль о том, что земная ответственность человека, особенно человека мыслящего, не может ограничиваться его ответственностью перед начальством, вероятно, не приходила ему в голову никогда. (И здесь он не отличается от тех, кто учился спустя рукава.) Этому ему негде было учиться. И практически не у кого. Даже те, идейные, которых потом с его помощью вытеснили из жизни, учили его не этому. У некоторых из них еще была, вероятно, развита потребность думать о вещах лично их не касавшихся и иметь свою точку зрения на вопросы, уже авторитетно обдуманые начальством, но от него ведь требовалось только классовое чутье, более того, к этому чутью апеллировали, его объявляли отправной точкой всякого грамотного мышления (а к грамоте он стремился; и что говорить, классовое чутье, в каком-то, правда, несколько трансформированном виде, у него развилось). К тому же те, кто его учили, и сами мало-помалу, ради единства партии или чего подобного, предавали свою способность самостоятельно

мыслить и отвечать. Конечно, это делалось для того, чтобы сохранить возможность участвовать «в общей работе», или как в Яшином случае, чтобы стараться на ходу выправлять ошибки руководства, иногда это, как мы видим, было и искренне, но со стороны слишком неотлично от желания сохранить за собой теплое место. И можно быть уверенным, что такой Николай Леличенко и не отличал этого. Тем более, что он не был и расположен к этому, ибо был не заинтересован. Конечно, всё это люди, и как все люди они отличались друг от друга (хотя выглядели и старались выглядеть одинаково), и в каждом внезапно могло проснуться что-то человеческое, но биография их к этому не располагала. Но все-таки я думаю, что никто не выиграл от того, что такие люди стали, выражаясь языком В. Чалидзе, «победителями коммунизма», думаю, что все даже еще больше проиграли от этого. Это было не смягчением, а бескрайним ужесточением того, что было до этого. Не говоря уже о том, что человек, самостоятельно пришедший к коммунизму, мог (и такое бывало) и раскаться в нем, а человеку, чувствующему ответственность только перед начальством, раскаиваться вроде бы и не в чем. А в чем оно состояло, не его ума и не его нравственной озабоченности дело. Парадокс состоит в том, что такое положение эти люди стараются сохранить и тогда, когда окруженное ореолом начальство исчезает и даже когда они сами (зная ведь все про себя) занимают его место. Такие люди сейчас и правят нашей страной и навязывают свой уровень всему миру. Это было бы очень смешно, если бы не было столь опасно. А тем более, были они опасны тогда. Разговор с одним из таких людей обошелся Петру Григорьевичу довольно дорого. Разговор этот произошел после того, как в штабе Дальневосточного фронта впервые стало известно о начале войны, то есть после речи Молотова 22 июня 1941 года (другой информации штаб не получил). До этого, знакомый с разведсводкой № 8, он считал, что командование знает о том, что война вот-вот начнется, и принимает меры

(он не мог тогда знать, что сводка разослана в прямое нарушение воли командования), и теперь, даже по речи Молотова, он понимал, что меры не приняты, что немцы застали нас врасплох и уничтожили советскую авиацию. «Вспомни, как начинали немцы в Польше, Франции, Норвегии», — объяснял он своему сослуживцу. — «Везде они (то есть немцы) начинают с удара по авиации и затем беспрепятственно громят наземные войска. Не надо быть очень мудрым, чтобы понять это и принять меры, чтобы отбить подобную попытку, если она будет предпринята противником. А наше Верховное Главнокомандование не позаботилось об этом, и вот вся наша Западная группировка военно-воздушных сил разгромлена». Человек, которому он это говорил, был, как и сам П. Г. Григоренко, выпускником Академии Генерального штаба, вроде специалист того же класса. Но о нем потом говорится: «Общекультурный уровень невысокий, ввиду чего и военные знания его были формальными, заученными». Естественно, что из этого следует «неспособность к анализу и к собственным выводам». В сущности, это характеристика целого слоя. И вообще, спрашивается — зачем набирать в Академию Генерального штаба людей без достаточного культурного уровня? Ведь это все-таки не курсы трактористов и шоферов и даже не среднее бронетанковое училище. Это ведь дело заведомо элитное, как раз и требующее общего кругозора. Но такие люди определяли многое. И свою неспособность к анализу кое-чем компенсировали. Вряд ли в другое время Петру Григорьевичу захотелось бы откровенничать с этим человеком, тем более, что сам он говорит о нем как о неинтересном собеседнике, но день уж был слишком нерядовой. Видимо, показалось, что начавшаяся трагедия сближает людей общей судьбой. Но человек, потерявший связь с самим собой (человек с самым высоким военным образованием, а в сущности и не знающий, что такое образованный человек), никакой связи с ним почувствовать не может. И «в час, когда над нашей Родиной нависла смертельная

опасность», он сделал то, что сделал бы в любой другой — написал донос на своего бывшего однокашника, что «усумнился» в мудрости Сталина. Сталин, правда, в разговоре даже не упоминался, но уж в этом деле полковник Андрей Алейников мыслить, по-видимому, умел хорошо. Так, что его, такие, как он, понимали. А получалось так, что их уровень был господствующим. И действовать против них можно было только подпольно. Так и действовал друг Петра Григорьевича, один из виднейших политработников Дальневосточного округа. Он передал через жену друга (они жили по соседству, чтобы тот зашел к нему ночью того дня, как поздно бы тот ни вернулся с работы, и сказал ему следующее: «Ну вот что! Запомни! Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, я тебе ничем помочь не смогу. В ответ на возражение Петра Григорьевича, что он имени Сталина не называл, друг сказал, что это неважно. «Мудрый у нас только один человек. Поэтому о мудрости в том тоне, о котором говорил Алейников, ты вообще не говорил... И запомни — речь идет не о партийном билете, а о твоей голове. Утром тебя пригласят в назначенную мной партийно-следственную комиссию. Не забудь, когда к ним придешь, что ты не знаешь, зачем тебя вызвали».

Вот сколько конспирации понадобилось. А в сущности человек только высказал профессиональное суждение о коллегах, о их просчете. И обошлось это дорого, хотя самое страшное удалось отвести. Отделался строгим выговором. «Меня мой разговор с Алейниковым преследовал очень долго <...>. Всю войну я прошел на генеральских (иногда полковничьих) должностях, но оставался подполковником. Только случайно, благодаря вмешательству Мехлиса, в конце войны (2 февраля 1945 года)... Этот разговор столкнул меня и с Брежневым в конце 1944 года (при попытке снять выговор, которой воспротивился Брежнев: „Неуважение к товарищу Сталину? Пусть поно-

сит!“). Его же мне напомнили, когда я в 1961 году выступил против Хрущева». Существенная деталь. На той парткомиссии в армии, где Брежнев так картинно выступил против снятия выговора Григоренко, стоял вопрос о снятии выговоров с двух других провинившихся. Один, заместитель комполка по тылу, которого должны были судить за крупные хищения, но благодаря заступничеству начальства ограничились строгим выговором с предупреждением (но без занесения в учетную карточку). Второй — командир полка связи, насилловавший подчиненных ему девушек-связисток (их ему приволакивали холуи-бугаи) — это называлось «использование служебного положения в целях принуждения подчиненных к сожительству». С обоих приговоры сняли без звука. В присутствии того человека, который 17 лет управлял Россией и влиял на судьбы всего мира, который специально пришел, чтобы не допустить снятия выговора с Григоренко. Это и есть моральный кодекс номенклатуры, управляющей нашей страной.

В этой книге, вероятно, нет ни одного послереволюционного эпизода, который не влек бы за собой необходимости пространных размышлений. Каждый эпизод — узел, в котором скрещиваются многие факторы, определившие судьбу нашей страны. Только такие эпизоды практически и отобраны автором, да и как-то служат они этому, хотя автор как будто писал только автобиографию. Но это биография человека, прошедшего большой и сложный путь, освещенная тем, к чему он пришел, и написанная с точки зрения тех истин, которые ему открылись. Это книга фактов и книга мысли. Эта книга будит мысли, и если все их выразить, получится книга, в несколько раз превосходящая авторскую. Не знаю, когда напишут такую книгу, но уверен, что книга генерала П. Г. Григоренко — важнейший источник для изучения истории советского общества. И что каждому, кто ею интересуется, следует эту книгу прочесть.

Микола Горбаль

Свой среди своих³⁵

В Украине никогда не прекращалось сопротивление по-рабощению. В самые тяжелые времена тоталитарной ночи то там, то тут появлялись нелегальные, подпольные группы, о чем подробнее вспоминал в своем докладе историк Анатолий Русначенко. К сожалению, коэффициент полезного действия таких формирований в годы брежневской стагнации был очень невысоким. Как правило, их выявляли и арестовывали еще до того, когда они успевали как-то структурно оформиться и заявить о себе каким-то действием. Был разве что один положительный показатель такого сопротивления: украинцев-политзаключенных в советских концлагерях всегда было больше всего, что давало почву для обнадеживающего — «Еще не умерла Украина!»³⁶.

Украинская Хельсинкская группа отличалась от всех предыдущих формирований своей легальностью, тем, что ее члены открыто заявили о себе и о своих претензиях к режиму. Многим тогда подобная деятельность казалась наивностью, романтизмом. Я знал людей старшего поколения, причастных к вооруженному сопротивлению,

³⁵ Выступление на Вторых Григоренковских чтениях, посвященных 25-летию основания Украинской Хельсинкской Группы. Чтения проходили 16 октября 2002 года в Нью-Йоркском научном обществе имени Тараса Шевченко. Перевод с украинского Андрея Григоренко.

³⁶ Начальные слова украинского гимна. *Прим. А. Г.*

которые лично мне говорили: «Этих бандитов стрелять надо, а вы им заявления и протесты пишете. Плевать они хотели на ваши заявления». Я согласен понять эмоциональный резон таких толкований, связанных с позитивистским мировоззренческим консерватизмом, но, к сожалению, не способным в то время увидеть перемены, происшедшие в соотношении мировых идеологических систем.

О создании Украинской Хельсинкской группы впервые я услышал, будучи в ссылке в Сибири после своего первого заключения. Был приятно поражен появлением в Украине новой формы оппозиции тоталитарному режиму.

Помню, как в концлагере на Урале инженер из Киева, Зиновий Антонок, арестованный при «жатве» 1972 года, пересказывал мне один циничный монолог своего следователя: «После этого десять лет будет спокойно». Кагебисты, очевидно, знали, что им вряд ли удастся убить национальную идею окончательно, но аресты (1972 года) должны были гарантировать им приглушение национального сопротивления хотя бы на 10 лет. И вот на тебе: не минуло и пяти лет, как появляется УХГ. Для нас, политзаключенных, это тоже была приятная неожиданность. Я же сразу для себя решил, что моё место после освобождения — среди этих людей.

Правозащитное движение поставило Систему перед фактом нарушения ею ее же собственных законов. Это можно было легко игнорировать внутри страны, но на уровне международных договоренностей это было гораздо затруднительней, и горстка отчаянных прекрасно поняла это. Мы прекрасно понимали, что нас ждет, но даже факт наших арестов был бы лучшим доказательством преступности советской системы. Кто-то должен был взять этот жребий на себя. («Если не я, то кто?»).

Украинская Хельсинкская группа внесла украинское национально-освободительное движение в общеевропейский контекст.

До этого всему свету представлялось, что существовал тоталитарный СССР (Раша), где Украину видели лишь как один из регионов. Теперь к Польской «Солидарности» и Чехословацкой «Хартии-77» добавилась украинская оппозиция в лице УХГ. Мы писали свои заявления, не скрывая своих имен, и потому нас знали поименно. Мы оказались солью в глазу империи, и она не могла нас терпеть.

Это и действительно была небольшая группа, как сказал Василь Стус, — «мало нас, маленькая щепотка». Когда я после освобождения приехал в Киев, глава Группы Мыкола Руденко был уже арестован. На суд Мыколы Матусевича и Мирослава Мариновича меня не пустили, но я все же был с ними.

В силу того, что после ссылки официально на меня не был наложен административный надзор, я спонтанно стал курьером Группы — туда что-то занести, там передать, отсюда взять информацию, и так далее. Самой главной функцией правозащитного движения, собственно, и был сбор сведений о нарушении прав человека и нации, равно как и старания сделать эту информацию доступной для народов и правительств, подписавших Хельсинские соглашения. И это окончательно изобличало фальшь и лживость советской системы перед мировым сообществом. При тотальной слежке КГБ не всегда было легко это делать, что зачастую требовало определенной конспирации. Большая часть информации из Украины в мир попадала через Москву, ведь там были иностранные представительства, корпункты и прочее. В этом процессе сложно переоценить роль члена УХГ генерала Петра Григоренко, который жил в Москве. Поскольку сегодняшняя наша встреча проходит под эгидой Григоренковских Чтений, позвольте мне немного детальнее остановиться на этом нашем соратнике в правозащите. Сначала расскажу, как я познакомился с этим чудным человеком, а потом и о том, как я оцениваю его вклад в нашу государственную независимость.

Мне не было в диковинку встречать национально сознательного галичанина, но меня всегда приятно удивляла и захватывала встреча с таким человеком с тотально денационализованного востока Украины. Для меня и по сей день остается тайной, как у простого парня с Донетчины Ивана Дзюбы возникла необходимость собрать обвинительный материал против Системы — «Интернационализм, или русификация?», где выразительно был поднят вопрос защиты интересов человека и нации, ставшего информационной бомбой для жаждущих правды в Украине и во всем остальном мире. А фигура Ивана Свитлычного (родился и вырос в восточной Луганщине)? Это из них формировалось все столичное (если не всеукраинское) шестидесятничество. А Васыль Стус из Донецка, а киевлянин Валерий Марченко?

В Московскую квартиру Григоренко я впервые заехал где-то в конце 1976 года, проездом из Сибирской ссылки в отпуск. Это было явным нарушением административного «маршрутного листа», которым отнюдь не было предусмотрено такое отклонение. Но я просто не мог отказать себе в удовольствии встретиться с этим удивительным человеком. Позвонил, что хочу встретиться. В ответ я услышал доброжелательное приглашение. Дверь открыл высокий, коренастый мужчина в гражданском и по-украински пригласил: «Заходите, заходите!». Это был Петро Григорович Григоренко. Говорили мы недолго, он должен был закончить неотложную работу: «Пишу предисловие к книге Мыколы Руденко «Экономические монологи». Чудеснейшая книга, полное опровержение марксистской идеологии», — эмоционально сказал генерал.

Потом еще с час со мной разговаривала его супруга Зинаида Михайловна. Даже годы не могли скрыть ее былой красоты. Она была внимательной и любознательной. Невзначай я узнал, что она — русская и что Петро Григоренко — второй ее супруг, первого в 30-х

расстреляли³⁷ как «врага народа». «Думала, спрячусь за широкие плечи генерала», — говорит Зинаида Михайловна, — «но и этот муж оказался правдолюбом». Эта деталь очень много дала мне для понимания феномена опального советского генерала. Не эта ли женщина посеяла в нем сомнения в непогрешимости Сталина и научила внимательнее приглядываться к «самому демократичному во всем мире обществу»? В советской армии служили десятки тысяч украинцев-офицеров, но много ли из этого количества пришло к осознанию преступности советской системы и сопротивлению ей? Не благодаря ли опыту жены, пережившей ужасы репрессий, Григоренко начал задумываться над смыслом жизни, задумываться о своем происхождении и о судьбе своего украинского народа? Мне неизвестно, чтобы Зинаида Михайловна когда-то упрекнула Петра Григоровича за его тягу к украинству. Их московская квартира всегда была открыта для всех гонимых и преследуемых тоталитарным режимом, а не только для украинцев.

Репрессированный народ — крымские татары считают генерала Григоренко не только своим защитником, но и национальным героем. Памятник Петру Григоренко в Симферополе, который они соорудили, страшно не нравится российским шовинистам. Украинской армии сегодня так не хватает генерала-патриота Петра Григоренко.

В этом году перед Днем Независимости я давал интервью радио «Свобода», где сказал, между прочим, что не имею ни малейшего желания идти смотреть на военный парад. Не верю я в патриотизм войска, которое говорит на языке колонизатора. Не верю в боеспособность войска, у которого нет четко разработанной военной доктрины, где было бы выразительно сказано, кто ее потен-

³⁷ Это неточность. Первый муж Зинаиды Григоренко — Виссарион Колоколкин, умер под пытками во Владивостоке, но первоначально власти объявили, что он расстрелян. *Прим. А. Г.*

циальный противник. Я же считаю, что российский империализм и по сей день остается наиболее опасным врагом Украинской государственности. Войско, умеющее только слаженно маршировать Крещатиком под хитроватую улыбку президента России Путина, который стоит на трибуне по правую руку Президента Украины, способно, мне кажется, только к слаженной капитуляции, нежели к отпору агрессору. Те ракеты, которые на учениях попадают то в свои дома, то в пассажирские самолеты, — лишь дополнительное подтверждение моего скепсиса.

Очень не хватает сегодня Украине генерала Григоренко.

Мне лишь остается снова поблагодарить судьбу за то, что свела меня с этим отважным человеком, с этим рьяным казакищем Петром Григоренко, что недрогнувшей рукой стал членом-основателем Украинской Хельсинкской группы и создавший и возглавивший ее Зарубежное представительство. Оказаться в таком знаменитом обществе я почитаю для себя за честь и ни в коем случае не хотел бы потерять такой счастливой возможности.

*Нью-Йорк
Октябрь, 2002 года*

Андрей Сахаров

Из воспоминаний

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»

Из отзывов из СССР мне запомнилось письмо П. Г. Григоренко («...дорога ложка к обеду», — писал он, давая очень высокую оценку роли статьи и ее основным концепциям).

Осенью 1976 года в Японии приземлился советский самолет МиГ-25 с летчиком-перебежчиком Беленко на борту. Беленко попросил политического убежища, однако не в Японии, а в США, и оно было ему немедленно предоставлено. Новейший советский сверхзвуковой самолет стал предметом изучения американских специалистов. Но в Москве в эти дни поползли настойчивые слухи, что Беленко на самом деле заслан с целью проникновения в тайны американской авиации и для дезинформации: его самолет якобы представляет собой «липу», умышленно ухудшенный вариант для усыпления бдительности. Очень возможно, что как раз эти слухи распространялись службой дезинформации КГБ, чтобы хоть как-то запутать американскую разведку.

Через две или три недели после Беленко произошел еще один перелет, менее эффектный и кончившийся совсем печально. Летчик Зосимов перелетел советско-

иранскую границу на легком военно-почтовом самолете и сдался иранским властям. В отличие от Миг-25, на котором летел Беленко, самолет Зосимова не являлся ни в коем случае чудом военной техники и не представлял ни для кого интереса. Зосимов тоже попросил политического убежища, но оно ему предоставлено не было.

Желая предотвратить выдачу Зосимова советским властям, П. Г. Григоренко и я обратились с просьбой об этом в международные организации по делам беженцев, к шаху Ирана и, кажется, к Генеральному секретарю ООН (психологически было правдоподобно, что Зосимову придется ответить сразу за двоих — и за себя, и за Беленко). Непосредственного результата эта просьба не имела — правительство Ирана передало СССР как самого Зосимова, так и тот советский самолет, на котором он совершил побег.

Об обмене и предстоящем вывозе из СССР Буковского мы узнали заранее, за несколько дней (через его мать). Несколько десятков московских инакомыслящих приехали в международный аэропорт Шереметьево, надеясь хотя бы издали увидеть Володю, поприветствовать его. Приехало много иностранных корреспондентов, как всегда — не меньше гебистов. П. Г. Григоренко и я дали инкорам, окружившим нас кольцом, импровизированные интервью, выразили надежду, что гуманный акт обмена не будет единичным, что последуют освобождения других узников совести и что рано или поздно будет осуществлена всеобщая амнистия. Мы оба сказали, что особо срочным является освобождение политзаключенных-женщин, а также больных, назвали много имен. (Во время интервью гебисты стояли чуть поодаль, образуя второе, внешнее кольцо вокруг корреспондентов и диссидентов.)

В конце ноября 1977 года из СССР в США выехал для операции и лечения Петр Григорьевич Григоренко, человек удивительной

судьбы, сделавший чрезвычайно много для защиты прав человека в СССР и много пострадавший от репрессий властей.

В США в это время уже жил сын Петра Григорьевича Андрей. Поездка была разрешена также жене Григоренко Зинаиде Михайловне, матери Андрея, и другому (больному) сыну. Конечно, при этом возникали сильные опасения, что власти не пустят семью Григоренко обратно (я сказал П. Г., что надо либо считаться с этой реальностью, либо ехать ему одному; он ответил, что мать не может отказаться от того, чтобы увидеть сына; это, конечно, было правильно). Григоренки все же надеялись вернуться, но эти надежды не оправдались: в начале 1978 года Петр Григорьевич был лишен гражданства СССР. Я выступил с заявлением, осуждающим это жестокое действие властей.

Незадолго до отъезда Григоренко у меня возник с ним спор. В 1977 году была принята новая Конституция СССР; в связи с этим отпал смысл проводившейся с 1966 года ежегодной «демонстрации молчания» у памятника Пушкину в день принятия Конституции 5 декабря. Мне казалось, что эта форма общественной активности слишком напоминает партийные демонстрации революционеров. Кроме того, она и меня ставила в ложное положение чего-то вроде «вождя оппозиции», на что я ни в какой мере не претендовал. В 1976 году гебисты устроили на площади Пушкина свалку, мне на голову высыпали снег с грязью. В дальнейшем можно было опасаться более острых провокаций, все это мне тоже не нравилось. В силу всех этих причин я не видел оснований огорчаться естественному прекращению демонстраций у памятника Пушкину. Но Петр Григорьевич хотел, наоборот, поддержать традицию. Он составил соответствующее обращение; его подписало довольно много его единомышленников. Предлагалось проведение демонстрации 10 декабря, в День прав человека, в годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Я не подписал обращения и больше ни

разу не ходил на демонстрации, проходившие в 1977, 1978 и 1979 годах без моего участия.

В промежутке между 10 и 14 мая проходил суд над Алексеем Смирновым. Люся была занята этим. Алексей Смирнов — внук известного журналиста Костерина, проведшего много лет в заключении, реабилитированного и восстановленного в партии в 50-х годах, умершего в 60-х годах. Это на его похоронах П. Г. Григоренко произнес речь, вошедшую в нравственную и общественную историю страны. Тетя Смирнова — автор не менее известного «Дневника Нины Костериной».

Игорь Рейф

Каждый прозревает В одиночку³⁸

**Комментарий к самиздатовской рукописи
памяти П. Г. Григоренко**

Когда во второй половине семидесятых годов мне довелось работать врачом в загородном отделении 1-го Московского медицинского института, что неподалеку от Истры, я оказался если и не очевидцем, то, во всяком случае, косвенным свидетелем страшного происшествия: на станции Новый Иерусалим перерезало тепловозом мужа нашей 30-летней медсестры Нины Богачевой. Да как страшно перерезало — не сразу, не насмерть, а оторвало правую руку и ногу, так что он минут сорок после того еще жил и скончался только в машине скорой помощи.

Много темных слухов ходило тогда вокруг этой истории. Как мог молодой и здоровый мужчина не заметить среди бела дня идущей позади локомотивной сцепки? И как не увидел машинист стоящего на рельсах человека и не дал предупредительного гудка? Сам он работал в ту пору то ли инженером, то ли механиком в станционном

³⁸ Печатается с сокращениями.

депо, и видели его в тот роковой момент разговаривающим на путях с какими-то мужиками. Но что это были за люди, никто так и не дознался, а следствие очень быстро свернули. Нина же, его жена, долго еще пребывала в уверенности, что под сцепку муж попал не сам и что ему в этом помогли.

Ничего определенного на сей счет сказать, увы, не могу, но слышал впоследствии, что был он в общении человеком неудобным — прямым и сверх меры откровенным. А наш заведующий, немного его знавший, отозвался о нем категорично и коротко — баламут, имея, очевидно, ввиду одну или две романически-скандальных истории, в которые тот попадал пару раз в силу особенностей своего «нестандартного» характера.

И вот остались три женщины — мать, жена и десятилетняя дочка. На Нину, которая неделю спустя, повязавшись черным платком, вышла на работу, страшно было смотреть, и никто при ней о ее несчастье старался не заговаривать. Но однажды заговорила она сама. Дело шло к концу рабочего дня, за окном сгущались осенние сумерки, и Нина, с которой мы остались в сестринской комнате вдвоем, пожаловалась, что устала, а впереди еще магазины, очереди и дорога домой в битком набитой электричке. «А прежде все тяжелые покупки были целиком на Вите», — как бы между прочим заметила она и понурилась.

Я осторожно спросил ее о дочке, о свекрови, и так, слово за слово, разговорились. Может быть, ей и самой хотелось кому-нибудь излить душу, потому что высказанное горе все легче невысказанного, а я, как говорится, подвернулся под руку, но она вдруг начала рассказывать мне о муже, которого я никогда не знал, и рассказ этот, должен признаться, меня поразил.

Увы, Нина, как, впрочем, и подавляющее большинство жен, была не слишком-то в курсе интересов своего супруга, хотя он их от нее и не скрывал. А интересы эти были, надо сказать, не совсем

обычного свойства и касались не футбола, не рыбалки и не туристских походов, а... нашего политического устройства. И взялся он за это дело, видимо, основательно: зимой ли, летом, каждое воскресенье в течение последних полутора лет уезжал в Москву (дома уже знали, что все воскресенья его, и никогда на них не покушались) и до позднего вечера просиживал там в библиотеке. Правда, что он там искал, Нина толком объяснить не могла. С ее слов выходило, что будто бы «все про Берию». Но мне и этого оказалось достаточно. Потому что, словно при вспышке магия, я вдруг узнал самого себя и свое невыразимое одиночество в ту давно миновавшую пору. А у него-то, в его Холщевиках, в рабочем поселке Глебовской птицефабрики, оно, должно быть, ощущалось во сто крат острее.

Кажется, я попросил Нину принести показать оставшиеся после мужа тетради, и она обещала. Но так и не принесла. А напоминать я не решился. Может быть, и сегодня, никому не нужные, они все еще пылятся где-нибудь в забитом старьем чулане, а дочь с зятем или внуки даже о том не подозревают. Да и могут ли эти тетради что-то сказать кому-нибудь, кроме своего хозяина? А он к ним уже не прикоснется и, следовательно, никогда не получит ответа на те взволновавшие его в глухие застойные годы вопросы, на которые нам, живущим, дало теперь ответ само время. И потому я бы хотел сделать единственно возможную малость — сохранить в этих скромных заметках хотя бы его имя. Его звали Виктор Богачев.

Каждый прозревает в одиночку, если слегка перефразировать название известного романа Ганса Фаллады. Да, может быть коллективный гипноз, массовое ослепление, но массового прозрения не бывает. Тут потребны самостоятельные усилия души и собственный, отнюдь не легкий интеллектуальный поиск.

У меня это случилось лет на десять раньше Виктора — может быть, в силу разницы в возрасте, а может и потому, что в отличие

от него я все-таки жил в Москве, и какие-то разговоры и случайные самиздатовские копии на растресканной папиросной бумаге до меня иногда доходили. Но все равно непростительно поздно. Позади был уже XX съезд и советское вторжение в Венгрию. Позади было возвращение моей сестры из сталинских лагерей и процесс над Синявским и Даниэлем (который, к слову сказать, оставил меня вполне равнодушным — ведь в самом деле, тайно переправляя свои сочинения на Запад, писатели «играли не по правилам»), а я все еще таил в душе какие-то иллюзии относительно возможностей существующего режима. Вероятно, в силу той духовной инерции, что привнесла в наше общество знаменитая хрущевская оттепель. Но к середине 60-х годов сошла на нет и она.

Пелена спала с глаз, как это нередко бывает, внезапно. И толчком к тому послужила, в сущности, песчинка — открытое письмо в защиту А. Солженицына, направленное Георгием Владимовым в президиум всесоюзного съезда писателей, проходившего в Москве в мае 1967 года. Да, именно так — не письмо самого Солженицына тому же съезду, возвестившее полную бесправность независимого литератора в нашей несвободной стране, что ходило тогда по рукам и имело несравненно больший общественный резонанс, а скромное, в две странички, хоть и с блеском написанное публицистическое обращение, посланное как бы ему вдогонку. Особенно запомнились слова (как стало ясно теперь, пророческие): «Не в обиду будь сказано съезду, но, вероятно, 9/10-х его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр Солженицын, гордость русской литературы, понесет свое имя много подальше».

Да еще заключительный оттуда абзац: «И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь

же твердо, как верит он сам. Но мы-то, мы здесь причем? Мы его защитили от обысков и конфискации? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от него липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно от наших редакций и правлений, когда он искал ответа?»

Так какое же все-таки откровение нашел я для себя в этих двух процитированных выше страничках? Теперь, по прошествии стольких лет, мне уже трудно ответить на этот вопрос. В сущности, ведь ничего такого, чего бы я не знал раньше. А может все дело было в той страстности, которую вложил автор в свое обращение? Но Солженицына я любил, и его «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» (остальное в ту пору оставалось мне еще неизвестным) были для меня не только первоклассной литературой, но и эталоном художественной правды. А их автор — не просто писателем, а, как сказали бы теперь, знаковой фигурой, первой в блистательной когорте литераторов, группировавшихся вокруг «Нового мира» А. Твардовского. И то, что не только художественная, но и жизненная правда на стороне этих людей, лично у меня сомнений не вызывало.

Но если власть, тем не менее, идет на любые ухищрения, лишь бы лишить их возможности высказать эту выстраданную ими правду, то, следовательно, это... несправедная власть? Внезапное это открытие жгло меня, как огнем, и положительно не давало покоя. Нет, с тем шоком, что испытал я семнадцатилетним юношей, познакомившись на курсовом комсомольском собрании с текстом закрытого доклада Хрущева XX съезду, сравнить его было, конечно, нельзя. Но то, что Сталин тиран и кровопийца, мы уже худо-бедно, но как-то переварили. И казалось, приди ему на смену действительно честные, бескорыстно преданные делу люди, и все вернется в свое изначальное русло, пойдет «как надо», как оно было замыслено когда-то отцами-основателями советского государства.

Но ведь со смерти Сталина прошло уже пятнадцать лет. Да, конечно, за анекдоты или неосторожно брошенное слово теперь не сажают. Но выборы, например, как были, так и остаются пустой формальностью. «Современная комедия», так, кажется, называется второй том «Саги о Форсайтах», и именно его однажды придвинул мне мой бывший одноклассник, когда я зашел навестить его по случаю болезни, пришедшейся как раз на день выборов. Принесут ли ему на дом избирательную урну, поинтересовался я тогда, а он в ответ и ткнул меня в этот двусмысленный заголовок.

Впрочем, я и сам немало уже успел поразмышлять над этой проблемой и однажды, поближе познакомившись со структурой народного представительства первых лет революции, даже поделился своим внезапным «открытием» в подробном письме Хрущеву. Современная избирательная система не имеет ничего общего с теми демократическими принципами, что были провозглашены большевиками сразу после Октябрьского восстания, а термин «советский» сохранился разве что в названии нашего государства, где от первых, подлинных Советов уцелела в лучшем случае одна облочка. И, естественно, призывал вернуться к этим отброшенным при Сталине «ленинским нормам».³⁹

³⁹ Самое забавное, что письмо это имело некоторые неожиданные для меня последствия. Месяца через полтора меня пригласили в Советский райком партии (так назывался тогда один из центральных районов Москвы), где меня приняла миловидная сорокалетняя блондинка. Она объяснила, что ей поручено ответить на мое письмо и содержащиеся в нем предложения. Не помню уж, какие она выдвинула тогда аргументы, да и вообще, касались ли мы с ней этих материй, но зато хорошо запомнился тот неподдельный интерес, с которым она разглядывала мою особу. Видимо, такое вот сочетание молодости (а было мне от силы лет двадцать пять) с равнодушием к вопросам государственного устройства казалось ей чем-то необыкновенным и не позволяло подойти к своей миссии сугубо формально. Она даже поинтересовалась напоследок, не может ли мне быть чем-нибудь полезна, и предложила помощь в устройстве в ордина-

Да, колхозники имеют теперь паспорта и формально не закреплены за своими хозяйствами, как крепостные. Но в какой бедности, если не нищете, по-прежнему прозябает деревня. Столичный житель, я еще в 1955-м году своими глазами мог видеть, как в подшефном колхозе, куда нас посылали от института на уборку сена, женщины жали хлеб серпами (при том, что мы, студенты, по большей части бездельничали). И это в пятидесяти километрах от Москвы. Что уж тут говорить о настоящей глубинке.

[...] Но существовала и еще одна болевая точка, что жила во мне еще с подростковых времен. Это арест в 1951-м году моей старшей сестры, ее пятилетняя лагерная эпопея, а главное — три расстрела, которыми закончился тот судебный процесс. И одного из расстрелянных я немного знал, звали его Женя Гуревич. И хотя мои представления о том, ради чего, собственно, поставили на кон свои молодые жизни эти трое, были тогда еще весьма смутными, но самый факт их гибели в том юном возрасте, когда другие их сверстники бегают за девочками, накачивают мускулы в спортивных залах или делают комсомольскую карьеру, не мог не саднить сердце. И еще прежде, чем написать хотя бы строчку своей «крамольной» рукописи, историю которой я собираюсь здесь рассказать, я уже знал, что она будет посвящена «памяти безвестных героев Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича, погибших в дни 1952 года в возрасте неполных 20-ти лет» (намекнуть на большее даже и в конце 60-х годов я все же не решился).

А желание писать, делиться своими открытиями, родилось у меня почти сразу же, едва я углубился в единственный стоявший

туру, что мне, начинающему врачу, давало хороший карьерный шанс. Однако я вежливо отклонил предложение, о чем впоследствии не раз пожалел. Вот такие были еще в ту пору «оттепельные» нравы.

у нас в шкафу том Ленина в выцветшем дерматиновом переплете. Том этот был из какого-то довоенного двухтомника, и я до сих пор не имею понятия, как он попал в наш дом (уж не через Женю ли Гуревича?). Но зато хорошо помню перечеркнутые лиловыми чернилами фамилии известных оппозиционеров в перечне именного указателя. И против каждого такого имени старательным детским почерком было выведено: «враг народа, расстрелян».

Говорят, у Ленина, почти как в Евангелии, можно найти все. Может, потому, что Лениных, в сущности, было несколько. Но тот Ленин, с которого я начал свое чтение, меня покори́л. Это было «Государство и революция». Тоже своего рода Евангелие, и, как всякое Евангелие, обреченное пребыть неосуществимой мечтой у врат грешного мира. Но в тот момент я еще не задумывался о том, насколько реалистичны все эти прекраснодушные рассуждения о справедливом распределении «всякой пищи и молока» или свободной раздаче оружия отрядам народной милиции. Я просто принял их в свое сердце как неопровержимое подтверждение чистоты большевистских помыслов накануне прихода этой партии к власти.

Итак, точка отсчета была выбрана. Предстояло разобраться, когда и в силу каких причин произошла, в конечном итоге, эта радикальная трансформация большевистских ценностей. Но ведь я не был историком, и все архивы были для меня, естественно, закрыты. Оставалось рассчитывать на что? Да на то же самое, что было доступно Виктору Богачеву и любому, вообще, советскому человеку — на открытые библиотечные фонды. Но и там, оказывается, можно было почерпнуть немало.

Мне, пожалуй, не приходилось сталкиваться с этим в Москве, но моя жена, учившаяся в 1960-е годы в Башкирии, сама была свидетельницей, как ее однокурсника по институту едва не отчислили за то, что он, прочтя самостоятельно какие-то малоизвестные работы Ленина, позволил себе задавать «бестактные» вопросы руко-

водителю семинара по основам марксизма. «А разве вы не знаете, что изучать первоисточники разрешено только в группе из не менее чем из трех человек», — вскричал выведенный из себя педагог и, не имея других аргументов, побежал жаловаться в деканат. Правдоискателя и в самом деле едва не исключили, если б не коллективное заступничество группы его сокурсников.

Так что многие вещи Ленина и другие «разрешенные» издания тех лет представляли собой опасную мину для советской власти, и она предпочитала, чтобы они доходили до людей в уже разжеванном и откомментированном виде. Но и закрыть эту литературу, однако, не решалась, и потому полки с томами Ленина и материалами первых послеоктябрьских съездов занимали весьма почетное место в каждой районной библиотеке. Как говорится, изучай — не хочу. Вот за это я и взялся с усердием неофита.

Теперь мне уже трудно понять, откуда брались у меня упорство и силы день за днем в течение двух лет вгрызаться в этот исторический гранит. А, между тем, именно в это время в Москве начали распространяться первые выпуски знаменитой «Хроники текущих событий», приуроченной к объявленному ООН Году прав человека и подробно освещавшей череду политических преследований в якобы покончившем со сталинским наследием Советском Союзе, другие не менее громкие распечатки самиздата, но мне о них не было известно ровным счетом ничего. Пробиваться к свету приходилось в одиночку с тем скудным политологическим багажом, который я успел приобрести в советской школе и в советском вузе.

Но вот где-то к весне 1968 года передо мной, наконец, забрезжил «свет в конце туннеля» и в голове сложились контуры будущей рукописи, а главное — было найдено вступление, задававшее тон всему дальнейшему. Оно и сегодня кажется мне удачным, хотя бы в публицистическом плане, а потому позволю себе привести самое его начало. Давая, с одной стороны, представление о моих тогдаш-

них идеологических ориентирах, оно не утратило, к сожалению, своей специфической актуальности и в наши дни.

«Посреди Красной площади, главной площади Советского Союза, высится мраморное надгробие — Мавзолей. Изо дня в день, из месяца в месяц тянется к нему нескончаемый людской поток. Невротический круговорот бытия оборвал полвека назад жизнь человека, чья мысль и воля сыграли такую выдающуюся, ни с чем не сравнимую роль в судьбах истории. Оставшиеся в живых решили воздать ему почесть, какой не удостоивался до сих пор ни один из коронованных властителей мира — они навечно поместили его тело в этот мавзолей, чтобы стараниями биохимиков спасти от тления дорогие черты...

Но человек, покоящийся здесь, был мудр и трезв: слишком трезв, чтобы заблуждаться относительно невозвратности человеческого существования, чтобы не видеть пределов, поставленных человеку природой; достаточно мудр, чтобы до последней минуты думать и печься о жизни, о ее земных проблемах, и потому вряд ли бы одобрил затею с устройством мавзолея. Кроме того, он, вероятно, полагал, что если для потомков и представляет какой-то интерес его личность, то это прежде всего его борьба, его идеи, но никак не отслужившая свой срок бесполезная материальная оболочка.

Однако никто не волен распоряжаться своей посмертной славой. Наследники и продолжатели его трудов решили иначе: того, кто при жизни был органически скромным и простым, ненавидел помпезность и презирал всякую позу, поместили после смерти под стеклянную крышку саркофага, допустив по отношению к памяти Учителя величайшую бестактность, если не сказать сильнее».

Надо ли говорить, какую бомбу представлял собой этот пассаж вместе с предпосланным ему заголовком: «Трансформация большевизма». Тут было, можно сказать, покушение на святая святых, и в том числе, на аксиому незыблемости «генеральной линии» пар-

тии. Впрочем, думать и даже говорить в узком кругу советские люди могли все что угодно, но писать... И дабы не навлекать на себя карающую десницу, я решил оставить свой опус неподписанным. Так ли уж важно, в конце концов, кому он принадлежит? Лишь бы заложенные в нем мысли стали достоянием как можно более широкого круга. И лишь впоследствии мне стало ясно, сколь нетипично было подобное решение для самиздата, что, может быть, и явилось отчасти причиной прохладного отношения к рукописи со стороны самиздатовских «зубров».

Но все это было еще впереди. Пока же, по выражению Твардовского, предстояло «сладить со строкой», и так хотелось сладить с ней поскорее. Ведь на дворе стоял 1968 год — последний, по существу, год и закат хрущевской «оттепели» с последовавшим затем свертыванием и тех куцых политических свобод, и так называемых «косыгинских» экономических реформ, на которые возлагались тогда немалые надежды. Конечно, исторически все это было предпринято, точно так, как 30 лет спустя был, по-видимому, предreshен политический откат начала 2000-х годов. Но импульсом к рываншу послужили на сей раз события не внутри страны, а за ее пределами. И имя им было «Пражская весна».

Название «весна» в данном случае столь же условно, как и «оттепель». Потому что захватила она три времени года — с января 1968-го, когда на пленуме ЦК КПЧ произошла смена его руководства и генеральным секретарем был избран Александр Дубчек, и вплоть до советской оккупации Чехословакии в ночь с 20-го на 21-е августа. И «весна» эта будоражила умы как в самой всколыхнувшейся ей навстречу стране, так и за ее пределами. «Казалось, — вспоминал впоследствии А. Д. Сахаров, — что в Чехословакии происходит наконец то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах, — социалистическая демократизация (отмена цензуры, свобода слова), оздоровление экономической и социаль-

ной систем, ликвидация всемогущества органов безопасности внутри страны с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода («готвальдовского» в Чехословакии). Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально-активных выражениях — «Пражская весна», «социализм с человеческим лицом».⁴⁰ Но эйфория, увь, была недолгой. До сих пор помню, как, обхватив руками голову, рассказывал о своих впечатлениях возвратившийся из Праги муж моей институтской сокурсницы, бывший, как тогда говорили, «выездным» по причине своего высокого положения в одном из гуманитарных НИИ. «Они же там совершенно ничего не понимают. Они не отдают себе отчета, как скоро все это будет прихлопнуто».

Прихлопнута «Пражская весна» была советскими танками. Газеты ссылались в те дни на какое-то мифическое — без имен и фамилий — обращение представителей прогрессивной чехословацкой общественности к компартиям братских стран с просьбой встать на защиту социалистических завоеваний. И вот именно идя навстречу этим «здоровым патриотическим силам», советское руководство якобы и вынуждено было прибегнуть к военному вмешательству, дабы преградить дорогу реакции.⁴¹

Все это было, конечно, шито белыми нитками, и люди прекрасно это понимали, но молчали. Как молчал и я, когда, стиснув зубы, сидел на открытом партийном собрании своей медсанчасти и слушал доклад нашего партсекретаря — заведующей стоматологичес-

⁴⁰ А. Д. Сахаров. Воспоминания. В двух томах. М.: Издательство «Права человека». 1996. Том 1. С. 389.

⁴¹ А ввел ли бы Ленин, живи он в ту пору, войска в Чехословакию? Тогда такой вопрос мне даже не мог прийти в голову. Но теперь не сомневаюсь — ввел бы.

ким отделением, что-то нудно бубнившей насчет интернационального долга, а вокруг с сонными лицами сидели врачи и медицинские сестры. Лица и вправду были сонные, словно на повестке дня стоял вопрос о подведении итогов соцсоревнования, и это лишь усугубляло мое ощущение беспомощности и отчаяния. Но с кем же мне было им делиться?

П. Г. Григоренко приводит в своих мемуарах слова первого секретаря Московского горкома партии В. Гришина, с гордостью объявившего на партийном активе города, что на всю Москву нашлось только 13 человек, выступивших на собраниях трудящихся против ввода советских войск в ЧССР. «Гришин говорит: *«только 13»*, — добавляет от себя Петр Григорьевич. — А я, услышав об этом, готов был «УРА» закричать. Ведь *это же 13 одиночек*. А люди, способные в наших условиях выступить *в одиночку* против действий правительства, да еще таких действий, как интервенция, многих тысяч стоят. Народ, имеющий таких одиночек, не погибнет — оживет и проявит себя».⁴²

Мне, однако, думалось иначе, и 13 человек на 7-миллионную Москву, высказавшихся против интервенции, это вовсе не было поводом для оптимизма. И даже те семеро, что вышли 25 августа на Красную площадь с самодельными лозунгами и транспарантами, сохранили лишь свое собственное лицо, но никак не лицо двухсотмиллионной нации. Ведь прохожие, наблюдавшие за этой самоотверженной акцией, не проявили к ней никакого сочувствия — одно лишь щекочущее любопытство.

Эта поразительная социальная апатия представлялась своего рода феноменом, до истоков которого также хотелось докопаться в итоге моей работы. Во всяком случае, что общество серьезно

⁴² П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 646.

больно, не вызывало никаких сомнений. Об этом все громче заявляли в своих произведениях и некоторые писатели (так называемые «деревенщики», В. Тендряков, Ю. Трифонов), и чудом прорвавшиеся на широкий экран кинофильмы («Наш дом», «Три дня Виктора Чернышева»). Но искусству всего важнее показать болезнь. «Будет и того, что болезнь названа, — написал в предисловии к «Герою нашего времени» М. Лермонтов. — А как ее излечить, это уж Бог знает». И вот тут начинается поле деятельности для социолога — специальности, которой в 60-е годы в Советском Союзе просто не существовало и к каковым, в силу малости моих познаний, причислить себя я, конечно, не мог, хотя кой-какие претензии на сей счет, наверное, все-таки были.

Но вот где-то к концу 1968 года у меня сложились уже три самостоятельных главы и была начата четвертая, когда дело вдруг окончательно застопорилось. Сказывалось ли отсутствие опыта или накопившаяся усталость — от самой ли работы, от одиночества? Но не было уже никаких душевных сил длить и длить эту бесконечную канитель. И тогда мне пришла мысль, за которую я ухватился, как за соломинку: попытаться найти себе соавтора и, разумеется, из диссидентских кругов. Ведь должны же там быть люди, размышляющие о тех же материях, а «в четыре руки» и работа пойдет веселее. В общем, выйти в свет с тем, что уже написано.

Однако из всех диссидентов, не считая Солженицына и Сахарова, мне было известно фактически лишь одно имя — Петра Якира. Может быть, в силу популярности его отца, расстрелянного в 37-м году героя гражданской войны. Но как на него выйти? Долго кормила меня завтраками та самая однокурсница, чей муж незадолго перед тем вернулся из Чехословакии и, в силу своей «киношной» специальности, был близок к каким-то вольнодумным гуманитариям, пока я не понял, что оба они просто боятся.

Выручили физики, с которыми я дружил. Нашелся-таки среди них один, коротко знакомый не только с Якиром, но вхожий даже к самому Сахарову. Он-то и привел меня в тот морозный декабрьский вечер, едва не оказавшийся для меня впоследствии роковым, в один из знаменитых московских домов неподалеку от метро Автозаводская.

Но кого я рассчитывал там увидеть? Рыцарей без страха и упрека, с открытым забралом бросивших вызов государственному монстру? Но за столом сидели самые обыкновенные люди. Они обсуждали историю какой-то Иры Белгородской, по рассеянности оставившей в такси толстую пачку самиздата, и хвалили дешевенький соевый торт, каким давно уже брезговали в доме моих родителей, захваченный нами по пути вместе с бутылкой портвейна. По временам появлялась и вновь исчезала изможденная, местечкового вида старушка, вдова легендарного командарма. Сын командарма, которого здесь звали Петей, полная противоположность матери, плотный сорокапятiletний мужчина с сумрачным, тяжеловатым, как бы обожженным его семнадцатилетней лагерной эпопеей лицом, налегал на портвейн, а я все ждал, когда же мне можно будет приступить к делу, ради которого я, собственно, сюда и пришел, и тяготился тем, что никто не обращает на меня никакого внимания.

Тогда я еще не представлял, сколько в этом доме бывает самого разного народа и как обычны здесь застолья с полужнакомыми и вовсе незнакомыми людьми, и что я попал в своего рода мир диссидентской богемы. Между прочим, эта постоянная распахнутость сыграла однажды с Якиром плохую шутку. Случилось это несколькими годами позже, когда к нему заявили однажды два никогда не виденных им прежде субъекта, принесших с собой бутылку вина, которую он по их уходе не долго думая раскупорил. Что уж было подмешано в том вине, осталось тайной, но в результате се-

рбезно отравился он сам и кто-то, кажется, из домашних, хотя, по счастью, все обошлось благополучно. Много ходило тогда слухов вокруг этой темной истории, подозревали руку ГБ, но истины так и не дознались.

И лишь перед самым уходом мне удалось, наконец, завладеть вниманием не вполне уже трезвого хозяина дома и в двух словах рассказать ему о цели своего прихода. Коротко взглянув на папку с рукописью, он предложил мне ее оставить. На том и расстались. Хотя никаких иллюзий на свой счет я уже не питал, понимая, что мой выстрел был вхолостую.

А на обратном пути в полупустом вагоне метро мой спутник, видимо, ощущая некоторую передо мной неловкость, прикидывал в уме, в какие еще двери стоило бы мне постучаться. Вот тогда я и услышал от него впервые о некоем диковинном генерале, интересующемся подобного рода вещами. Но фамилии названо не было, а разговор перекинулся вскоре на другую тему.

Так впервые — пока еще без имени и фамилии — всплыла на моем горизонте фигура генерала Григоренко, и путь мой отныне, очевидно, лежал к нему. Но сперва мне предстояло пройти еще один или два как бы постепенно суживающихся круга, и завершением первого стал мой повторный визит к Якиру.

Принял он меня почему-то в трусах, хотя на этот раз был настроен по-деловому. Папка моя лежала уже наготове. В немногих словах объяснив мне, что не может принять мое предложение о сотрудничестве, поскольку не считает себя специалистом в данном вопросе, он ни слова не сказал в одобрение самой работы, из чего мне оставалось сделать вывод, что особого впечатления на него она не произвела. Вот с этим смутным осадком в душе я и покинул квартиру на Автозаводской. А придя домой, вновь стал размышлять, что же мне делать дальше и кого еще попытаться заинтересовать злосчастной моею рукописью.

И вспомнилось мне, что среди однодельцев моей сестры не все так бесповоротно порвали со своим романтическим прошлым, ушли в быт, в семью, в работу, но кое-кто пополнил собой ряды новой оппозиции (слово «диссидент» тогда еще не вошло в широкий обиход) и даже, как Майя Улановская, успел написать свои тюремно-лагерные воспоминания, которые я читал. Эти-то воспоминанья и подсказали мне следующий шаг. Разузнал под каким-то предлогом у сестры ее телефон и позвонил.

Как ни странно, мы не были с ней знакомы, как не знал я, вообще, никого из освободившихся вместе с сестрой ее однодельцев и не бывал на их традиционных встречах. И уж тем более никогда не слышал о муже Майи Анатолии Якобсоне, на диссидентском небосклоне звезде, можно сказать, первой величины, да вдобавок еще человеку пишущем — авторе вышедшей уже в постсоветские времена (а до того в эмигрантском издательстве им. Чехова в Нью-Йорке) книги об Александре Блоке «Конец трагедии».

И вот передо мной еще один диссидентский дом, но совсем не похожий на предыдущий. Здесь дети и собаки (а если быть точным, один ребенок и одна собака); просветлевшее февральское небо заглядывает в окно скромной «хрущевской» квартиры (почти вся зима улеглась между этими двумя моими визитами), отчего она кажется вдвое просторней. А главное — меня здесь слушают, и у меня такое чувство, будто я бывал тут уже много-много раз.

Пока говорили с Майей, пришел из школы ее десятилетний сын. Переодеваясь начал сразу же выкладывать школьные новости. Потом схватился с добродушным хромоногим псом, которого Анатолий подобрал однажды с перебитой лапой прямо на улице. А вскоре в квартиру вихрем ворвался и сам хозяин дома, взлохмаченный, расхристанный, со словно бы взведенной внутри пружинной. Не присаживаясь, с любопытством стал проглядывать принесенную мной папку. Вдруг глаза его оживились:

— О, это для генерала. Это как раз то, чем он интересуется.

К тому времени я успел уже прочесть его страстное «Открытое письмо редактору журнала «Вопросы истории КПСС»» в защиту книги А. Некрича «1941. 22 июня», а по сути — сжатый исторический очерк с анализом причин нашей катастрофы в первые военные месяцы, и лучшего комплимента для меня трудно было придумать. А когда я спросил, оставлять ли им мою папку, Толя взглянул на меня с какой-то светлой укоризной:

— Неужели вы думаете, что рукопись с таким посвящением может быть нам неинтересна?

Да, имена расстрелянных ребят были для него святы, как свято и лагерное прошлое его жены и всех, вообще, ее подельников, которого, в силу небольшой возрастной разницы, разделить он не мог, но постоянно чувствовал как бы легкий укор совести.⁴⁵ Да и сам он, наверное, тоже был в некотором роде совестью диссидентского движения — не зря же его все так любили. Хотя понимание этого пришло лишь после его вынужденной эмиграции, а, пожалуй, и после смерти. Мы условились, что рукопись генералу передаст он сам, и на этот раз я ушел обнадеженный.

И вот я иду, наконец, в дом, где меня ждут, да и сам с нетерпением жду — не дождусь этой встречи, потому что успел кое-что разузнать стороной о Петре Григорьевиче, окруженном, как и Сахаров, ореолом некоторого преклонения. Однако, если не трудно было себе представить диссидентом академика-интеллектуала, то в отношении кадрового военного сделать это было уже много сложнее.

Увы, диссидентов не готовили в наших вузах, и каждый приходил к этому своим путем, на основе собственного жизненного опыта. Для Петра Григорьевича этот путь начался с военной Академии

⁴⁵ См. об этом *Н. М. Улановская, М. А. Улановская. История одной семьи. Беседа с А. А. Якобсоном (Иерусалим, апрель 1978 г.). СПб.: «Инапресс», 2003.*

им. Фрунзе, где он возглавлял кафедру военной кибернетики (науки об управлении боем), а если точнее — с партконференции Ленинского района Москвы в сентябре 1961 года, куда он был избран делегатом от этой академии и где отважился выступить с критикой набравшего тогда силу культа Хрущева. Весьма сдержанной, даже робкой, надо сказать, критикой, но все равно обреченной быть похороненной в архивах той конференции — критиковать живых функционирующих вождей было в то время абсолютно запретно.

Но зачем ему вообще это было нужно? Быть может сам же Хрущев своим антисталинским докладом на XX съезде партии и подал ему опасный пример? Но если многоопытный, прожженный Никита сумел заручиться поддержкой большинства членов ЦК и армейской верхушки в лице Георгия Жукова, то Григоренко ринулся на амбразуру в одиночку. Надо ли удивляться, что академическое начальство поспешило откреститься от непредсказуемого генерала, и его служебная карьера с того дня стремительно понеслась под откос.

А к моменту нашей с ним встречи за плечами его уже было: изгнание из Академии и полуторагодичная служба в Дальневосточном военном округе; создание своего рода семейной подпольной организации «Григоренко и сыновья» — «Союза борьбы за возрождение ленинизма», распространявшей написанные генералом листовки у заводских проходных и на московских вокзалах (сидел, где-то сидел-таки в нем наивный большой ребенок); легко прогнозируемый арест и 9 месяцев пребывания в Ленинградской спецпсихбольнице; лишение военной пенсии и работа грузчиком в овощных магазинах Москвы и Ялты; и, наконец, выход к свету — на орбиту зрелого правозащитного движения, когда он, решительно осудив свое собственное подпольное прошлое, выбрал себе девизом ставшую впоследствии знаменитой фразу: «В подполье можно встретить только крыс». Словом, типичный путь русского самородка-правдо-

искателя, чем-то даже созвучный в самом своем начале одинокому и трагически оборванному поиску Виктора Богачева.

Вот такой человек ждал меня в то воскресное утро в доме против церкви Святого Николы в Хамовниках, что в начале Комсомольского проспекта, и от вердикта которого во многом зависела дальнейшая моя судьба.

Описывать ли самый дом? Пожалуй, что да, потому что подавляющее большинство «простых советских генералов» обитало если и не в особняках (хотя и в особняках тоже), то в сверкающих зеркалами и дубовыми перилами многоэтажных хороммах. А тут — невзрачное здание застройки двадцатых годов, в котором с незапамятных времен жила еще семья жены Петра Григорьевича и где его покойный тесть, рабочий и старый партиец, получил эту квартиру⁴⁴ примерно в одно время с воспетым Маяковским литейщиком Козыревым.

А еще потому, что через эти подъездные двери прошли, без преувеличения, сотни людей самого разного возраста и звания — и из обеих столиц, и из провинциальной глубинки, ехавших сюда за советом и помощью, а то и просто взглянуть на легендарного генерала и передать ему поклон от благодарных земляков. А на этой вот мрачной, больше похожей на черный ход лестнице частенько толпились друзья и единомышленники — и во время семейных торжеств, когда тесная квартира физически не могла вместить сразу всех пришедших, и во время обысков в доме генерала, когда

⁴⁴ Точнее, квартира, которую посетил Рейф, образовалась после обмена собственно квартиры моего деда и квартиры матери и ее первого мужа Виссариона Колоколкина, погибшего под пытками в застенках КГБ. Примечательно, что дом этот был одним из первых советских кооперативов. Правда, позднее советская власть все эти жилищные кооперативы ликвидировала не выплатив пайщикам и копейки, а после изгнания моих родителей из СССР эта квартира вообще была конфискована. *Прим А. Г.*

мгновенно прознавшие о случившемся его сподвижники стекались сюда, чтобы продемонстрировать свою солидарность перед лицом обескураженных гебистов.

Но сегодня я иду сюда один, и открывший мне дверь Петр Григорьевич сразу предупреждает, что семья еще спит, и проводит в ближайшую маленькую комнату, где усаживает меня на тахту, а сам устраивается за письменным столом.

Все, кто в разное время общался с генералом Григоренко, отмечали бросающиеся в глаза волевые свойства его натуры: статную, по-военному подтянутую фигуру, острый взгляд, быструю реакцию, умение заставить слушать себя даже враждебно настроенную аудиторию — как это бывало во время пикетов перед зданиями суда, где его слово жадно ловили люди из милицейского оцепления, — в общем, все качества прирожденного лидера. Но ничего этого я сейчас не ощущаю, а вижу перед собой только «добрые пронизательные глаза военного ученого», как выразился один из мемуаристов, да характерный улыбчивый прищур на широком, мощно вылепленном лице, отвечающий скорее представлению не о «человеке службы», а о крепком и гибком хозяйственнике, без чего невозможна была в советские времена никакая успешная деятельность на этом поприще.

Да, мою рукопись он прочел, и она ему понравилась, а на предложение поработать над ней вдвоем не колеблясь отвечает согласием. И даже намечает кое-какие конкретные аспекты, которые ему хотелось бы в ней осветить. Только вот приступить к этой работе сейчас он никак не может, очень занят. Скорее всего в мае, когда немного освободится.

Увы, я не представляю себе степени его занятости, того, что Петр Григорьевич сейчас на разрыв. Не знаю о том, что всего несколько месяцев назад в его квартире был обыск и что он ходит по лезвию ножа, под дамокловым мечом ареста. Не знаю, что со смер-

тью его ближайшего друга, старого большевика и бывшего колымского лагерника А. Е. Костерина, на его плечи легла миссия своего рода куратора крымскотатарского движения, отстаивающего право этого народа на возвращение на землю предков, откуда он был вышвырнут в годы войны по приказу вождя, и что в первых числах мая три тысячи крымских татар ждут его в Ташкенте, где должен начаться процесс над активистами их движения. Не знаю, что во время недавней встречи с Солженицыным Александр Исаевич настоятельно убеждал его взяться за написание правдивой истории Великой Отечественной войны, и он ему это пообещал.

Ничего это, повторяю, мне неизвестно, да, наверное, знать и не положено. Но он-то не может не держать всего этого в голове и, тем не менее, на равных беседует с молодым «теоретиком», который не только вдвое его моложе годами, но, пожалуй, и на ступеньку ниже в своем развитии. А главное, далеко уступает в кругозоре и жизненном опыте, которого у Петра Григорьевича хватило бы на десятилетия. Может, причина отчасти в том, что и сам он в правозащитном движении относительно еще новичок и не без пиетета относится к 30-летним «зубрам», многие из которых считают возможным просвещать и образовывать влившийся в их ряды «перспективный кадр», что воспринимается им почти как должное.

Да, это одна из обаятельных черт его натуры: готовность постоянно учиться, жадно впитывая все новое и по-детски радуясь каждому новому человеку, у которого он может почерпнуть что-то находящееся за рамками его познаний и опыта. А возраст, звания и прочее не имеют при этом никакого значения.

Однако есть и некая особая причина для нашего с ним сближения. Это — отношение к «основоположникам». Потому что имена Маркса и Ленина для нас обоих по-прежнему святы (чего никак нельзя сказать о большей части диссидентского окружения), а социализм с «человеческим лицом» и его так и не реализованными

демократическими потенциями все еще служит нам идейным ориентиром. В сущности, об этом почти вся моя рукопись, и его доброжелательное к ней отношение не просто дань вежливости. Нет, это его действительно занимает, и я чувствую несказанное, почти физическое облегчение от того, что встретил наконец единомышленника. Как говорится в фильме «Доживем до понедельника», «счастье — это когда тебя понимают».

Мы расстаемся, полагая, что на месяц. Экземпляр моей рукописи он оставляет у себя, чтобы поразмышлять над ним на досуге, а мне на прощание вручает драгоценную по тем временам брошюрку — «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» А. Д. Сахарова, видимо, только что привезенную кем-то из-за рубежа. Я же, со своей стороны, обещаю попытаться самостоятельно завершить «зависшую» у меня четвертую главу.

* * *

И действительно, после нашей встречи работа у меня вдруг пошла, словно бы не хватало мне именно такого вот ободряющего сочувственного импульса. И в течение ближайших двух-трех недель я не только справился с злополучной четвертой главой, но размахнулся еще и на пятую. Собственно, пускать рукопись в самиздат можно было и в таком, незавершенном виде — самое необходимое в ней, по сути, было уже сказано. И об этом мне не терпелось сообщить Петру Григорьевичу. Однако из осторожности решил позвонить не из дома, а по автоматату.

Этот искрящийся солнцем день конца апреля и теперь у меня перед глазами. Как и та телефонная будка с надтреснутым стеклом у входа в метро Красные ворота, где я делал пересадку на обратном пути с работы. Но главное — переполнявшее меня ощущение абсо-

лютного, ничем не омраченного счастья, поделиться которым я мог лишь с одним-единственным человеком.

Да, такое не забывается. Таких минут в нашей жизни, как говорится, раз, два и обчелся. Однако женский голос на том конце провода объявил, что Петра Григорьевича нет дома, а на вопрос, когда будет, ответил, что лучше всего звонить после праздников. Что-то не понравилось мне в интонациях этого голоса, оставившего в душе какой-то смутный осадок, но что? В этом я не мог дать себе ясного отчета, а потому постарался отвлечься и не думать. А спустя несколько дней мой отец, ловивший по вечерам сквозь шум и треск глушилок Би-Би-Си и «Голос Америки», сообщил, что 7 мая в Ташкенте арестован генерал Григоренко.

Это известие было для меня больше чем шок. После необычайного подъема, даже эйфории последних дней и недель казалось, будто меня швырнули носом об землю. А тут еще этот злосчастный оставшийся у Петра Григорьевича экземпляр, который в случае обыска наверняка попадет теперь в лапы гебистов. Я не знал, что делать, чего ждать, и весь словно бы внутренне сжался.

Две недели прошли как в тумане, пока я не понял наконец, что дальше так нельзя и что надо на что-то решиться. Может быть, повидаться с женой генерала Зинаидой Михайловной, о которой был немного наслышан, но никогда не видел. Я позвонил, назвался и через полчаса уже стоял перед знакомой мне дверью.

Ходила когда-то в самиздате популярная в те годы рукопись физика В. Турчина «Инерция страха». Через свой страх я сумел переступить и испытывал от этого огромное облегчение. А кроме того, как выяснилось впоследствии, он был и сильно преувеличен. Потому что после отъезда мужа в Ташкент мудрая Зинаида Михайловна, умевшая просчитывать на несколько ходов вперед, убрала от греха подальше весь скопившийся в доме компромат.

Собственно, с этого визита, со знакомства с Зинаидой Михайловной и Андреем Григоренко, началась как бы новая страница в моей диссидентской биографии. Не знаю, что уж там успел рассказать обо мне Петр Григорьевич жене и сыну, но я был принят не только радушно, но даже не без доли почтения — вероятно, как автор некоего серьезного труда. Впрочем об авторстве было вскоре забыто, и наши отношения стали просто сердечными, а дом Зинаиды Михайловны моим почти что вторым домом. А когда Петра Григорьевича после Ташкентского изолятора и института Сербского перевели в Черняховскую психбольницу и появилась возможность ему писать, я не преминул этим воспользоваться. И наша переписка, к обоюдному, думается мне, удовольствию, продолжалась до конца его Черняховского заточения.

В его фундаментальных 800-страничных мемуарах «В подполье можно встретить только крыс», не случайно, кстати, перепечатанных журналом «Звезда» под рубрикой «Мемуары XX века», над которыми он работал уже в эмиграции, есть такие строки: «Но не только активисты правозащиты вспоминаются мне. Очень содействовали созданию благоприятного климата те, кто поддерживал дух наш своей дружбой, своим участием. Никогда не забудем мы врача Игоря Рейфа, его врачебные заботы обо всей нашей семье и прекрасные и умные беседы его со мной. Не забудем и его жену Зою».⁴⁵

Это написано в 1980 году, по ту сторону «железного занавеса». Позволить себе большее Петр Григорьевич в то время не мог, боясь навредить. Однако в письмах из психбольницы, когда подобных опасений еще не существовало, он писал другое. Я приведу здесь с небольшими купюрами лишь первые два письма, имеющие непосредственное отношение к рассказываемой мной истории.

⁴⁵ П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 778.

«Черняховск. 7 июля 1970 г.

Дорогой Игорь. Письму Вашему очень рад. Думаю, каждому человеку радостно осознавать, что он оставил хороший след в душе другого человека. Естественно, рад и я тому, что несмотря на то, что наше знакомство было слишком беглым и коротким (выражение Вашего письма), несмотря на то, что я был в то время слишком занят и не мог уделить Вам достаточного внимания (добавлю я), Вы не только запомнили наши встречи, но и сочли возможным посетить мой дом и писать мне письма. И напрасно Вы думаете, что я Вас не запомнил. Запомнил и даже часто вспоминал и спрашивал, как Вы поведете себя, узнав о моем аресте. Я почему-то был уверен, что это Вас не испугает. Рад, что не ошибся. У меня в то время, как Вы знаете, бывало много народу, что и мешало нам поговорить по интересующим Вас вопросам.

Ваши замыслы я помню и рад, что Вы от них не отступились, а что встретилось равнодушие и индифферентизм, то это Вас пусть не смущает. Еще не было случая, чтобы новое — будь оно большое или малое — встречалось в обществе овациями. Работайте, и если дело живое, а не надуманное, успех обязательно придет. <...> О себе ничего не пишу — это Вы узнаете у Зинаиды Михайловны. Обнимаю Вас, мой молодой друг, желаю Вам больших успехов в искусстве и в жизни. Ваш П. Г.»

«Черняховск. 13.08.70 г.

Дорогой Игорь! Вы прямо святой. Я Вам доставил своим обещанием помощи одни сплошные неприятности, а Вы пишете: «Очень и очень сожалею, что нашим планам в отношении совместной работы так и не пришлось осуществиться». Я сожалею совершенно о другом, о том, что взялся помогать своими по сути ничтожными кибернетическими познаниями. У Вас специальность, масса материала и добрая половина готовой работы. Вы вполне могли бы обойтись без меня. И я, держа Ваши материалы и литературу у себя, фактически тормозил Вашу

работу. Да и не знаю, все ли вернулось к Вам. Ведь у меня забирали все написанное на машинке или от руки и ничего не вернули. Все подшили в 25 томов, даже не читая. Подшили все газетные и журнальные вырезки. Так что я даже не знаю, не попали ли туда и Ваши. Я из-за этого очень казнился. Сам себя клял: «Вот так помог диссертанту⁴⁶». Вы хоть напишите, нет ли у Вас невосполнимых потерь. Я очень об этом беспокоился. Да и до сих пор беспокоен. Но вот после этого покаяния стало чуть полегче. Но на мой вопрос все же ответьте.

До Ваших журналов еще не добрался. Думаю в субботу ими заняться. Когда прочту, напишу о своих впечатлениях. Невероятно благодарен Вам и за выписку из философских рукописей Маркса и за копию его письма в Нью-Йорк. С Вашими выводами по цитате из философских рукописей согласен. По Вашему письму вижу, что Вы всерьез занялись Марксом. Я тоже сейчас переключился на него. Читаю «Капитал». Обнаруживаю много нового, мимо чего раньше проходил, не замечая. Кое-что написал по этому поводу в письме З. М., попросите ее показать. Вот так, дорогой Вы мне человек! Возьмите Вы себя в руки. Перестаньте быть диагностом для самого себя. Отдохните-ка как следует, а потом вспомните письмо Маркса в Нью-Йорк и приложите высказанное там к себе. Я верю в Вас, поверьте и Вы. Людям нужен Ваш труд. И ей-богу для них стоит работать, несмотря на все их недостатки и пороки. Крепко Вас обнимаю. Верю, что мы вместе еще поработаем, но не над кандидатской, а над докторской. Жму руку. П. Г.»

И сегодня без волнения не могу читать эти строки. Собственно, именно через письма узнавал я тогда Григоренко-человека, словно метеор, вспыхнувшего за год до того на моем небосклоне, но тут же и исчезнувшего (а по-настоящему, пожалуй, открывшегося мне лишь много лет спустя в своих эпохальных мемуарах). А ведь

⁴⁶ Это, разумеется, для цензуры.

корреспондентов, как я, было у него, пожалуй, не один и не два десятка. И для каждого умел он найти свои проникновенные слова и свой выдаваемый в так называемые «дни писем» нормированный листок бумаги.

Эти вырванные из школьной тетрадки или блокнота разнокалиберные четвертушки и полулистки с непременно порядковым номером в правом верхнем углу (дабы администрации труднее было «заиграть» какой-то из них), исписанные его твердым, без помарок, почерком — сплошь, без полей и зазоров между строчками, заслуживают, наверное, особого упоминания. Ведь ему приходилось беречь буквально каждый сантиметр писчей поверхности. Вроде бы не разбежишься мыслью в этих плотных бумажных тисках. Однако я порою настолько забывал, что разговор между нами ведется не на равных и что за окном у моего адресата не дома и деревья, а «небо в клеточку», что даже отваживался иной раз на совершенно неприемлемые в тамошних условиях медицинские советы, за которые мне теперь немножечко стыдно. Но ни слова жалоб и сетований не прорывалось у него в эту непринужденную, живую беседу, которую он с присущим ему юмором умел вести, забывая об окружающем и весь отдаваясь бесконечно ценимой им «роскоши человеческого общения».

* * *

Однако мне пора вернуться к своей рукописи, история которой еще не закончена. Казалось бы, дом Зинаиды Михайловны, где не успевали закрываться двери, впуская и выпуская знакомых и друзей из ее обширного диссидентского круга, открывал передо мной неограниченные возможности. Ведь сюда не только стекался циркулировавший по Москве самиздат, но кое-что получало путевку в жизнь именно в этих стенах, подхваченное и размноженное неведомыми мне руками.

Но не тут-то было. Очень скоро я обнаружил, что интересы за-всегдаев дома лежат совсем в другой плоскости и что моя критика режима «слева», все эти перипетии внутривластной борьбы, троцкистская и бухаринская оппозиция для большинства вчерашний и скучный день. Да, конечно, диссиденты-шестидесятники никогда не представляли собой однородной массы, что особенно вы-явилось в постперестроечные годы. Но те, с кем свела меня судьба, исповедовали к тому времени преимущественно либеральные цен-ности, а социализм, тревогой за судьбу которого проникнута была моя рукопись, представлялся им отыгранной картой. Многие из них, когда открылась такая возможность, вскоре и покинули стра-ну, кое-кто даже без сожаления, бесповоротно связав свою жизнь с западным миром.

Парадокс заключался в том, что я по-прежнему оставался в одиночестве, теперь уже в диссидентском окружении, что и по-служило поводом для утешительных фраз в письме Григоренко. Вместе с тем я чувствовал, что работа моя нужна, но не здесь, в эпи-центре боев за свободный выезд из страны и против расправ с ина-комыслящими, а там, где живут другими заботами и где страдают скорее от милицейского произвола, чем от гебистских преследова-ний. Да и своими читателями я видел не тех, кто внутренне порвал с режимом (этим открывать глаза было уже не на что), а тех, кто, не-смотря ни на что, связывает свои надежды на будущее с советским общественным строем.

Но как же мне до них дотянуться, как вырваться из этого своего заколдованного вакуума? Временами у меня даже возникала шаль-ная мысль — что если рассылать рукопись по почте? Кому? Да, веро-ятно, тем, от кого в этом мире что-то зависит. И все чаще обращался я мысленным взором к так называемому среднему руководящему звену — директорам заводов, совхозов, секретарям райкомов, сло-вом, людям практического дела, отвечающим за стол и кров совет-

ских людей, за их каждодневное жизненное благополучие. Ведь их-то в первую очередь не должен устраивать существующий порядок вещей. Что думают, что чувствуют они наедине с собой, в особенности те, кого не успела еще растлить и подмять под себя система? Чем оправдывают ее антигуманную теневую изнанку?

В свое время в ходе нашей беседы Григоренко обратил мое внимание на философскую категорию отчуждения, сыгравшую такую большую роль в становлении молодого Маркса. И вот теперь, с каждым днем все яснее, виделось мне, как это отчуждение проникло весь наш общественный организм, только уже в несопоставимых с временами Маркса размерах. Отчуждение избираемых («слуг народа») от избирателей. Отчуждение партийной верхушки от рядовых коммунистов. Отчуждение общегосударственной собственности от народа, чьими руками она создана. Наконец, тотальное отчуждение государства от интересов и нужд отдельного человека, которому, по идее, оно призвано быть защитой и опорой.

Но все это были, так сказать, «литературные мечтания», пока в моем активе имелась всего одна закладка — пять считанных экземпляров, собственноручно отпечатанных мной на разбитом стареньком «Ремингтоне». А чтобы отправить книгу в свободное плавание, требовалось в пять или в десять раз больше. И поскольку самиздат ничего в этом плане мне не сулил, оставалось самому идти на поклон к машинисткам.

Первая машинистка... Сколько посвящено ей строк в стихах и прозе с самого момента возникновения этой профессии и вплоть до ее недавней кончины. У меня тоже была первая машинистка, имя которой я не забыл и по сей день. Звали ее Надя Емелькина, и была она то ли подругой, то ли гражданской женой известного в те годы функционера правозащитного движения Виктора Красина. Лет двадцати-двадцати двух, строгая, бледная, с гладко зачесанными волосами, она была бы, пожалуй, очень хороша собой, если б не об-

ращенный куда-то мимо собеседника неподвижный неживой глаз. Не знаю, что явилось причиной этого несчастья, но, вероятно, оно сказалось как-то на ее характере. По крайней мере, ее здоровый глаз всякий раз закипал нетерпеливым раздражением, стоило мне заикнуться об ускорении процесса печатанья или о том, чтобы проверить на нечаянные ошибки еще не вынутую из каретки страницу. Мне же не оставалось ничего другого, как заключить, что работа моя не имеет для нее никакого интереса и что выполняет она ее только в порядке одолженья. А, между тем, она брала с меня плату по таксе, как за какую-нибудь диссертацию, и это было особенно обидно.

Грешно, вероятно, мне бросить теперь в нее камень: ведь в это самое время она, быть может до глубокой ночи, перепечатывала пухлую «Хронику», и на что-то другое ее действительно не хватало. Но ведь и я старался не для себя, однако это ее, очевидно, нисколько не занимало.

Однажды Надя предложила мне написать аннотацию к моей рукописи для очередного выпуска «Хроники». Она появилась в 8-м ее номере, в разделе «Новости самиздата», и то был, пожалуй, единственный материальный след, который оставила эта вещь в самиздатовской памяти. Потому что приносимые мной в дом Зинаиды Михайловны машинописные копии на тонких папиросных листках, по десяти в каждой закладке, бесследно исчезали в общем котле, не оставляя по себе даже слабого отклика.

Ах, если бы был Петр Григорьевич, все могло бы сложиться по-иному. Но он был почти что на другой планете, и трудно было от решиться от мысли, каким тяжелым катком прошелся по мне его арест. А вот что по этому поводу много лет спустя, уже из своего эмигрантского далека, писал он сам:

«Все время, пока я жил и боролся в Советском Союзе, я не уставал поражаться чуду народного творчества — «Самиздату». Ка-

ких-то пять-шесть машинописных копий, вышедших от автора, превращаются в сотни и тысячи экземпляров, каждый из которых читается множеством людей. Никогда я не мог понять также, почему одно произведение сразу вспыхивает ярким пламенем, но потом довольно быстро угасает, а другое как бы разгорается потихонечку, но потом многие годы не сходит со сцены.

Но бывают и такие произведения, которые автор настойчиво толкает в свет. Несколько раз печатает и распространяет, а оно бесследно исчезает. И это было бы понятно, если бы такое происходило только с произведениями бесталанными. Но очень часто исчезают бесспорно талантливые творения. «Самиздат» их почему-то не принимает». ⁴⁷

Опять-таки не названы ни произведение, ни автор, дабы не навредить. И доказательств у меня, в сущности, никаких. И все же ни минуты не сомневаюсь, о ком именно говорится в этих строках.

Были после Надиной распечатки еще две или три закладки, выполненные уже другими машинистками, которые я так же исправно передавал в руки Зинаиды Михайловны, все еще надеясь вдохнуть жизнь в свое детище, пока не решился, наконец, поставить в этом деле бесповоротную точку. Как оказалось, преждевременно.

Однажды осенью 1970 года во время большого и шумного застолья в доме Григоренко (кажется, отмечался совпадающий день рождения Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны) моим соседом по столу оказался Петя Якир, который в перерыве между двумя тостами поведал мне, что экземпляр моей рукописи с недавних пор находится в КГБ и что попал он туда из Калинина (так называлась в ту пору Тверь) после проведенного там у кого-то обыска. Конечно, он хотел меня как-то предостеречь, однако эта новость оставила

⁴⁷ П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 594.

меня совершенно равнодушным. В конце концов, все самиздатовские материалы рано или поздно ложатся на стол этого ведомства. К тому же работа не подписана, а о ее авторстве знает лишь самый узкий круг, так есть ли о чем беспокоиться?

А между тем беспокоиться было надо. Хотя очевидным это сделалось и не сразу, а лишь время спустя, точнее — после ареста самого Якира и последовавших за тем событий.

О Петре Ивановиче Якире у Григоренко сказано следующее: «...Его энергия, ум, инициатива, любовь и уважение к людям, общительность, терпимость и имя сыграли огромную роль в развитии правозащиты, привлекли массу не только москвичей к борьбе с беззаконием и произволом. Имя его было известно по всему Союзу и везде оно звало к отстаиванию человеческого достоинства».⁴⁸ То есть в диссидентском движении это была, бесспорно, знаковая фигура, и его арест в июне 1972 года всколыхнул чуть не всю Москву. Но еще больше заставил он говорить о себе, когда по городу поползли слухи, будто Якир и арестованный вслед за ним Красин раскаиваются в своей правозащитной деятельности и активно сотрудничают со следствием, давая показания на бывших своих сподвижников.

Для большинства правозащитников это было как шок. Люди, на которых многие едва не молились (в основном, конечно, на Якира), теперь сами обращались к ним из Лефортовской тюрьмы с письменными призывами разоружиться и порвать с прошлым, отказавшись, в том числе, и от выпуска столь ненавистной властям «Хроники». Одна такая «ксива» была доставлена с нарочным на квартиру Андрея Дмитриевича Сахарова. «В начале 1973 года», — говорится в его «Воспоминаниях», — смущающийся лейтенант КГБ принес

⁴⁸ П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 677.

мне домой личное письмо Якира из следственной тюрьмы — небывалая вещь в СССР. Оно было написано в таком тоне, как будто мы с ним старые знакомые, и содержало ту же идею — каждый мой шаг никого не защищает, а губит многих».⁴⁹

Но еще большим ударом падение Якира стало для близких ему людей, знавших, конечно, и о его эмоциональной неустойчивости, и о пагубном пристрастии к алкоголю, и о том, какой незаживающий след оставило в нем 17-летнее пребывание в сталинских лагерях, куда он попал еще 14-летним мальчишкой сразу после ареста своего знаменитого отца. «Сильное угнетающее воздействие, — говорится у Григоренко, — произвело «раскаianie» Якира. А к Петру Якиру я относился именно как к сыну. К любимому сыну. И он ко мне относился по-сыновьи. Последние полгода перед моим арестом редкий день проходил, чтобы мы не виделись. Было от чего взвыть. Думаю, что даже в «раскаianии» у человека должна быть черта, которую перешагивать нельзя. Петр ее перешагнул».⁵⁰

Разумеется, к числу «близких» я причислить себя не мог, хотя, бывая в доме Зинаиды Михайловны, находился в курсе событий, но воспринимал их как бы чуть-чуть отстраненно. Может потому, что свою собственную страницу на самиздатовском поприще счи-

⁴⁹ Здесь следует заметить, что, несмотря на шапочное знакомство, Андрей Дмитриевич все-таки сделал все от него зависящее для вызволения товарища по общему делу. С этой целью он записался на прием к бывшему своему начальнику по Арзамасу-16 — министру и члену ЦК КПСС Е. П. Славскому, состоявшему в дружеских отношениях с отцом Якира еще со времен гражданской войны и службы в 1-й конной армии. Но предугадать результат визита было не трудно. «Раз вы хлопчете об этом человеке, то он, наверное, такой же антисоветчик, как и вы», заявил испытанный партийный боец и наотрез отказался принять участие в судьбе сына «собрата по оружию». (А. Д. Сахаров. Воспоминания. т. 1. 1996. С. 514–522).

⁵⁰ П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 727–728.

тал давно перевернутой и драму, разыгрывавшуюся вокруг Якира и Красина, на себя лично не проецировал. Пока однажды в конце апреля 1973 года у меня дома не раздался телефонный звонок.

Звонил мой знакомый физик, устроивший мне когда-то через своего коллегу встречу с Петром Ионовичем. Ничего не объясняя он попросил меня приехать. Там меня уже поджидал мой «Вергилий» — Саша Каплан, тот самый, что четыре года назад сопровождал меня на квартиру у метро Автозаводская, а сейчас только что вернувшийся с Лубянки, куда его вызывали по делу Якира, и чем-то явно взволнованный.

Мы устроились по обычаю москвичей вокруг придвинутого к окну кухонного стола, и Саша приступил к своему рассказу. В раскрытое окно вливался весенний, совсем не городской воздух, доносилось звонкое воробьиное чириканье, лучи заходящего солнца догорали на соседних крышах. И все эти звуки и краски невольно возвращали меня в тот далекий апрельский день, так похожий и не похожий на сегодняшний, когда я, счастливый и окрыленный, звонил Петру Григорьевичу из автомата на Лермонтовской площади, не думая, не гадая, чем это может когда-нибудь обернуться.

А рассказ, увы, имел самое непосредственное отношение к моей персоне, ради чего Каплана отчасти, может быть, и вызывали на Лубянку. Хотя допрос был обставлен по-хитрому. Разговор поначалу вертелся вокруг одного Якира, с которым Саша практически почти уже не общался, ушел в науку, защитил диссертацию, о чем на Лубянке не знать, конечно, не могли, хотя старых грехов ему и не простили.⁵¹ А потом хозяин кабинета вдруг встал и вышел, оставив на столе какую-то рукопись. Это была моя «Трансформация большевизма».

⁵¹ Это выявилось, в частности, во время защиты его кандидатской диссертации, проходившей в Институте радиоэлектроники, в ходе которой соискателю не было задано ни одного вопроса по теме, но зато устроен пристрастный допрос, почему при поступлении в аспирантуру он скрыл свою принадлежность

Не обратить на нее внимания Саша, конечно, не мог, и когда вернувшийся следователь заметил этот его интерес, то, как кошка на мягких лапах, вкрадчиво спросил: «Ну как, узнаете эту вещь?» «Первый раз вижу», — невозмутимо отвечал тот. «А вот здесь, Александр Ефимович, вы говорите неправду. Не знать ее вы не можете». Но Саша, обладавший уже опытом общения с органами, хладнокровно парировал: «Ну, если вам известно лучше меня, что я знаю и чего не знаю, то незачем было меня сюда приглашать».

— Бесспорно одно, — резюмировал он свой рассказ, — они ищут второго свидетеля. Показания Якира у них, очевидно, уже есть. Но для доказательства авторства нужен еще один человек. Иначе суд этого дела просто не примет.

Таковы в то незаконное время были правила игры, которые власти старались все же не нарушать. В общем, выходило, что до

к комсомолу (состоять в котором по возрасту ему оставалось не больше полугода). В результате соответствующим образом подготовленный ученый совет благополучно его забаллотировал. Но история на этом не кончилась. Согласно существующему обычаю диссертант получал на руки стенограмму заседания ученого совета, чтобы проверить ее на ошибки специального характера. И, получив эту стенограмму, Каплан снял с нее копию, а затем через друзей передал ее академику М. А. Леонтовичу — одному из патриархов советской теоретической физики, снискавшему себе славу своей научной бескомпромиссностью. Дальнейшее известно со слов свидетелей, наблюдавших сцену объяснения Леонтовича с директором ИРЭ Котельниковым в кулуарах заседания Академии наук. Михаил Александрович поинтересовался, почему это в его институте заваливают диссертации не по научным мотивам, на что Котельников невозмутимо отвечал, что такого у них не было и быть не может и что Леонтовича, видимо, ввели в заблуждение. И тогда Михаил Александрович извлек из кармана ту самую стенограмму. Что было дальше, никто в точности не слышал, потому что оба отошли к окну и разговор пошел на повышенных тонах. В конечном итоге, Котельников все же дал задний ход, в особенности, когда в дело вмешался еще и П. Л. Капица, и предложил Каплану повторить защиту, сославшись на какие-то процедурные нарушения. Однако от барской милости Саша отказался и спустя несколько месяцев успешно защитился в Институте радиофизики (г. Горький).

тех пор, пока у КГБ нет второго свидетеля, я могу быть более или менее спокоен. Но спокойным я себя, конечно, не чувствовал, в особенности после того, как спустя несколько дней получил еще один тревожный сигнал, но уже совсем с другой стороны.

Однажды, когда меня не было дома, к моей жене зашла жившая над нами старушка-соседка и под большим секретом сообщила, что накануне к ней приходили двое и, предъявив всем известные красные книжечки, стали выспрашивать подробности, касающиеся опять-таки моей персоны. А напоследок строго предупредили о полной конфиденциальности своего визита. Но пуганая-перепуганная соседка, пережившая 37-й год и аресты родных, промаявшись ночь, все же не выдержала и решила рассказать обо всем моей жене.

На этот раз Саша отреагировал мгновенно и, с полунамека поняв по телефону, о чем речь, через полчаса был уже у меня. К новому «звоночку» он отнесся с гораздо большей серьезностью, а кроме того, привез дурную для меня весть: арестована Надя Емелькина. Говорили, будто бы посадила она себя сама: вышла на улицу с каким-то самодельным плакатиком, чтобы разделить судьбу любимого человека. Теперь в распоряжении органов был еще один потенциальный свидетель, и весь вопрос состоял в том, как поведет она себя на следствии.

Круг сужался, и пора было, вероятно, и мне обдумать стратегию своего собственного поведения. И прежде всего — убрать из дома весь самиздат, что в разное время передала мне на хранение Зинаида Михайловна, и все мои машинописные копии вместе с пишущей машинкой, на которой они были отпечатаны. Пришлось в этой связи что-то придумывать и сочинять для родителей.

Но все это были семечки, тревожило другое. Дело в том, что к аресту я не был готов не только психологически, но и физически. И имея за плечами несколько больниц, следовавших невдалеке одна от другой, я не мог не думать о том, чем может обернуться для

меня тюремный режим. Некоторые, в их числе и Каплан, советовали мне на время исчезнуть из города. Логика их была проста. Пока дело Якира не передано в суд, следователи, имея некую серьезную зацепку, кровно заинтересованы в том, чтобы выявить авторство анонимной рукописи и отрапортовать по начальству. Усердие их будет подогреваться еще и тем, что советский режим всегда был особенно чувствителен к критике «слева», с так называемых «ленинских позиций». Но как только дело будет завершено, а «предъявить» автора следствию не удастся, интерес к рукописи будет сразу утерян (типичная мотивация советских чиновников), и ее поспешат упрятать в какой-нибудь дальний сейф.

Но время шло, миновал и май, а я так ни на что и не решился. Решение за меня приняло Провидение, и острая инфекционная желтуха, разом разрешившая все мои проблемы, упрятала меня на три месяца в Боткинскую больницу. В ту самую, кстати, Боткинскую, откуда я два года назад с увлечением писал Петру Григорьевичу пространные письма-эссе со своими дилетантскими социологическими наблюдениями и портретами соседей по палате.

Но теперь мне было не до писем. Никогда в жизни не видел я еще столько смертей, как в этом желтушном отделении. И хотя чаша сия меня миновала, но чувствовал я себя прескверно, не будучи в силах дойти даже до телевизора в конце коридора, где из вечера в вечер, две недели подряд, показывали премьеру знаменитых «Семнадцать мгновений весны», и потому с полной безучастностью слушал толки соседей по палате, возбужденных очередной серией. А ничего не говорящие мне имена Штирлица, Мюллера или пастора Шлака занимали меня не больше, чем солнце или дождь за больничным окном.

Трижды успел смениться состав больных в отделении, когда на самом излете августа подошел, наконец, и мой черед. О суде над Якиром и Красиным я узнал уже дома, видел по телевизору и ту

самую пресс-конференцию, где они публично отреклись от своей правозащитной деятельности. Впрочем, слово, данное на следствии, власти сдержали: они в самом деле отделались фантастически легким приговором (годовой ссылкой), вынесенным в обмен на их «раскаяние». Мною же, пока я лежал в больнице, никто в открытую больше не интересовался. Была ли тому причиной болезнь или что другое, так и осталось невыясненным. Быть может, я и в самом деле «исчез» для органов, а, может, стал слишком трудно для них доступен и, как та овчинка, не стоил выделки. И лишь одно мне известно наверное — что Надя Емелькина меня не выдала. И это мне зарубка на память, должно быть, до конца дней.

* * *

Медленно, очень медленно возвращался я к нормальной жизни, словно просыпаясь от долгого и трудного сна. А когда более или менее пришел в себя, то вспомнил про убранный из дома под угрозой ареста самиздат. Теперь, когда эта угроза миновала, его можно было возвращать без опаски. Но не все, к сожалению, удалось получить обратно. Кое-что пропало с концами, в том числе и «Технология власти» Авторханова, которой было особенно жаль. А из машинописных копий моей собственной работы уцелел лишь один-единственный экземпляр.

Долгие годы хранил я его как память, но ни разу в него не заглядывал. Но не потому, что утратил интерес к этой стороне нашей истории. Просто со временем всплыли наружу такие подробности, о которых тогда, в конце 1960-х годов, могли знать лишь особо доверенные историки, имевшие доступ в спецхран либо знакомые с западными источниками. Рухнул тщательно приукрашиваемый и подновляемый фасад, и взорам открылся беспросветный мрачный задник. Так что никаких иллюзий в отношении Ленина и его

окружения у меня уже не осталось. И хотя даже Авторханов проводит в своей книге некую грань между Лениным и Сталиным, считая первого в любом случае революционером, второго же обычным паханом, я такой грани, честно говоря, не вижу. Просто каждый из них выполнял свою часть работы, и то, что не успел первый, довершил за него второй. Так что расхожая во времена «культы» формула «Сталин это Ленин сегодня» отнюдь не лишена смысла.

Многое пересмотрел под конец своей жизни и Григоренко, что видно хотя бы из написанных им в эмиграции мемуаров. Но это вовсе не эластичность взглядов, которой грешат в наши дни некоторые из бывших шестидесятников, а необычайная, в чем-то сродни детской, открытость всему новому, что несет нам жизнь, и уже совсем не детская способность ее переосмысливать, отбрасывая порой даже то, что успело срастись с твоим естеством. И самый, может быть, главный вывод сформулирован им на последних страницах его итоговой книги:

«Власть, родившаяся в подполье и вышедшая из него, любит в темноте творить свои черные дела. Но мы теперь знаем твердо, что В ПОДПОЛЬЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТОЛЬКО КРЫС. Из подполья вышли крысы, которые захватили власть над людьми. В подполье растится культура еще более страшных грызунов. И как бы они ни назывались — «красными бригадами», «ирландской армией», «ЭДА», «черный сентябрь» или еще как — это крысы, с которыми человечество сосуществовать не может. Крысы добились изгнания меня с Родины, как до того изгнали Солженицына, Чалидзе, Максимова, а после Ростроповича, Вишневскую, Рабина... Но будущего у крыс нет. Мы вернемся на Родину и увидим освобожденный от крысиной напасти народ».⁵²

⁵² П. Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...». Нью-Йорк: издательство «Детинец». 1981. С. 788.

Что же касается меня, то в одном пункте я все-таки остаюсь на прежних своих позициях. Это относится к самой социалистической идее, к возможности реформирования и конвергенции социализма и капитализма, с чем связывал когда-то свои надежды Андрей Дмитриевич Сахаров. Увы, социализм в том виде, как он существовал в Советском Союзе, оказался, по-видимому, неререформируемым в принципе и может быть поэтому потерпел свое сокрушительное поражение. Плоды победы достались капитализму (а поле битвы — мародерам), а победитель, как это всегда и бывает, сумел навязать свои правила игры. Так что на сегодня социализм практически вытеснен с исторической арены. Но вытеснен ли окончательно? И не придет ли час, когда социалистическая идея, система социалистических ценностей окажутся востребованы вновь, но, может быть, в другой, более гибкой и толерантной форме? И, вообще, насколько справедлива аксиома, будто социализм исторически возможен лишь в одной недобро известной миру бесчеловечной советской генерации, и ни в какой другой?

Увы, вопросы эти не столь риторические, как кажется. Потому что разворачивающийся на наших глазах жестокий глобальный кризис заставляет другими глазами взглянуть и на самое «победительницу» — либеральную рыночную систему. Худо-бедно справляясь со своими текущими национальными проблемами, она демонстрирует явную несостоятельность там, где дело доходит до вопросов глобального характера, где требуется умение жертвовать выгодой сегодняшнего дня ради более отдаленной стратегической перспективы. «Горькая правда состоит в том, — пишет в своей книге Ал Гор («Земля на чаше весов», М., 1993), — что наша экономическая система частично слепа. Именно частичная слепота нынешней экономической системы и есть могущественнейшая сила, стоящая за иррациональными решениями, касающимися экологии нашей планеты». А бывший глава Европейского банка

реконструкции и развития Жак Аттали считает, что у демократий, где лидеры не могут позволить себе даже временной непопулярности, могут возникнуть большие проблемы с будущим: «Как же думать о перспективе, если все время сверяться с рейтингом? Неспособность продумать будущее и рискнуть ради него — это отказ от развития».⁵³

Однако вопрос сегодня стоит еще более жестко, и прогрессирующая деградация окружающей среды на фоне удушающей перенаселенности планеты вполне могут в ближайшие полтора-два столетия свести в могилу всю мировую цивилизацию. Сумеет ли «общество потребления», вносящее главный вклад в разрушение окружающей среды, адаптироваться к реалиям экологического вызова? Сумеет ли приноровить к ним систему своих ценностей и приоритетов? А, между тем, в пору суровых испытаний, которые на новом историческом витке предрекает человечеству целый ряд серьезных ученых⁵⁴, иррациональный идеализм, исповедующий примат общественного перед личным, может оказаться ценней и полезней для социума, чем ориентированное на частный интерес прагматическое отношение к действительности. И в этом смысле очищенный от мессианских претензий социализм мог бы, думается, сыграть еще свою роль как фактор духовного обновления и консолидации общества перед лицом глобальной угрозы.

...И по сей день ощущаю неуютную пустоту, оттого что не могу поделиться этими мыслями с Петром Григорьевичем, не могу спросить, что думает он по этому или другому поводу. Да и не вижу, если честно, людей, которых волновали бы сегодня подобного рода

⁵³ Цитируется по [Д. Сабов Политический джентльмен // Еврейская газета. Берлин. 2007. № 3].

⁵⁴ Подробнее об этом см. В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев, И. Е. Рейф. Перед главным вызовом цивилизации. М.: Инфра-М. 2005.

материи и кто бы, как он, принимал близко к сердцу чужие беды и проблемы, ни лично, ни профессионально их не затрагивающие. Может, потому так «удобно» было с ним психиатрам, мерившим его на свой привычный аршин, куда не укладывались ни его участие в судьбе крымских татар (о чьем существовании они, должно быть, только и узнали из дела своего подопечного), ни его донкихотская попытка предупредить А. Дубчека об угрозе советского вторжения в Чехословакию, ни озабоченность — на раннем этапе его «диссидентской карьеры» — искажением ленинских принципов в партии и государстве (когда на то есть специальный штат партийных идеологов и целые научные институты). Словом, не укладывался самый масштаб его личности, которой было тесно в прокрустовом ложе так называемого здравого житейского смысла.

Когда в июне 1991 года в Москве бурлили страсти вокруг выборов первого президента РСФСР, из Нью-Йорка позвонила Зинаида Михайловна, пристально следившая за всем, что происходит в ее родном отечестве. К тому моменту Петра Григорьевича уже четыре года как не было в живых. Но на вопрос, кого бы ей хотелось видеть президентом Российской Федерации, она прокричала в трубку: «Только моего Петро». Мы с женой переглянулись: блажит, мол, старуха. Но спустя немного, не стовариваясь, подумали: а почему бы и нет? Ведь это и в самом деле был его уровень, а лучшей кандидатуры, пожалуй, трудно и придумать. Однако по зрелом размышлении все же пришли к выводу: нет, не смог бы генерал Григоренко стать профессиональным политиком. Для этого ему не хватало лишь одной «малости» — он не умел думать одно, делать другое, а говорить третье. И люди менее совестливые и, как говорят, прожженные обошли, обвели, обставили бы его на первом же крутом повороте и выдавили бы в конце концов с политического игрового поля.

Постскриптум

В конце 1990-х годов, перед отъездом в Германию, мне пришлось заняться приведением в порядок семейного архива. Переезд и ремонт — два «стихийных бедствия», которые поневоле заставляют нас разбираться в бумажной завали, потому что хранить, как известно, проще, чем решиться что-нибудь выбросить. Дошла очередь и до знакомой голубенькой папки с листками полураспльившейся, со следами подтирок и подчисток, машинописи. Везти ее или оставить? Но уже решив, было, не везти, почувствовал, как что-то шевельнулось в груди. А, может быть, она кому-нибудь еще интересна? Хотя бы как реликт безвозвратно канувших шестидесятых. И тогда я снял трубку и позвонил Инне Андреевне Щекотовой, сотруднице общественного Центра им. А. Д. Сахарова, с которой был немножко знаком и чья доброжелательность и сердечность стали для меня как бы визитной карточкой этого коллектива.

«Живому» самиздату 30-летней давности Инна Андреевна обрадовалась и сказала, что они с удовольствием ее у меня заберут. Только попросила написать коротенький, в две странички, комментарий: предысторию, обстоятельства создания, сведения об авторе и т. д. Я пообещал и с этим уехал. Однако руки все не доходили: не умею я писать коротко, да и как уместить на двух страничках целый драматический кусок жизни. А ведь только через жизнь и можно, наверное, понять содержимое этой папки. И тогда я решил писать без оглядки на внешние рамки и ограничения, писать как получится. Вот так и родилась на свет эта история — то ли комментарий к самиздатовской рукописи, то ли к отчеркнутым ею годам и частным к ее судьбе людям.

2006–2007 гг.
Франкфурт-на-Майне

Из писем П. Г. Григоренко из Черняховской спецпсихбольницы

Черняховск 15.07.71 г.

Дорогой Игорь!

Письмо Ваше получил 12 июня. Шло не так уж долго — всего шестнадцать дней. Могут, конечно, найтись остряки, которые скажут, что и конная почта за такой срок доставляла корреспонденцию, даже на более далекие расстояния. А если на конверте был штамп «аллюр три креста», то могла доставить на такое расстояние в 2,5 раза быстрее. Но эти остряки просто не понимают сути технического прогресса. И поскольку Вы к таким непонимающим не принадлежите, я эту суть разъяснять не буду. Скажу просто, что письму Вашему очень и очень рад. Ваши письма для меня просто как окно в иной мир. Я ни с чем, ни с одним Вашим выводом и наблюдением не могу спорить. Они покоряют меня своей убедительностью и логической последовательностью. С этим письмом я снова перечитал два предыдущих и вижу, может это и не запрограммировано было, но получилось единое, связное. Один только провал — неполученное мною письмо о завмаге, как я считал, о завлабе, как я теперь понял из Вашего разъяснения. Этого письма явно не хватает. Ну прямо как листы, вырванные из книги. Жду, не дождусь встречи с Вами. Надеюсь, что если не в записи, то в устном изложении Вы восполните провал от потери того письма. Не знаю, где застанет Вас эта моя весточка. Если в больнице, то я желаю Вам наискорейшего (но без спешки) излечения. Если же дома, то здоровья и работоспособности Вам, дорогой друг.

*Крепко обнимаю,
глубоко уважающий и любящий Вас П. Г.*

Черняховск 19.08.71 г.

Дорогой Игорь!

Вчера получил Ваше, как Вы его называете, последнее письмо из «Боткинского цикла»⁵⁵. Получение писем от Вас для меня всегда очень большая радость, но не потому, что Вы всегда очень умно и тонко, мимоходом, так сказать, преподнесите мне комплименты (в этом письме Вы это сделали дважды). Нет, я люблю их за саму суть, за содержание. Мы по-разному смотрим на одни и те же явления. Если придерживаться Вашей терминологии, то я, как и описанный Вами С., прагматик. Вы же, пожалуй, более теоретик. И я всегда радуюсь, когда выясняется, что об одном и том же явлении суждения наши аналогичны.

Вот и сейчас, читаю Ваши суждения в связи с гибелью трех космонавтов и с удовлетворением отмечаю, что наши суждения почти полностью совпадают. По горячим следам я написал об этом событии З. М. Попросите у нее это письмо, почитайте и убедитесь, что это так. Я, как и Вы, захватил сообщение не с начала. Я тоже услышал о перенесении приборов. Но дальше немного не так. Сработал мой «прагматизм». Я с первых слов понял, что стряслась непоправимая беда, и все слова пошли мимо меня. Я ждал только одних слов — «погибли» — и я их дождался, правда, в той необычной форме, о которой Вы писали уже. Почему моя реакция была такой? Я очень долго работал в науке. Притом более пяти лет в кибернетике. И меня нельзя сбить с толку фанфарно-триумфальной формой. У меня перед глазами всегда будни науки. Я почти осязаю тот волосок, на котором держится каждый космический эксперимент и связанные с ним жизни подвижников науки. Во время любого такого эксперимента я нахожусь в состоянии тревоги от его начала до

⁵⁵ Письма писались из больницы им. Боткина (здесь и далее примечания публикатора).

полного завершения. Телепередачи из космоса я тоже смотрел всегда с чувством восхищения смешанным с тревогой. Именно поэтому тяжелое горе, постигшее весь мир (я подчеркиваю это) неожиданным для меня не было. Хотя тяжесть утраты от этого, к сожалению, не становится меньшей.

Дорогой Игорь, мне хотелось бы написать Вам очень много, но к сожалению у меня нет такой возможности (материально — бумаги). Бумага заканчивается, а я не успел высказать своих замечаний даже по половине намеченных мною вопросов. Ничего не поделаешь, надо кончать. Если ничто не помешает, продолжу в следующий день писем, т. е. 24.8. Обнимаю Вас, желаю здоровья. П. Г.

Черняховск 24.08.71 г.

Дорогой Игорь!

Хочу надеяться, что мое письмо от 19.8 Вами уже получено, а потому я начинаю прямо с того, на чем остановился, т. е. продолжаю отдельные замечания по Вашему письму.

Несколько слов по поводу того, что Вы, следуя Твардовскому, называете извечным спором — кому было тяжелее, тем, кто был непосредственно на фронте, или тем, кто ковал победу в тылу. С моей точки зрения такой спор надуман. В современной войне фронт без тыла ничто, фикция. На день его не хватит без тыла. Правда, на фронте, в боевых порядках, я имею ввиду по крайней мере в минувшую войну, для жизни было опаснее, чем в тылу, даже в районах, подвергавшихся воздушным бомбардировкам. Фронтвики, особенно пехота, переносили и ряд бытовых невзгод, которых в тылу обычно переносить не приходится. Но на фронте не голодали, а это немаловажный фактор. Когда я впервые попал в московский тыл и увидел «рабочий класс», который для работы на верстаке (у станка) должен предварительно сделать себе подмости, когда я увидел

этаких рабочих у кассы столовой просящих: «тетенька, выбей еще одни щи, пожалуйста, я есть хочу», а эти щи даже помоями назвать нельзя (мутная водичка, которую на фронте никто не стал бы есть), то у меня сердце кровью облилось и мне захотелось как можно скорее на фронт вернуться. Там такого, по крайней мере, не увидишь.

Конечно, Ваш С. питался не так, как эти дети. Но зато он ежедневно видел это. А еще не известно что тяжелее для честного человека: мучиться самому или смотреть на мучения других и не иметь возможности ничем помочь. Но и это не все. Есть еще моральная сторона. Честный человек, находясь в тылу, чувствует постоянное угрызение совести. Я все это испытал на себе. Я очень долго добивался отправки на фронт. И, попав туда, по-настоящему почувствовал себя выполнившим свой долг. Ни тяжелое ранение, ни контузия никогда не заставили меня раскаиваться в том, что я добился фронта. А если бы мне это не удалось, я, наверное, до сегодняшнего дня чувствовал бы ущербность и морально переживал бы. А почему, собственно говоря? Разве те, кто в тылу, сделали меньше моего для победы? Ведь кто-то мои обязанности выполнял, хотя ему, может, больше моего хотелось на фронт. Нет, спор подобный в настоящее время не только бессмыслен, но и вреден. В современной войне победа останется за более высокой организованностью. А высокая организованность предполагает, чтобы каждый вложил всего себя на том месте, куда его поставили.

Я не согласен, что одна палата — узкий горизонт. Нет, пожалуй, в такой именно обстановке можно заглянуть поглубже. Конечно, если смотрящий смотреть умеет. По-моему, Вы сумели. Я не говорю, что это то же, что и описание палаты раковых больных,⁵⁶ но Вы все же увидели очень много. Я безусловно не сумел бы. На этом, пожа-

⁵⁶ Имеется ввиду ходивший тогда по рукам «Раковый корпус» А. И. Солженицына.

луй, можно бы и закончить, мои замечания. Но Вы, характеризуя последнего из своих соседей, сказали о его отношении к новому искусству. При этом говорите, что здесь его позиции непоколебимы. Так вот я Вам скажу, что это не частность данного характера. Это черта, присущая «прагматикам» моего поколения, которую мы, к несчастью, сумели передать и в поколение. Наша твердость в этом деле объясняется очень просто. Мы, люди науки, организаторы производства, полководцы, создатели нового общества, в области искусств нередко, за неимением времени, остались невеждами. А ведь известно, что самые твердые убеждения имеют самые невежественные люди. Где Вы найдете, например, религиозный фанатизм? Не среди же интеллигенции? Нет, в среде самого темного невежества, самого дремучего, самого непроходимого. Конечно, невежество в области искусств у таких людей, как я и Ваш С., преодолеть проще, чем невежество религиозных фанатиков. Но преодолеть его нужно.

Обнимаю Вас, дорогой. П. Г.

Черняховск 28.03.72 г.

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Знаю заранее, что места для того, чтобы написать Вам хотя бы самое важное из того, что хотелось бы, не хватит, поэтому с самого начала начинаю лепить погуще и заранее предупреждаю, что Вам придется нелегко при чтении из-за отрывочности и прерывчатости текста. Но места мало, и специальных извинений приносить не буду. Перейду прямо к делу, а извинения самые исчерпывающие представьте сами.

Итак, за дело. Ваше письмо полное не только медицинскими советами, но и чувствами добрыми, я получил 23 марта, т. е. в очень

дорогой для нас с З. М. день.⁵⁷ Будучи всегда особенно рад Вашим письмам, я воспринимаю прибытие именно от Вас в такой день столь теплого письма за хорошее предзнаменование. Но прежде чем говорить об этом письме подробнее, я должен поблагодарить Вас за телеграмму «бывшему от небывших» и за бандероль с тремя вырезками из «Нового мира». Все это просто неожиданно великолепно. Но не скрою, самое сильное впечатление на меня произвел Эфроимсон. За одно только обоснование того, что «естественный отбор, шедший с доисторических времен, также не мог не выработать этику, устойчивость к оболванивающей технике..., как он не мог подготовить наш организм к перенесению взрывов водородных бомб», за одно это нельзя не поклониться этому ученому. И, конечно, академик Астауров, давший столь высокую оценку статье Эфроимсона. Правда, я лично не получил от Астаурова ничего, что хоть на миллиметр изменило бы мое собственное впечатление от прочтения «Родословной альтруизма».

Чудесны и стихи Евтушенко. За их присылку я Вам особенно благодарен. Они меня в известной мере помирили с поэтом, которого я, честно скажу, в последние годы не жаловал. Хотя, пожалуй, слова «в последние годы» лишние — просто не жаловал. Эти стихи, как я уже написал, чудесны. Они полны глубокого философского смысла, гражданственны и литературно обработаны в хорошем и своеобразном стиле. Но я почему-то никак не могу понять третье стихотворение (без заголовка). Особенно я становлюсь в тупик перед этим местом: «Я корчусь, но блажен мой смертный крик. Огнем уже оправдан еретик (подчеркнуто мною) ...А если от костра еретика огонь скакнет на крышу бедняка, навеки будет проклято навзрыд все то, за что тот еретик горит». Сколько я ни вчитывался в это мес-

⁵⁷ День начала совместной жизни Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны в марте 1942 года.

то, оно меня убивает возможностью непримиримых разночтений. Это или гениально по Шекспиру, т. е. так, что непонятно современникам, либо подло. О третьей из присланных Вами вырезок писать не буду. К Сухомлинскому мы, кажется, относимся одинаково, поэтому если говорить, то много и глубоко. А если такой возможности, к сожалению, пока что нет, то лучше совсем не говорить.

Теперь о письме. Ну результаты уже имеются. Я писал об этом З. М. и сегодня повторю Вам, что хотя «Мексазе» закончилась вчера в обед, живот мой пока что в порядке. Думаю, что сыграл роль не только этот препарат, но и некоторые из Ваших советов. По-моему, особо рекомендованное Вами йоговское упражнение. Я очень внимательно изучил все Ваши советы. Подавляющее большинство мне известно было ранее и использовались мною в жизни. К сожалению, далеко не все приемлемо для здешних условий. Вернее, не все возможно осуществить. Вы знаете, что истина конкретна. И когда Вы «делите» завтрак на два приема, Вы имеете ввиду конкретный завтрак. А посмотрел бы я на Вас, как бы Вы поделили мой завтрак. Повторяю, я очень серьезно отнесся ко всем советам, но многое выполнить я не смогу. Вы просто не представляете обстановки и поэтому преподносите истину в неконкретной, т. е. неприемлемой для жизни форме.

Чтобы Вы хоть чуть-чуть поняли смысл этого, я отвечу на Ваш вопрос, снимает ли мне нитроглицерин загрудинные боли. Отвечаю: н е з н а ю. Почему? Поясню примером. Представьте себе обычную больницу, в которой кардиологическим больным нитроглицерин не дают, а говорят: если будет плохо, нажмите эту кнопочку. Что получится? Один из больных изведет своими необоснованными вызовами всех сестер. Другой будет вызывать, когда нужно или, может, с некоторым запозданием. А третий, может, и нажмет, теряя сознание (до этого он будет терпеть), но к его несчастью сестры в это время на месте не будут. Так вот я принадлежу к этой третьей

Черняховск 04.05.72 г.

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Получил Ваше письмо непосредственно накануне 1 мая. Очень ему рад. Для меня Ваши письма всегда были дороги, но это особенно. Как Вам написать, что это за письмо? Вы пишете, что у Вас нет ясного представления, что из посланного Вами я получил. Но это Ваша вина. Вы пренебрегаете тем, что у меня написано в правом верхнем углу сего листка. Дату Ваших писем я определяю лишь по почтовому штемпелю. И если конверт затеряется, то можно будет определить, и то лишь по косвенным признакам, что оно написано в 50-х — 60-х или 70-х годах 20-го столетия. Поэтому я Ваши письма регистрирую в своем уме не датами, а имеющими к ним отношение событиями. Данное письмо для меня письмо о Зое. В общем, обо всех, полученных от Вас письмах я сообщал (обязательно) Зин. Мих. и отвечал Вам. Тоже на все, если принять три письма из больницы за одно, поскольку они связаны общей темой. Следовательно, у Вас были все данные для того, чтобы определить, что я получил и чего не получил. Не сердитесь за упрек, это всего лишь справка полезная и на будущее. На этом я закончу справочные вопросы и перейду к ответу на само Ваше письмо.

По поводу сообщения о Зое мне вначале захотелось просто отшутиться. Но так как письма дорогих мне людей я читаю не по одному разу, то вскоре желание шутить у меня прошло. То есть прошло не совсем. Когда я, наконец, окажусь на свободе и увижу Вас с Зоей у себя дома, я обязательно пошучу, не боясь даже осуждения за «плоскошутие», а сейчас поговорю серьезно. Прежде всего, я до самой глубины души тронут тем, что Вы доверились мне в важнейшем жизненном вопросе, что Вы захотели поделиться своей радостью и своими сомнениями именно со мной. Смешно было бы, чтобы Вы при Вашем жизненном опыте нуждались в моих советах, и чтобы я был до сих лет столь неразумен, что счи-

тал бы себя компетентным давать советы в таких вопросах, тем более зная лишь одну сторону. Но поскольку Вы высказали не только свою радость, но и сомнения, я обязан высказать свои суждения, но не по конкретному случаю, а в общетеоретическом, так сказать, плане.

Из всего, что Вы написали по этому поводу, я считаю важным только одно Ваше утверждение: «...в правильности своего выбора я не сомневаюсь нисколько...» Это и только это важно. Что же касается извечного вопроса — за что нас любят и за что мы любим — то на него искать ответ — напрасная работа. Я после десятилетий совместной жизни не знаю, чем я заслужил и любовь, и преданность такой женщины, как моя жена. По-моему, так от меня ничего кроме неприятностей ей не досталось. Теперь о Вашей болезни. На последней странице «Известий» за 1 мая есть фотоочерк «С днем рождения семьи» и в нем следующее место: «На этой фотографии невеста оперлась на руку жениха. Так всегда бывает на свадебных фотографиях. Муж — опора семьи. Но часто хрупкая женская рука оказывается тоже крепкой опорой. Крепкой и, главное, верной. Все зависит от того, как сложится жизнь».

Я, когда создавал семью, ни в чем не сомневался. Я всегда был уверен, что пока я жив, я буду надежной опорой семьи. А как получилось? Не буду объяснять, Вы знаете. Поэтому я не могу посоветовать Вашему сомнению: «...пока оно (нездоровье) вредило мне одному, было еще полбеды. Если же оно станет на пути двоих, не будет ли это хуже для обоих?» А если бы на моем пути стало мое «нездоровье», когда я был бы один? Я думаю, что на этот вопрос Вам легче ответить, чем на свой. Ответьте и сделайте вывод для себя сами. Главное, по-моему, в том, чтобы каждому уже сегодня думать об обоих, а, может, и о большем числе, о семье. Что же касается Вашей болезни, то, извините, я никогда не верил в ее непреодолимость. По-моему, Вам не хватает оптимизма, а не здоровья.

Коротко по другим вопросам... О поэтах и поэзии. Здесь я вынужден в корне не согласиться с Вами. Это, кажется, впервые за время нашего с Вами общения. Впервые, но зато возражение будет очень резким. Вы пишете, что и Пушкину случалось писать «О чем шумите вы народные витии». Да, случалось. Но по этому поводу уместно будет напомнить слова Ленина по поводу ошибок Розы Люксембург, которые меньшевики пытались поставить ей в пику. Ленин писал (цитирую, конечно, по памяти, но за правильность смысловую ручаюсь): «Случается и орлам спускаться ниже кур, но никогда курам не подняться в орлиную высь». Разве можно равнять тех, о ком у нас речь, с Пушкиным?⁵⁹ Рядом с Пушкиным разве Лермонтова поставить. Да еще, быть может, Есенина. А дальше надо будет обратиться не к Пушкину, а к Некрасову, который, по выражению Плеханова, сумел превратить свой небольшой поэтический дар в общественное явление и стал властителем дум всей передовой общественной России. Разбирая стихотворение Некрасова «У парадного подъезда», Плеханов говорит, что оно потрясло многие поколения передовых людей, потрясло несмотря на то, что это не поэзия, а рифмованная проза. Так вот, дорогой Игорь, по Некрасову чаще всего приходится мерить поэтов, ибо большой поэтический дар явление очень редкое. Кроме трех вышеназванных можно, пожалуй, назвать еще трех (рангом пониже): Блок, Маяковский, Пастернак... А дальше все небольшие или даже совсем не поэты, а люди, думающие прозой, а пишущие стихами (выражение Л. Н. Толстого). Хорошие стихи есть и у Щипачева, и у Прокофьева, и даже у Грибачева. Так, может, и их мы начнем сравнивать по лучшим их стихам с Пушкиным? Нет, этого не будет, дорогой Игорь, никогда не будет. Почему я Вам написал о том стихотворении?

⁵⁹ Речь, по-видимому, идет о стихах Евтушенко, на которого в те годы многие возлагали неоправданно большие надежды.

Не потому, что хочу его автора сравнивать с Пушкиным. Нет, я все время думал, тянет ли он к Некрасову. И пришел к заключению: нет, не тянет. Они с Рождественским, кажется, представляют особое явление и в поэзии, и в морали.

Ну вот я и подошел к концу. Но ответ на Ваше письмо не закончил. Постараюсь сделать это в следующий четверг, т. к. во вторник снова будет праздник (9 мая). Обнимаю Вас. Мой поклон Зое. П. Г.

Черняховск 28.12.72 г.

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Письмо Ваше получил 21 декабря, а новогоднее поздравление 25-го. За поздравления и добрые пожелания Вам и Зое огромное спасибо. Насчет одиночества я с Вами согласен на все 100, как говорят. Где-то я читал и слышал (теперь уже не помню) такое: «Каждый человек — это целый мир. И от того, каков человек, зависит то, каким он видит окружающий мир». Текстуально я, наверное, не очень точно передал слышанное или читанное, но смысл точный — в этом я уверен. И этот смысл подтверждает Вашу мысль об одиночестве. Каков мой мир — не мне судить, но во всяком случае одиноким я не буду. Мой Новый год пройдет в кругу семьи и друзей, хотя все они удалены от меня на многие сотни километров. Мои близкие уже сейчас окружили меня плотным кольцом, и столько тепла идет от них. Приходят письма, открытки, фотографии. И во всем этом столько изобретательности и настоящего тепла душ замечательных, что не почувствовать это просто невозможно. Вот и Ваше с Зоей поздравление и прибывшие одновременно с ним от жены, сыновей, друзей растрогали меня, я не стесняюсь признаться в этом, до слез. Читаю, перечитываю, вижу вас всех, живу среди вас.

Теперь о письме. Начну с делового — о тете Зои,⁶⁰ ибо боюсь, что начав с «теории», не сумею оставить место на это. Деловой вопрос — обращаться ли с этой историей к Смирнову.⁶¹ Честно, так мне он не очень нравится. Боюсь, что я к нему не обратился бы. Но с этой историей, по-моему, больше обращаться не к кому. Тут дело обстоит не так просто, как вам с Зоей, может быть, кажется. Попросите З. М. рассказать о ее подруге Гале Скулдыцкой. Ее здорové мужики фактически кинули в плен к немцам. Когда она вернулась, и ей надо было как-то входить в жизнь, она разыскала этих мужиков и попросила, чтобы они подтвердили, что она не просто сдалась в плен. Видимо можно было найти форму, в которой они свидетельствовали бы в ее пользу, но ее так душило все пережитое, а также нынешний вид преуспевающих трусов. что она высказала все, что думает о них. И... помощи не получила. Даже наоборот. Вы спросите, почему? На это отвечу примером. Уже давно у нас шел итальянский фильм «Банда подлецов». Если не видели, попросите З. М. рассказать. Суть там в том, что группа пассажиров автобуса попали в руки к немцам. При этом достойно вел себя только один. Остальные оказались трусами и предателями. Но когда их у не-

⁶⁰ Зайтуны Альбаевой, погибшей в августе 1942 г. на подступах к Сталинграду, в селе Садовое, где она приняла свой последний бой и где взвод девушек-связисток, следивших за приближением вражеских самолетов, был оставлен фактически без прикрытия. Впоследствии около 30 лет Альбаева числилась пропавшей без вести, причем ее бывшие однополчане, в том числе командир и комиссар батальона, пытаясь сложить с себя ответственность, всячески уклонялись от правдивого рассказа об обстоятельствах ее гибели. Подробнее об этом см. [И. Рейф «Последняя высота Зайтуны Альбаевой. Горькие примечания к подвигу» // Газета «Труд» 1997 г. № 84].

⁶¹ С. С. Смирнов, автор книги «Брестская крепость», впервые рассказавший широкому читателю правду о героической ее обороне. За эту книгу автор был удостоен Ленинской премии.

Имеется ввиду предназначавшаяся для самиздата рукопись «Трансформация большевизма», с которой я успел познакомить П. Г. незадолго до его ареста.

мцев отбили, то все самым согласованным образом начали действовать против одного честного. Вы спросите, откуда такая согласованность у людей, которые никогда не встречались? Ответу — их объединила общая подлость. Я не хочу сказать, что кто-то виноват в смерти Зоинной тети. Но нередко поступки человека затормаживает мысль, что могут подумать, будто он виноват. Комбат и комиссар — почему они могут ничего не предпринимать? Да потому, что приказ на отход ведь не был отдан. В этом, может, и не их вина, но пойдя теперь докажи это.

Черняховск 17.04.73 г.

Дорогой Игорь, здравствуйте!

Вчера получил Ваше письмо. Поскольку Вы не имеете привычки ставить дату на письме, то я ссылаюсь на почтовый штемпель Москвы — 4.4.73 г. В последнее время количество моих корреспондентов резко сократилось, поэтому я имею возможность ответить на Ваше письмо немедленно. Прежде всего, не могу не сказать, я ему очень рад. Ваши письма мне особенно интересны, и каждое из них я перечитываю по несколько раз. Отвечать буду в той последовательности вопросов, как Вы их поставили в своем письме.

Начнем с поговорки, всеобщность которой Вы поставили под сомнение. Нет, дорогой Игорь, «лучшее враг хорошего» это один из основных и важнейших законов научного творчества. Да, сопротивление материала есть и в научной работе, но беда в том, что начинающие ученые страдают не от сопротивления материала, а от того, что тонут в материале, плывут туда, куда плывет он помимо их воли. Тот, кто не сможет выбраться из этого потока, никогда ученым не станет и ни одной научной работы до конца не доведет. Да, появляются новые вопросы, которых ты раньше не заметил. Но что из этого следует? Только то, что их надо отложить в новую

папку для новой, будущей работы. А то, что сделано, надо довести до конца.

Я ведь Вам не теорию даю. Я все это выстрадал. Когда я вспоминаю свою диссертацию, мне вчуже страшно становится. Я захватил такой материал, что утонул бы и труп моего не нашли бы, если бы умные люди не наставили меня на путь истины. И я написал, защитил кандидатскую, а вслед за тем как из рога изобилия посыпались одна за другой новые работы, исходной точкой для которых явился материал, отброшенный мной при завершении кандидатской диссертации. Вопросы политэкономии, затронутые Вами, конечно, очень интересны, но с этим Вам можно и повременить. Заканчивайте диссертацию!

Теперь насчет театра на Таганке. «Десять дней, которые потрясли мир» на меня произвели такое же впечатление, как и на Вас. Там слишком много оригинальничания, слишком режиссер увлекается внешними эффектами, и получается нечто, напоминающее балаган. «Жизнь Галилея» произвела на меня и на всю нашу семью сильное впечатление. У меня даже не возникло тех претензий к Высоцкому, которые, я теперь считаю справедливо, предъявили Вы исполнителю заглавной роли. Но сейчас у меня резко отрицательное мнение обо всем этом любимовском спектакле. Во-первых, и это главное, это не Брехт. Во-вторых, по-моему, режиссер не имеет права давать трактовку, противоречащую прямым указаниям автора. Брехт придавал этой пьесе особое значение. Я прочел 2 тома пьес Брехта на немецком языке (5 пьес), без каких бы то ни было купюр. Из всех этих пьес только к «Жизни Галилея» Брехт написал подробные указания как ставить эту пьесу. Он указал даже актера, игравшего заглавную роль, как образец правильного исполнения этой роли. У меня нет возможности пересказать здесь эти довольно объемистые указания. Некоторые из них я изложил в письмах Зинаиде Михайловне. Если Вас это заинтересует, она может найти

эти письма. Для примера приведу наугад одно из указаний: «Слова произносить с предельной четкостью и не торопить речь. Публика должна успеть не только услышать, но и осмыслить сказанное. События очень непростые и не так легко правильно их понять». Создалось у Вас впечатление, что в постановке Таганки речь не торопят? А я, узнав авторский текст, знаю, что ее там ускоряют. Вспомните две реплики. Ученик Галилея: «Несчастлива та страна, у которой нет героев». Галилей: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях». Любимов поставил эти реплики рядом, а у Брехта между ними полторы страницы текста.

Мой горячий привет Зое.

Обнимаю Вас, дорогой мой друг. П. Г.

София Каллистратова

О «Деле» П. Григоренко, И. Яхимовича и др.

Фрагмент фонограммы кинофильма
«Блаженны изгнанныс»⁶²

Каллистратова: Я защищала генерала Григоренко... Приехала, когда еще заканчивалось предварительное следствие. И когда следователь Березовский мне сказал, что я два дня с ним не увижусь, потому что он — неменяемый, то я ему ответила: «Вы плохо знаете закон. Я с генералом увижусь, а без свидания с ним я вам ни одной бумаги не подпишу». И меня привели в подвальное помещение следственного изолятора КГБ — там, в городе Ташкенте. И туда московский конвой ввел генерала Григоренко, и генерал Григоренко на глазах изумленной публики сгреб меня в объятия, начал целовать. Конвой растерялся и не знал, что делать.

Вот с этого и началось. Я сидела там месяц и делала выписки. Они у меня были в деле, эти выписки. Я только дала подписку, что их никому не буду разглашать.

Кустов: Что представляло собой это дело?

⁶² Публикуется по книге «Заступница. Адвокат Каллистратова». М., издательство Звенья.

Каллистратова: Это дело представляло двадцать один том, в котором было Бог знает что. Там чего только было не наворочено. Но меня интересовали совершенно определенные моменты... Я сидела над этим делом месяц. И в течение этого времени каждый раз с боем я получала свидания с генералом Григоренко. Мы с ним общались... Так вот, в моих записях были такие пометки: том такой-то, лист дела такой-то. Значит, здесь идет выписка из материалов подлинного следственного дела. Так Слава (Глузман. — *Сост.*) и ссылаясь на подлинное следственное дело. По этим выпискам и писал: том 20-й, лист дела 172-й. И так далее. Поэтому тут все было совершенно ясно. И пусть Слава не думает, что я уж так рисковала головой. До этого я рисковала головой уже очень много раз. И еще до этого у меня было два обыска.

Кустов: А сколько их было потом?

Каллистратова: Всего их было пять. Мне сказали, что есть психиатр, который сможет это разработать. А я-то ведь не психиатр. Правда, я психиатрию знаю в объеме курса университета по судебной психиатрии, которая преподавалась на юридическом факультете. И у меня был большой опыт общения с людьми, признанными невменяемыми. И у меня глаз наметанный, хотя я и не могу разобраться в тонкостях диагноза. Но все-таки человека безусловно здорового от человека безусловно больного я отличу.

Кустов: И чем ташкентский процесс над Григоренко отличался от других процессов?

Каллистратова: Первым был процесс латвийского председателя колхоза Ивана Яхимовича. Я вам должна сказать, что бывают разные люди, бывают люди со странностями, но более нормально, более спокойного, более уравновешенного человека, чем Иван Яхимович, я не видела. Он был признан невменяемым. Причем в самом постановлении о признании его невменяемым совершенно анекдотические вещи написаны совершенно анекдотические.

Например, в этом постановлении говорится так: «Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идее борьбы за коммунистический строй, за социализм, но только с тем условием, чтобы многие, не соответствующие высокому званию коммуниста люди, находящиеся в настоящее время в партии, были удалены из партии с тем, чтобы с ними была в дальнейшем проведена воспитательная работа, направленная на изменение их мировоззрения. Считает, что политических заключенных не надо лишать свободы, на них надо действовать методом убеждения, разъяснениями и наглядной агитацией. Прекрасно владеет произведениями классиков марксизма-ленинизма, отлично знает труды многих философов и политических деятелей». Я вам читаю только маленькие выдержки.

Кустов: Откуда выдержки?

Каллистратова: Из заключения экспертизы, в которой Яхимович признан невменяемым. Написано: «Со стороны центральной нервной системы патологических органических признаков не обнаружено».

Кустов: А кто подписал, кто эксперты?

Каллистратова: А-а, вы хотите знать, кто эксперты...

Кустов: Хочу.

Каллистратова: Это я могу вам сказать. Это четыре латвийских, рижских психиатра: Русинов, Мартис, Красноярский, Каснянский.

Послушайте, что они дальше говорят: «Во время бесед с врачом — любезен, бредовых идей и галлюцинаторных переживаний не обнаруживает, память достаточная». Это в заключении, в котором он признан больным психически. А больным он признан только потому, что считает, что его идейный и политический долг, равно как и общественный, стоит значительно выше его долга перед семьей, уверен, что он и ему подобные лица исполняют значитель-

ную миссию перед лицом своего народа, и разубеждению не поддается. Поэтому псих.

Глузман: Да, это самое главное.

Кустов: Понятно. А были у вас подзащитные, изначально здоровые и пошедшие не в психушку, а в лагерь? Коротко, если можно.

Каллистратова: Пожалуйста, сколько угодно. Это все подзащитные по делу о демонстрации на Красной площади. Это все крымские татары, которых я защищала, которых обвинили в том, что они клеветают на советскую власть. Это рабочий Хаустов, которого осудили за то, что выступал на митинге, участвовал в демонстрации на площади Пушкина в защиту Гинзбурга, Добровольского и Галанскова. Да сколько угодно! Но тут они выбирали что, вот этого Яхимовича почему решили сделать сумасшедшим? Он ушел с педагогической работы на колхозную, и первое, что он заявил, — до тех пор, пока я не могу колхозникам выплатить за трудовень хоть что-нибудь, я ограничиваю свою зарплату по партмаксимуму. А остальным-то как?

Кустов: Яхимович сам разрешил себе получать лишь тридцать рублей?

Каллистратова: Да, да. Партмаксимум. А что остальным председателям колхозов делать, которые получают по тысяче двести? Сумасшедшим надо его признать.

Кустов: Нормальный человек так не поступает.

Каллистратова: Да, нормальный человек так не поступает. Он, рискуя своей шкурой, продал ненужный для колхоза запас бревен как-то и выдал колхозникам, которые до этого десятилетиями не получали ни копейки, по сколько-то рублей на трудовень. Ненормальный.

Кустов: Софья Васильевна, Яхимович — это особое дело...

Каллистратова: Да... 6 апреля 1970 г. суд признал невменяемой Наталью Горбаневскую, признал, что у нее вялотекущая

шизофрения. А когда в суде выступал профессор Лунц, я у него спросила: «Скажите, эксперт, какие признаки вялотекущей шизофрении вы отмечаете у Горбаневской?» И он мне ответил: «Вялотекущая шизофрения, как правило, никаких симптомов не дает». Ясно вам? Во-первых, она смелая — она с трехмесячным ребенком ходила на эту демонстрацию на Красной площади. Во-вторых, она издавала «Хронику текущих событий». Это был человек, которого надо было скомпрометировать. Поэт, переводчик, разумный человек, который живет и работает уже сколько лет в Париже, произведения которой печатают, — вот взяли и написали, что она сумасшедшая. Что она невменяемая.

Кустов: Ахматова считала ее очень талантливой.

Каллистратова: Да.

Кустов: А Лунц...

Каллистратова: А Лунц считал ее психом. Теперь — чем отличается процесс Григоренко. Прежде всего тем, что по этому процессу было две экспертизы. Первая экспертиза, так называемая амбулаторная, в которой участвовали главный психиатр военного округа Коган и профессор Детенгоф. Очень известный психиатр...

Кустов: Ныне покойный Федор Федорович Детенгоф.

Каллистратова: Да, да, да. И они дали заключение: «Сознание ясное, правильно ориентирован, в беседе держится вполне упорядоченно, естествен, легко доступен к контакту, речь связанная, целенаправленная, несколько обстоятельная». И пришли к выводу: психическим заболеванием не страдает, не нуждается в стационарном обследовании. Стационарное обследование может в настоящее время не расширить представление о нем, а наоборот, учитывая возраст и резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрическом стационаре, привести к неправильным выводам. Так что же сделал генерал? Генерал — его

весь мир знает, ну как же его судить-то открытым судом? Надо сделать его сумасшедшим. И следовательно Березовский при наличии такой экспертизы сажает его в самолет, сам лично, под своим конвоем, везет в Москву в Институт Сербского и сдает туда на экспертизу. А в Институте Сербского рады стараться: сумасшедший, невменяем, переоценивает свою личность, убежден в своей правоте, разубеждению не подлежит. Паранойя. В суде обе эти экспертизы. Я говорю в суде: «Вызовите генерала Григоренко в судебное заседание. Товарищи судьи, посмотрите на него сами. Вы же имеете две совершенно разные экспертизы, вы же не можете разобраться, какая из этих экспертиз правильная». Нет, отвечают, вызывать психически больного человека в суд негуманно, в ходатайстве адвоката отказать. Обращаюсь к Детенгофу, — он тут же сидит рядом с Лунцем, — и говорю ему: «В промежуток времени между тем, как вы давали заключение о вменяемости Григоренко, и сегодняшним днем вы его видели?» «Нет, не видел». «Были какие-нибудь новые медицинские документы о нем? Вы их видели?» «Нет, не видел». «Вы какими-нибудь новыми данными располагаете?» «Нет, не располагаю». «Почему же вы теперь даете заключение диаметрально противоположное своему первому заключению?» «Мы ошиблись, коллеги из Москвы нас поправили».

Кустов: Он тоже подписал?

Каллистратова: Он подписал первое заключение. О том, что Григоренко вменяем. Его и вызвали в судебное заседание как одного из авторов первого заключения, для того, чтобы решить вопрос, какая экспертиза правильна. А он в суде отказался от прежнего заключения и присоединился к Лунцу. Тогда я говорю: «Давайте вызовем Когана, давайте послушаем еще одного человека». Нет, отвечают, нам достаточно.

Кустов: А что суд? Где он проходил?

Каллистратова: В Ташкенте.

Кустов: Кто были зрители? Сколько было зрителей?

Каллистратова: По узбекскому кодексу дела о невменяемых слушают в закрытом судебном заседании. Сам Григоренко доставлен не был. Поэтому среди зрителей не было даже конвоиров, я говорила перед судьями, перед пустыми стульями в зале. Я говорила перед судьями, из которых одна заседательница спала, другой ковырял в носу, а председательствующий все время смотрел на часы.

Кустов: И родственников тоже не было?

Каллистратова: Нет. Никого не пустили в зал. Ни одного человека. Этим тоже отличается процесс Григоренко от процессов Горбаневской и Яхимовича. Правда, у Яхимовича и у Горбаневской была подобрана публика. Но туда все-таки родственники просочились. Некоторые из друзей просочились. А здесь никого не было.

Кустов: Что в заключении экспертов было основным признаком психической болезни у Петра Григорьевича?

Каллистратова: Преувеличение своей роли. То есть мания величия. Хотя это ничем не было подтверждено в материалах дела. Наоборот, скорей там были какие-то данные, чтобы говорить о мании преследования. Потому что он все время говорил, что за ним следят...

... Вот эти три человека, о которых я вам говорила, — Яхимович, Горбаневская и Григоренко, — никакие эксперты в мире не убедят меня в том, что они психически больные. Это здоровые люди. Допрашивали на суде сестру Григоренко, родную сестру. Она украинка, говорила по-русски, но с украинским акцентом. Судья ее спрашивает, так ваш брат болен? Да нет, он здоровый. Так тогда, значит, он враг нашей партии? Да нет, он коммунист. Так если он

коммунист, а такие вещи пишет, значит он больной? Да здоровый он, что вы меня пытаете?

Ни одного же свидетельского показания не было, которое говорило бы о его психической болезни. Нет, я говорю, никакие эксперты в мире меня не могут убедить в том, что эти люди психически больные. Они здоровы, а утверждение об их болезни достигалось только одним способом: «Если все нормы УПК соблюдать, как сказал мне один член областного суда по другому делу, — так ни одного виновного не осудят». Итак, я написала жалобу на это определение, на это признание Григоренко виновным. В жалобе указала 49 пунктов нарушений Уголовно-процессуального кодекса. И эту жалобу меня заставили подать через спецчасть адвокатуры. Вызвали к заместителю Генерального прокурора Малярову заместителя председателя Президиума городской коллегии адвокатов и сказали: «Передайте адвокату Каллистратовой — ее жалоба по делу Григоренко получена, ответа не будет». А вы говорите, как это совмещалось с законом. Да никак не совмещалось!

Андрей Амальрик

Я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским

С 1968 года инакомыслящие — хотя и не всегда четко, — делились на «политиков» и «моралистов»: на тех, кто думал о Движении как о зародыше политической партии и хотел выработать программу политических и социально-экономических преобразований, и на тех, кто хотел стоять на позициях морального неприятия и неучастия в зле режима. Деление условно, поскольку каждый был на какую-то долю моралист и на какую-то политик. Даже Сахаров, в своих обращениях к властям предлагая программу социально-экономических изменений и критику разрядку, выступал в роли политика.

«Политики» не выступали за немедленное создание «партии» и торжественное принятие «программы». Когда кто-то предложил Петру Григоренко организовать партию и даже заранее распределить места в правительстве, мы подумали, что это или провокатор, или человек не совсем нормальный. Но в обществе чувствовалась потребность идеологической альтернативы, неоднократно участников Движения спрашивали: какова ваша программа?

Дебатировался также вопрос, можно и нужно ли придать возникающему движению какие-то организационные формы. Красин сказал, что стоит организовать какой-нибудь комитет, он тут же в полном составе будет арестован, я ответил, что власти скорее всего будут его игнорировать и только постепенно его члены окажутся в тюрьме под разными предлогами — я оказался прав. Для обсуждения этого Петр Григоренко, Лариса Богораз, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Виктор Красин, Петр Якир и я в начале июля поехали на дачу к Алексею Костерину.

Я предложил создать Комитет защиты советской конституции — лицемерная «сталинская конституция» содержала статьи о свободе слова, собраний, демонстраций и т. д. и могла служить юридическим прикрытием для комитета; идея использования «снизу» того, что «наверху» рассматривалось как не более чем декоративное украшение суровой действительности, была реализована семь лет спустя созданием Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Я предлагал далее структуру трехслойного пирога: средний слой — наиболее известные участники Движения, такие как Григоренко или Литвинов, вошли бы в Комитет; верхний слой — те академики, писатели, режиссеры, кто относился к нам с симпатией и еще не был напуган, поддерживали бы Комитет своим авторитетом; нижний слой — неизвестные участники Движения выполняли бы значительную часть практической работы и дублировали бы членов Комитета в случае их ареста. Все это было лишь формализацией реально сложившегося положения, но ставило задачу выработки и объявления программы. После долгих споров никакого решения принято не было — трудно было преодолеть воспитанный советским режимом страх перед словом «организация».

Алексей Евграфович Костерин провел в тюрьмах и лагерях больший срок, чем Марченко, он начал еще до революции, вступив в большевистскую партию, но главным образом сидел при Сталине.

После реабилитации он много сил тратил на борьбу за права малых народов, через него установилась связь и с крымскими татарами. Он оказал большое влияние на Петра Григоренко, и оба они обращались неоднократно и в ЦК КПСС, и к международным коммунистическим совещаниям — всегда без ответа. К совещанию компартий в Будапеште они написали огромное письмо, и еще каждый по маленькому от себя лично, в которых представляли друг друга в выражениях самых трогательных: «Костерин — это замечательный человек, честный, сердечный» и т. д. — и Костерин то же самое о Григоренко, но такой уж в Будапеште собрался твердокаменный народ, что сердца их это не тронуло.

В конце июля Костерин, Писарев, Григоренко, Яхимович и Павленчук — пять коммунистов, первый из которых вступил в партию в 1916, а последний в 1963 году — сделали заявление, что они приветствуют развитие событий в Чехословакии и считают советскую интервенцию невозможной. Конечно, Петр Григорьевич как бывший генерал считал интервенцию вполне возможной, но рассчитывал на сопротивление чехословаков. «Я знаю наших, — говорил он, — они попрут напрямик через горы, и тут их можно будет надолго задержать». Увы, все оказалось не так. Григоренко и приехавший из Латвии Яхимович решили передать это заявление в посольство Чехословакии, но мы с Гюзель сделали плакат с надписями по-русски и по-чешски, похожий на лопату для расчистки снега, но наш связной подвел нас, и они вошли в посольство без плаката, зато генерал при всех орденах. Как и я, советник посольства принял его за сталиниста: «Не беспокойтесь, ЧССР останется коммунистической и верной дружбе с СССР», — на что Петр Григоренко ответил: «Не беспокойтесь вы тоже, мы за вас». Обрадованный советник взял их заявление и открытое письмо Анатолия Марченко, и оба вышли из посольства беспрепятственно, сфотографированные при выходе Карелом Ван хет Реве на фоне высаженных у братского посольства

деревьев. За деревьями уже ходило несколько людей, носящих свои неприметные костюмы, как будто это театральный реквизит.

В начале 1968 года наибольшее внимание привлекали Павел Литвинов, Лариса Богораз, Петр Григоренко и Петр Якир. Красин, оказавшийся как бы на вторых ролях, был уязвлен этим, был он вообще человек, склонный уязвляться.

До того, как переписка Павла была поставлена под наблюдение, он получал много писем от советских слушателей: как за — примерно $\frac{3}{4}$, так и против — примерно $\frac{1}{4}$, часть писем пришла не по почте, а была кем-то брошена в ящик. Вскоре КГБ спохватился: не только стали изымать в почтовых отделениях письма известным диссидентам, но и справочные бюро получили указание не давать их адресов.

25 августа вечером Голос Америки сообщил, что группа неизвестных пыталась устроить демонстрацию на Красной площади и была тут же арестована. Я не сомневался, что это демонстрация, о которой говорил Павел, но почему же «неизвестных», ведь многие диссиденты были хорошо известны, о каждом заявлении того же Литвинова Голос Америки оповещал подробно и многозначительно.

На следующее утро мы выехали в Москву. Я узнал, что в демонстрации участвовало семь человек, Лариса Богораз предупредила корреспондентов, что демонстрация начнется в одиннадцать, но все собрались у Лобного места только к двенадцати, когда корреспонденты разошлись, только один задержался и увидел, как на другом конце площади группа людей развернула плакаты и тут же была смята милицией и агентами в штатском. Агенты изображали возмущенную толпу, на суде большинство оказалось служащими одного и того же подразделения внутренних войск. Отпустили только Горбаневскую, у которой было двое маленьких детей, она рассказала, что на них бросились с криком: «Это все жида, бей их!»

Плакаты были по-чешски и по-русски, один со старым лозунгом: «За нашу и вашу свободу!» У Лобного места было еще несколько человек, шедших на демонстрацию, но они не решились подойти, Петр Якир уверял, что был задержан в метро — Павел Литвинов позднее говорил мне, что это неправда, что Якир просто испугался. Через несколько минут после того, как арестованных увезли, из Кремля выехала чехословацкая делегация во главе с Дубчеком.

Мне казалось тогда, что демонстрация была ошибкой — во всяком случае тактической. Я считал, что если Движение сосредоточится на внутренних вопросах, то сможет найти все более широкую поддержку, властям все труднее будет представлять нас в виде кучки отщепенцев. Но если выступить в защиту Чехословакии, то это останется непонятым, а власти арестуют всех демонстрантов и лишат движение руководителей и активных участников, что сможет на несколько лет привести к его распаду. Помню, как мы спорили об этом с Петром Григоренко — он вместе с Виктором Красиным был в Крыму⁶³ во время демонстрации, иначе одним из первых появился бы на Красной площади, размахивая палкой.

Думаю теперь, что я был неправ. Было бы очень печально, если бы из самой России не раздался этот слабый и отчаянный крик протеста.

Исторически было необходимо — и это важнее тактических соображений, — чтоб было сказано «нет» советскому империализму; быть может, в конечном счете решительное «нет» семи человек на Лобном месте окажется весомее, чем равнодушное «да» семидесяти миллионов на «собраниях трудящихся».

⁶³ 25 августа в Крыму Красина не было. Он появился в Ялте вместе с Юрием Мальцевым только 26 и объяснил нам с отцом, что был вынужден скрыться из Москвы после советского вторжения в Чехословакию, чтобы избежать ареста. *Прим. А. Г.*

10 ноября 1968 года умер Алексей Евграфович Костерин. Помню короткое прощанье в больничном морге и шоферов, приговаривающих:

«Скорей! Скорей!» — они должны были везти в крематорий. Под это «скорей, скорей» проходит весь обряд советских похорон. Рядом лежал молодой человек, по виду рабочий, в окружении старух в черном — с ними уже совсем не церемонились, и я слышал, как корреспондент «Рейтера» сказал кому-то: «Вот что значит умереть по-русски».

Неожиданно Союз писателей, исключивший Костерина за полмесяца до смерти, арендовал автобусы для похорон, тут же суетился распорядитель.

Гроб был поставлен в первый автобус, туда же сели родственники и близкие друзья, а мы все во второй, и в середине дороги Красин обнаружил, что нас везут в другую сторону. Поднялся крик, начали стучать в окна — и шофер, испугавшись, повернул к крематорию; ССП счет за автобусы оплатить отказался.

В мрачном зале крематория, навсегда связанном у меня с похоронами матери, тоже было нечто вроде очереди — не скажу «живой очереди», потому что речь шла все-таки о покойниках. Костерина положили справа при входе, за колоннами, а в центре зала еще шла чья-то панихида, и слышно было, как коллега покойного все время повторял «закончил, закончил»: тогда-то закончил школу, тогда-то службу в армии, тогда-то институт, тогда-то докторскую диссертацию — и наконец закончил свою славную жизнь. На этом и сам оратор закончил — и наступила наша очередь.

Большой зал был полон: не только собрались московские диссиденты и родственники Костерина, но и писатели, крымские татары, чечены, ингуши, просто сочувствующие, а также иностранные корреспонденты и гебисты — из расчета десять на одного корреспондента. Произошло некоторое замешательство: наши девуш-

ки стали раздавать черно-красные ленточки на булавках, обходя стукачей, так что овцы были явно отделены от козлиц. Все теперь смотрели не в лицо друг другу, а на грудь — приколоты ли траурная ленточка.

Органист — лысый еврей с усталым и безразличным лицом — заиграл Баха, и когда он кончил, на трибуну поднялся Петр Григорьевич.

«Товарищи!» — сказал он, и в этот момент микрофон отключили, но у Григоренко был достаточно громкий, генеральский голос. Он начал с теплых личных слов о Костерине, как много Костерин для него значил, как он из бунтаря превратил его в борца, и заговорил о его борьбе:

«Разрушение бюрократической машины — это прежде всего революция в умах, в сознании людей... Важнейшая задача сегодняшнего дня — бескомпромиссная борьба против тоталитаризма, скрывающегося под маской так называемой «социалистической демократии». Этому он и отдавал все свои силы!»

Гюзель смотрела на музыканта и видела, как меняется его лицо. Сначала он, видимо, просто не слушал, потом лицо его стало вытягиваться, челюсть отвисла, взгляд выражал величайшее недоумение. Ничего подобного он не слышал за всю свою, вероятно, долгую работу в крематории. Впрочем, никто ничего подобного не слышал несколько десятилетий: в Москве совершенно открыто при стечении нескольких сот человек была произнесена политическая речь. Гебисты были в растерянности: броситься ли им, опрокидывая гроб, на возвышение и стащить Петра Григорьевича — или же слушать до конца. «Ваше время истекло!» — дважды прерывал его голос, на этот раз через микрофон, но Григоренко продолжал говорить и закончил: «Не спи, Алешка! Воюй, Алешка Костерин! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя! Свобода будет! Демократия будет!»

Смерть Костерина была тяжелым ударом для Григоренко; когда он сказал мне, что Алексей Евграфович умер, я слышал слезы в его голосе. Они совсем недавно открыли друг друга: найти единомышленника и друга для того, чтоб тут же его потерять, — достаточно тяжело.

Большинство участников Движения довольно кисло смотрели на коммунизм и марксизм, и единственный, с кем Петр Григорьевич по всем вопросам находил общий язык, был Иван Яхимович. Григоренко даже имел его доверенность на подпись: когда Ян Палах сжег себя, мы написали обращение, которое он за себя и Яхимовича подписал.

Самосожжение Яна Палаха потрясло меня больше, чем ввод войск — я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским. Я все-таки был неправ в разговоре с Павлом: чехи оказали сопротивление. Течение, к которому принадлежали Яхимович, Григоренко и другие оппозиционные марксисты, имело своим аналогом восточноевропейский ревизионизм, но я думаю, что они сами с таким определением не согласились бы, считая, что это Сталин ревизовал марксизм-ленинизм, а они хотят возвратиться к «истинному ленинизму». В этом движении был заложен некий парадокс. Большевикизм и в теории, и на практике был шире ленинизма — только постепенно ленинизм победил внутри большевизма и получил логическое развитие в сталинизме. И хотя наши «истинные ленинисты» при каждом удобном и неудобном случае клялись Лениным — и вполне искренне, — в действительности они пытались возродить неленинское течение в большевизме, более демократическое, чем нечаевско-ткачевский ленинизм. Однако насколько вообще в истории возможно движение назад и восстановление того, что историей было отвергнуто, — увы, история часто отвергает лучшее ради худшего. Даже если такое возражение возможно, то только после анализа — почему Ленин победил в большевизме. Поскольку этот

вопрос не поднимается, «истинный ленинизм» остается бесплоден. Можно говорить о большевизме и меньшевизме не только как о политических доктринах, но и как о политических темпераментах. С этой точки зрения, Валерий Чалидзе и Павел Литвинов, с их правовым доктринерством, и Рой и Жорес Медведевы, с их марксистским доктринерством, — типичные меньшевики, а Александр Солженицын и Петр Григоренко — большевики, боюсь, что и я скорее попадаю в их компанию, поскольку при всем своем либерализме не лишен пугачевских замашек.

Григоренко предложил организовать комитет в защиту Яхимовича. Я сначала поддержал его, надеясь, что это будет первым шагом для преодоления психологического барьера, о котором писал уже, — страха перед самим словом «организация». Красин и Якир, однако, сильно сомневались, нужно ли создавать комитет, исходя из частного случая, уж если, мол, начинать, то с Комитета защиты прав человека, и я согласился с ними. Некоторую оппозицию идея Григоренко встретила и потому, что он предложил комитет в защиту коммуниста — как же так, в защиту Марченко не создавали, в защиту Литвинова не создавали, а посадили коммуниста — и сразу комитет. Однако упрек это был неверен, Григоренко как раз после ареста Марченко писал нам из Крыма, что необходимо не ограничиться заявлением, но создать комитет в его защиту. На этот раз он составил уже список возможных членов и проект обращения — и созвал совещание у себя дома. Просматривая список, Красин, сам полуеврей, насмешливо сказал: «Это не комитет, а жидовский кагал во главе с русским генералом!» Мнения разделились, большинство считало: будет комитет — так будет, а не будет — так не будет. Красину, Якиру и мне удалось, однако, убедить всех ограничиться заявлением в защиту Яхимовича, Петр Григорьевич надолго остался на нас обижен за это.

На совещание пригласили Бориса Цукермана, чтоб он объяснил юридически сторону создания комитета — чем больше он объяснял, тем менее понятно все становилось. Физик по образованию, он был, наряду с Валерием Чалидзе и Александром Есениным-Вольпиным, одним из трех экспертов Движения в юридических вопросах. Выраженный тип тихого упряма, который говорит медленно и занудливо, но если вы его перебьете, продолжит на том же слове, он затевал и вел множество кляузных дел против разных государственных организаций. Когда стали применять выталкивание за границу как прием борьбы с диссидентами, Чалидзе, Вольпина и Цукермана вытолкнули одними из первых — лучшее признание важности их деятельности. «Нам Цукерман много палок в колеса ставил», — говорил нам потом майор КГБ Пустяков, специалист по диссидентам. По Цукерману, выходило, что самое легальное — это создание профсоюза; оставалось неясным, по какому профессиональному признаку можем мы его создавать. Идея оказалась плодотворной только в 1978 году, когда открытое недовольство среди рабочих привело к созданию первого независимого профсоюза по образцу диссидентских групп.

Я предложил иной план. Как своего рода номиналист, я считаю, что для того, чтобы явление существовало, его надо назвать. Я предложил объявить о создании Советского Демократического Движения, сокращенно СДД, изложить кратко его основные цели и методы и предложить, чтобы каждый, кто их разделяет, считал себя участником движения. Я полагал, что если такое обращение будет широко распространено, оно позволит многим людям — сейчас изолированным — идентифицировать себя с Движением и создаст для него широкую базу. Я даже составил проект обращения на одном листке. Красин уклончиво сказал, что над ним можно подумать, но реакция остальных, особенно Григоренко, была отрицательная: аббревиатура СДД уже напоминала политическую

партию, текст содержал претензию на идеологию, а как я говорил, большинство хотело оставаться «правозащитным движением». В сущности, и цели СДД были правозащитными, но понятыми более широко, чем просто защита того, кто сел в тюрьму за то, что защищал севшего до него, хождение по сужающемуся кругу замыкало Движение на себя.

Вопрос решился летом 1969 года, когда пятнадцать человек организовали инициативную группу по защите прав человека в СССР и обратились с письмом в ООН. При создании Группы меня не было в Москве, была она в значительной степени детищем Якира и Красина — Литвинов позднее говорил мне, что некоторых включили в группу, даже не спрашивая их согласия, ни от кого из членов Группы я таких жалоб не слышал. Как я предвидел, они не были арестованы сразу, и власти не организовали процесса-монстра: они делали вид, что игнорируют Группу, но постепенно десять из пятнадцати ее членов были или осуждены, или помещены в психушки, а сейчас почти все в эмиграции. Но психологический барьер был преодолен — и затем в рамках Движения создавались группы и комитеты.

Трудно описать все унижение обыска. Я пережил их много: и личных, и общих, и в тюрьме, и в лагере, и на этапе, но самые мучительные — это у вас дома, вы чувствуете, нет никакого дома, ничего вашего. Впрочем, уже визит милиционеров, которые могут вытащить вас из кровати, дает это чувство — мы годами жили с сознанием, что в любой момент вас могут схватить, и сам дом растворится, как туман.

Как было сказано в протоколе, обыск проводился «с целью отыскания и изъятия вещей, документов и ценностей, имеющих значение для дела». Следователь пояснил, что это дело Григоренко, но не ответил, арестован он сам или нет. Формально вел обыск старший следователь Московской прокуратуры Полянов, лет пятиде-

сяти, весьма чиновного вида и, как кажется, к результатам обыска безразличный. Остальные себя не назвали и никаких документов не предъявили, один — постарше — указывал Полянову, что изымать. Хорошо внешне помню Полянова, этого — совершенно не помню. Указаны в протоколе также были фамилии и адреса двух понятых — по закону, они должны быть приглашены со стороны, *«присутствовать при всех действиях следователя... и удостоверить факт, содержание и результат обыска»*. При политических делах — за редким исключением — понятые это сотрудники КГБ. Виктор Красин рассказывал, как во время обыска у него следователь и понятые делали вид, что не знают друг друга, поехали потом обыскивать квартиру его матери — и, увидев знакомую машину на перекрестке, понятые обрадованно закричали: «Иван Иванович, наши едут!» Следователь только сокрушенно головой покачал: «Учишь их, учишь — а толку нет!»

Ничего, относящегося к Григоренко, у меня не было, изымали мои рукописи, изданные за границей книги, пишущие машинки, чеки Внешторгбанка, которые Гюзель получила за картины — не зря у нас значит побывал ценитель живописи с предложением купить «все картины». Полянов достал из стола пачку советских рублей, приготовленных для жизни в деревне, и спросил: «Сколько здесь?» «Считайте, — ответил я, но Полянов молча положил пачку на место.

Впоследствии стали изымать все деньги — при аресте Гинзбурга в 1977 году его жене и двум маленьким детям оставили несколько копеек. Самое обидное было, что забрали начатую мной рукопись «Доживет ли СССР до 1984?» — не ради нее ли и обыск затевали?

Генерал был арестован утром в Ташкенте — одновременно проведено несколько обысков в Москве, но дело его было для них только предлогом.

Мы планировали сначала, что на процесс крымских татар в Ташкенте выведу я, с той же ролью «офицера связи», что и во время суда над Галансковым и Гинзбургом. Петр Григорьевич, однако, сам захотел ехать. Был он дисциплинированным участником Движения, может быть, как раз потому, что он был генерал: мы приносили ему воззвания на подпись, он читал, морщился, говорил, что совсем оно ему не нравится, но раз принято решение, чтоб он подписал, он, конечно, подписывает. В деле же с крымскими татарами, сколько мы не настаивали, чтоб он не ехал, он был неумолим: власти предупредили его, что он будет арестован в Ташкенте, и он не хотел уступать шантажу. Из Ташкента ему позвонили, что его друг срочно просит его вылететь — оказалось, никто из друзей не звонил. Суд откладывался, Петру Григорьевичу, тяжело заболевшему, взяли обратный билет в Москву — за день до вылета он был арестован.

КГБ заманил его в Ташкент, чтобы не судить в Москве: затем часто стали применять такую тактику. Григоренко провел несколько месяцев в подвале Ташкентского КГБ, был, как при Хрущеве, признан психически невменяемым — и до июня 1974 года пробыл сначала несколько лет в тюремной, а затем несколько месяцев в общей психбольнице. Я увидел его снова летом 1975 года — он сохранил свой здравый ум, но с трудом говорил, едва мог читать и почти не мог писать.

* * *

— Как вы, получая ежемесячно восемьсот рублей в военной академии, стали писать эти бумажки — и теперь как грузчик зарабатываете восемьдесят? — спросил психиатр у Петра Григоренко.

— Мне дышать было нечем! — ответил он и увидел, как радостно загорелись глаза у врача: точно сумасшедший! Удалось власти воспитать «нового человека», все понимание которого — на уровне желудочных интересов. «Маленький человек» — любимое дитя печальной русской литературы — стал «большим начальником», сохранив всю мелкость своих интересов.

Леонард Терновский

Как все на свете, ИГ имела свою предысторию

И Г... многим ли сегодня, на исходе 90-х, что-то говорит эта аббревиатура? Четверть с лишним века назад слова «Инициативная Группа» внезапно вошли и утвердились в сознании оппозиционной интеллигенции. «Инициативная группа по защите прав человека в СССР» — таково было ее полное название — стала праматерью всех наших правозащитных ассоциаций. Смелостью открытого противостояния произволу Группа сразу же вызвала к себе неподдельные симпатии и уважение, а достоверностью сообщений и точностью нравственных оценок быстро завоевала непререкаемый авторитет. И когда мы узнавали о новом заявлении или обращении «ИГ», — нам не надо было объяснять, что означают эти буквы.

Это касалось не только пристольных кругов. Озвученные зарубежными «радиоголосами», документы ИГ быстро становились известными — от Прибалтики до Камчатки — всем небезразличным к судьбам нашей страны людям. Правдивое слово ИГ добиралось к ним не только через завывания «глушилок». Неслышно переходя из рук в руки, тоненькие машинописные копии крамольных

документов расходились по стране. За ними неустанно охотился КГБ. И о географии чекистских удач свидетельствовали протоколы обысков и приговоры судов.

Голос ИГ — то громче, то приглушенной — звучал в нашей стране около 10 лет. Я не был членом ИГ, не обсуждал планы ее создания. Не предлагал и не составлял принимаемых документов. Но, не спросив моего согласия, — случай ли? — судьба? — пристегнула и связала меня с ИГ с самого дня ее основания. Да и в дальнейшем сделала меня сопричастным ее драматической истории.

С тех пор прошло почти 30 лет. ИГ давно нет. Но всего на какое-нибудь десятилетие пережив ИГ, рухнул и жестоко преследовавший ее «незыблемый» тоталитарный режим. А вслед за ним распалась и огромная страна, которую этот режим скреплял, связав колючей проволокой, щедро вознаградив годами неволи почти всех основателей ИГ, судьба далеко развела и разбросала их: иных давно нет на свете; другим еще в старые, но вовсе не добрые времена пришлось уехать за рубеж; двое бывших членов ИГ, никуда не уезжая из страны, сделались после распада СССР «иностранцами из ближнего зарубежья»; и трое после долгих лет лагерей и ссылок снова стали москвичами...

Изменился мир, изменились все мы... мудрено ли, что выступления ИГ позабыты большинством наших соотечественников?! Не надежна и несовершенна человеческая память. Хрупки и непрочны тонкие машинописные листки. И когда в мае 94 года исполнилось 25 лет образования ИГ — российская общественность даже не вспомнила об этом.

Но историческое беспамятство не только постыдно, — оно опасно. И прежде всего для тех, кому предстоит в XXI веке строить новую Россию, — для наших молодых сограждан. Они не испытали ига «единственно верной», обязательной для всех идеологии, не дышали воздухом **той** эпохи. В этом их сила, но в этом и слабость.

Молодежь свободна от догм, но у нее нет и иммунитета от идеологической чумы большевизма. Не дай ей Бог потерять ориентиры, поверить в лживые посулы идейных наследников тех, кто 70 лет душил и калечил нашу страну. Ни в чем не покаявшись, эти последние опять рвутся к власти...

Освободительное движение России еще ждет своего летописца. Но я могу свидетельствовать лишь о том, что знаю лично, только о его заключительном, правозащитном этапе, участником которого я был.

ИГ — важная глава в истории российского Сопротивления.

Рассказывая о ней, я буду опираться на то, чему был очевидцем сам, на воспоминания моих друзей — членов ИГ и людей, близко к ней стоявших, и на сами документы группы.

Рождение человека всегда происходит через боль, кровь и муки. И для рожавшей женщины, и для новорожденного. Недаром существует понятие «родовая травма». Без досадных промахов, болезненных падений и потерь не обходится, наверное, и любое человеческое начинание. Не обошлось без них и рождение ИГ.

Что я помню о начале? Май 1969-го года. Неполный год, как я вошел в круг диссидентов. Месяц начался для нас тревожно. Сначала 7 мая в Ташкенте был арестован Петр Григорьевич Григоренко, разжалованный генерал-правдоискатель. Я познакомился с ним и стал бывать в его доме в конце зимы. Брал у него читать какой-то самиздат, мы говорили, помнится, о тогда еще не вполне покоренной Чехословакии, об отчаянном самосожжении Яна Папахы. В последний мой приезд, в первые дни мая, Зинаида Михайловна, жена Григоренко, сказала мне, что Петра Григорьевича нет дома, что он улетел в Ташкент, где начинается суд над десятью активистами крымскотатарского движения за возвращение на родину. И добавила шепотом: «Возможен арест».

И вот на днях арестован молодой педагог Илья Габай. Я встречал его в доме другого видного диссидента — Петра Ионовича Якира, но был тогда лишь шапочно знаком с Ильей. Хотя давно знал некоторые его стихи, ходившие в Самиздате. И помнил, что он был одним из авторов Обращения «К деятелям науки, искусства и культуры», предупреждавшего об опасности реставрации сталинизма и призывавшего не допустить «новый 37-й год».

...Я на «Автозаводе», на квартире Петра Ионовича. В то время я бывал там очень часто, и уже не помню, зачем заехал в тот вечер. Самого хозяина нет дома. Кто-то дает мне прочесть незнакомую бумагу. Это — Обращение в комитет прав человека ООН, совсем свежий, вчера-позавчера появившийся документ. Читаю: в письме говорится о нарастании преследований за убеждения в нашей стране, рассказывается о политических процессах последних лет и о недавних арестах П. Григоренко и И. Габая. Письмо призывает ООН осудить политические преследования в Советском Союзе.

Как серьезно и аргументировано составлено письмо! И адресовано прямо в ООН, такого, помнится, еще не было. Кто-то, может быть, спросит, — допустимо, оправдано ли выносить сор из избы, искать за рубежом защиту от произвола отечественных властей? Но что остается делать, если советские чинуши не хотят нас слушать и на мирные петиции отвечают репрессиями?! Дата под письмом — 20 мая 1969 года. И подписи — 15 фамилий по алфавиту. Но перед этим списком я вижу тогда впервые мной прочитанные и навсегда впечатавшиеся в память слова: «Инициативная группа».

— Неужели?! — кажется, я даже вздрогнул, и мое сердце забилось чаще, в голове вразной прыгали мысли: «Конечно, это смело и благородно, но оправдан ли этот дерзкий вызов? Неужели учредители не понимают, что всех их перехватывают за три дня, максимум — за неделю?!»

Десятилетиями в СССР действует неписанный, но железный закон: любая самостоятельная, неподконтрольная властям организация должна быть мгновенно и безжалостно раздавлена. А тут — открытая оппозиция. Под своими фамилиями. Приходите — и берите.

Еще подписи — «поддержавшие», так сказать — второй эшелон. Вдруг — что за наваждение? В списке «поддержавших» мне бросается в глаза мое имя. Но я в глаза не видел Обращения! И даже ничего не слышал о нем!

Что делать? Протестовать? Потребовать снять свою подпись? Но разве я не согласен с письмом? И ведь оно — мне сказали — уже отдано иностранным корреспондентам. Мыслимо ли компрометировать столь важное начинание?

Промолчать? И смириться с вопиющим, возмутительным безобразием? С пренебрежительным манипулированием мной и моим именем? Решаю: подпись свою оставляю. Но сразу же говорю — это первый и последний раз. Недопустимо ничего решать за других без их ведома. Мне не возражают, даже соглашаются, — действительно, нельзя. Но Обращение нужно было срочно везти «коррам», и просто не осталось времени «согласовать» все подписи.

...Только много лет спустя я узнал, что в еще более трудном, унижительно-беспомощном и оттого мучительном положении оказались накануне многие из членов будущей ИГ. Они собрались, как было договорено, на «Автозаводе», чтобы составить и подписать Обращение в ООН. А также еще раз обсудить целесообразность создания открыто объявленной организации, от имени которой и будет отправлено в ООН предполагаемое Обращение. Якира и его товарища Виктора Красина на «Автозаводе» почему-то не оказалось. Кто-то пояснил, что они поехали на срочную встречу с «коррами». Само по себе это было в порядке вещей, но сегодня? Обсуждение письма в ООН продолжалось без них.

Обговаривался вновь и вопрос создания легальной организации, состав которой еще не был окончательно установлен и даже еще не имевшей названия. Наконец, часов в 8–9 вечера, взволнованные и несколько смущенные, появились Якир и Красин: «Ну, все. Мы отдали «коррам» Обращение. Оно подписано: Инициативная группа».

Это явилось новостью почти для всех. Как смели Якир и Красин отдать «коррам» несогласованный документ? Объявить о создании несформированной группы? Самочинно назначить ее состав? На возмущенные упреки сотоварищей (впрочем, высказанные обиняками, поскольку квартира наверняка прослушивалась) приятели отвечали: «Так сложились обстоятельства. Да, в чем-то мы поступили неправильно, но это — чистая формальность. Те, кто названы в составе ИГ, — они же одобряли идею обращения в ООН, — кто же они, если не инициаторы письма? И, в сущности, это даже не организация. А потом — ничего не отрезано, мы никого не держим, мы договорились с «коррами», что еще позвоним им и все уточним и исправим. «Поддержавшие»? — такая идея тоже проговаривалась, мы внесли в этот список тех, кто не откажется. А главное — ждать дольше было нельзя. Григоренко и Габая арестовали, если мы сейчас не дадим отпор, не сплотимся, — перехватывают всех. Через неделю было бы поздно».

Эти объяснения далеко не удовлетворили собравшихся. Явственно повеяло духом Петруши Верховенского из «Бесов». И естественная мысль: не следует ли сразу выйти из группы?

Но уход был невозможен морально. Он не только стал бы тяжелым ударом по остающимся, но и перечеркнул бы Обращение, писавшееся в защиту арестованных и осужденных. Он мог надолго похоронить саму идею легальной организации для защиты жертв политических репрессий. Да и просто слишком смахивал бы на трусливое бегство. В итоге, несмотря на возмущение самочинством Якира и Красина, никто тогда не покинул ИГ.

Иной принципиальный читатель убежденно скажет: «Все равно недопустимо было ни дня оставаться вместе с нечистоплотными обманщиками, объявившими о рождении еще не созданной группы и своевольно назначившими ее состав. Разве не ясно, что подобные честолюбцы и авантюристы подведут всех при серьезной опасности?».

Легко быть провидцем задним числом! Ведь сегодня мы доподлинно знаем, что спустя 4 года те же два приятеля на следствии в тюрьме «расколются», предадут и оговорят сотоварищей, едва не похоронив своей изменой все «движение». Насколько трудней было отыскать верное решение самим участникам той памятной встречи! Слишком многое приходилось учитывать и взвешивать. Начать с того, что хотя в диссидентском движении не существовало должностей и рангов, положение Якира и Красина было все же особым. Оба были политзэками — еще сталинских времен, вновь обретшими свободу только в годы хрущевской «оттепели». «Не мне судить Иова», — писал Илья Габай в посвященном Петру Якиру стихотворении. Что-то схожее чувствовали и члены ИГ, не считая себя, не сидевших, вправе сурово судить старых лагерников.

Но дело было даже не столько в этом. Еще весомей было ощущение долга перед друзьями, уже потерявшими свободу ради своих убеждений и еще вчера призывавших объединиться для противостояния беззакониям. Это было — как выполнение завещания. И речь тут идет в первую очередь о Петре Григоренко.

Как все на свете, ИГ имела свою предысторию. Я не был ее непосредственным свидетелем, но знаю о ней по многим рассказам.

Группа возникла не вдруг и не на пустом месте. Идея некоего объединения для противостояния произволу советских властей носилась в воздухе. Ее горячим сторонником был П. Григоренко. Еще ранней весной 1969-го он предлагал создать Комитет защиты недавно арестованного в Латвийской ССР коммуниста-диссидента Ивана

Яхимовича. Желательность такого объединения обсуждалась неоднократно, — и у самого Петра Григорьевича, и на квартирах других диссидентов. В этих обсуждениях участвовали многие из будущих членов ИГ. Твердыми сторонниками такого объединения, кроме самого Григоренко, были Анатолий Якобсон и Юлиус Телесин. Но были и противники. Стоит отметить, что Якир и Красин в то время были против создания такой организации. Дело временно застопорилось. Но Петр Григорьевич не оставлял усилий для его осуществления.

Разумеется, КГБ знал об этих планах. И всячески стремился воспрепятствовать им. Быть может, арест П. Григоренко, основного сторонника создания ИГ, был упреждающим ударом КГБ, желавшего предотвратить создание организации. Но как часто даже все просчитывающие умники не видят дальше собственного носа и не способны предугадать ближайших последствий своих действий!

Результатом ареста Петра Григоренко стало рождение Инициативной группы.

Авантюрное провозглашение насильно вытолкнуло ИГ на свет и стало ее первым испытанием на жизнестойкость. Обман мог обойтись очень дорого. Он был способен не только повредить репутации группы, но и дать властям и КГБ удобный повод для шантажа. Многообещающее начинание легко могло закончиться немедленным и позорным крахом.

Поэтому, решившись разделить ответственность и удочерить новорожденную, члены ИГ договорились не разглашать до поры сомнительных обстоятельств ее появления.

Признаемся сегодня: ИГ явилась на свет незаконнорожденной. Но что из того?! Несмотря на все преследования, начавшиеся буквально на следующий день, группа выжила, выстояла и выросла в нашу новейшую историю. А, следовательно, — победила. ИГ выпала трудная, но почетная и по-своему завидная участь: торить дорогу для тех, кто будет идти следом.

Именной указатель

А

- Абрамкин, Валерий 21, 52–56, 63, 65
- Авторханов, Абдурахман 273, 274
- Алейников, Андрей, полковник 223
- Алексеева, Людмила 64, 176, 180
- Алтан, Мубеин Бату 144
- Алтунян, Генрих 7, 21, 37, 38, 42, 43, 153, 170–172, (фото)
- Алтунян, Елена (фото)
- Алтунян, Римма 11, (фото)
- Альбаева, Зайтуна 291
- Альбрехт, Владимир (фото)
- Альтшулер, Борис 12, 23, 29
- Амальрик, Андрей 52, 303
- Аметов, Энвер 130, 133
- Андропов, Юрий Владимирович, председатель КГБ СССР (1967–1982 гг.) 36, 42, 54, 55, 137, 164
- Арутюнян, Эдуард 52
- Асанова, Зампира 133, (фото)
- Астауров, Б. Л., академик, цитогенетик 284

Б

- Бабицкая-Кейдан, Юлия (фото)
- Бабицкий, Константин 37
- Баев, Гомер 183
- Баева, Татьяна 37
- Балашов, Виктор (фото)
- Балашов, Гриша 213
- Бакланов, Олег, член ГКЧП 59
- Балога, Виктор 143
- Бекирова, Гульнара 11
- Беленко, Виктор 231, 232
- Белгородская, Ирина 249
- Березовский, Б., следователь прокуратуры Узбекской ССР 32, 33, 128, 132, 295, 300
- Берсенёв, Павел 9
- Берштам, М. 180
- Бирюзов, маршал 26
- Богачев, Виктор 237, 242, 254
- Богачев, Нина 235
- Богословская, Инна 144
- Боннэр, Елена (Люся) 11, 59, 135, 166, 180
- Бородай, Александр 14

Брежнев, Леонид 29, 30, 36, 37, 54,
130, 136, 155, 161, 162, 164, 181,
223–225

Брехт, Бертольд 293, 294

Буковский, Владимир 19, 232

В

Великанов, Кирилл (фото)

Великанова, Ксения 133

Великанова-Григоренко,
Мария (Маша), (фото)

Великанова, Наталья, (фото)

Великанова, Татьяна 21, 37, 58, 133,
169, (фото)

Владимов, Георгий 328

Врагов, А. Д., офицер КГБ 33, 34,
199, 214

Г

Габай, Илья 52, 133, 134, 319, 322

Гавел, Вацлав, президент респуб-
лики Чехия 64

Гавриленко 185

Галансков, Юрий 7, 52, 298, 314

Галич, Александр 59, 67, 82, 157,
227

Георгадзе, М. 136

Герцен 19, 21

Гершвид, Норман 168

Гершуни, Владимир 7, 21, 44, 49,
169

Гинзбург, Александр 7, 178, 180,
298, 314

Гиркин (он же Стрелков), Игорь 14

Глузман, Семён (Слава) 62, 166, 296,
298

Глушков, В. М., академик 79

Годунов, Борис, царь 8

Горбаль, Мыкола 225, (фото)

Горбаневская, Наталья 35, 37, 301

Горбачев, М. С. 36, 52, 55, 59, 180

Грибанов 213, 214

Григоренко, Александр 225, 227–
229, 231–234, 247, 251, 253,
255, 258, 259, 261, 263, 264,
366–298, 274, 277, 279, 295,
296, 299–302, 304–307, 309–
315, 318, 319, 321–323

Григоренко, Анатолий, (фото)

Григоренко, Андрей 16, 30, 33, 68,
76, 100, 110, 120, 186, 225, 233,
259, (фото)

Григоренко, Виктор, (фото)

Григоренко, Ганна (Агафья) 214–
219, 222, 224

Григоренко, Георгий (фото)

Григоренко, Зинаида 33, 36, 46, 66,
100, 138, 228, 229, 258, 271, 277,
284, 319, (фото)

Григоренко, Олег (фото)

Гримм, Юрий 7, 27, 28, 48, 51, 65,
83, 169, 324, (фото)

Гришин, В. 247

Громыко, А. 113

Гуревич, Евгений 241, 242

Д

Данилов-Данильян, Виктор Иванович, чл.-корр. РАН 276

Даниэль, Александр 12

Даниэль, Юлий 21

Делоне, Вадим 37

Детенгоф, Федор Федорович, врач-психиатр, профессор Ташкентского мединститута 163, 164, 166, 167, 299, 300

Джемилев, Мустафа 34, 43, 122, 128, 169, 180, 324, (фото)

Джемилев, Решат 37, 133, (фото)

Джемилева, Сафинар 43, (фото)

Джоунс, Барбара П. 168

Дзюба, Иван Михайлович 228

Добровольский, Алексей 7, 298

Донской, Владимир, священник 191, 192, 201–203

Дремлюга, Владимир 37, (фото)

Дубчек Александр, первый секретарь ЦК КПЧ периода «Пражской весны» 245, 277, 307

Е

Евтушенко, Евгений 284, 289 (фото)

Егорычев, Николай, первый секретарь Московского горкома КПСС (1962–1967) 157

Едаменко, Паша 86, 93, 107

Ельцин, Б. Н. 59

Емелькина, Надя 264, 271, 273

Есенин, Сергей 17, 289

Есенин-Вольпин, Александр 312

Ж

Желудков, Сергей Алексеевич священник, (фото)

Жуков, Георгий, маршалл 253

З

Захаров, Евгений 12

Зейтуллаев, Айдер 133

Злочевский, Яков, троцкист 218–220

Зимин, Дмитрий 12

Зосимов, летчик 231, 232

Зубкова, Анна 9

Зуев, Иван 9

И

Иванова, Светлана 11

Ильясов, Дильшат 131

К

- Каллистратова, Софья Васильевна
59, 165, 166, 184, 185, 295–301
- Кантемирова, Ирина 12
- Капица, П. Л., академик, физик 270
- Каплун, Ирина 267, 269
- Карасик-Недобора, Софья (фото)
- Карпачева, Нина 141, 142
- Кац-Кушева-Зорина, Людмила
(фото)
- Кашлев, Юрий 176
- Квачевская-Бабич, Джемма 11
- Ким, Юлий 7, 162
- Киселев, Юрий 48, 141
- Киссинджер, Генри 137
- Кляйн, Эдуард (фото)
- Ковалёв, Иван 54, 59
- Ковалёв, Сергей Адамович 24, 35,
59, 145, 149, 150, (фото)
- Ковалевский, Владимир 65
- Коган, Е. Б. 165, 299, 300, 306
- Козловский, Владимир (фото)
- Койнаш, Галина 68
- Колб, Лоуренс С. 168
- Копелев, Лев 9, 169
- Копелева, Елена 11
- Коржавин, Наум 186, 187
- Корхова, Инна 37
- Корчак, Александр 180
- Косиор, Станислав 196, 216, 218, 219
- Костава Мераб 52, 169
- Костерин, Алексей Евграфович 9,
35, 49, 50, 71, 72, 123, 128, 138,
162, 163, 170, 171, 186, 236, 256,
304, 305, 308–310
- Костерина, Вера Ивановна 9, 49,
50, 71, 123, 124, 138, 163, 170,
171, 186, 234, 256, 308, 310
- Косыгин Н. А., председатель Совета
министров СССР 29, 40
- Кочетов, Всеволод 211
- Красин, Виктор 34, 35, 129, 172,
264, 267, 269, 372, 304, 306–308,
311–314, 320–323
- Кривин, Феликс 1
- Крылов, маршал 38
- Крючков, Владимир, председатель
КГБ СССР в 1988–1991, 59
- Кукк, Юри 52

Л

- Лавут, Александр 35, (фото)
- Ланда, Мальва 21, 65, 180
- Лапин, Владимир 34
- Лашкова, Вера 7
- Леви, Владимир 12
- Левитин-Краснов, Анатолий 9,
(фото)
- Леличенко, Николай, министр 209,
220, 221
- Леман, Михаил 37

Ленин, В. И., 114, 274, 289, 310
 Леонтович, М. А., академик,
 физик 270
 Лермонтов, М. Ю., 248, 269, 289
 Леусенко, Иван 9
 Литвинов, Павел 11, 35, 37, 161, 169,
 304, 306, 307, 311, 313, (фото)
 Литвинова, Мая 11
 Лифшиц, Давид (фото)
 Лопухин, Михаил Михайлович 23
 Лосев К. С.
 Лукашевский, Сергей 12
 Лукьяненко, Левко 135, 141, 142
 Лунц, Д. Р., врач-психиатр, про-
 фессор ин-та им. Сербского 24,
 163, 166–168, 299, 300
 Любимов, Юрий 294
 Люксембург, Роза 289

М

Малиновский Р. Я., министр
 обороны 24, 40
 Мальцева, М. М. 163
 Мануйлов, Иван 9
 Маринович, Мирослав 135, 227
 Марченко, Анатолий 7, 22, 52, 55, 56,
 64, 135, 180, 228, 304, 305, 311
 Мاستинская, Сима (фото)
 Матусевич, Мыкола 227
 Медведев, Жорес 311
 Медведев, Рой 171, 172, 311

Мерзликин, Иван 213, 214
 Мехлис, Л. З., генерал-полковник
 154, 223
 Микоян, А. И., председатель Пре-
 зидиума Верховного Совета
 СССР 162, 163
 Мильштейн, Илья 36, 64
 Монахов, Николай, адвокат 184,
 185
 Морозов, В. М. 163, 167
 Морозов, Г. В., врач-психиатр, ака-
 демик, директор ин-та им. Серб-
 ского 63, 64, 67, 163, 167

Н

Недобра, Владислав (фото)
 Некипелов, Виктор 47, 49, 52, 169
 Некрич, Александр 252

О

Орлов, Юрий 9, 11, 135, 169, 174,
 180, (фото)
 Орлова, Мария 9, 11
 Осипова-Ковалёва, Татьяна (фото)

П

Пастернак, Борис 157, 289
 Петровский, Леонид 32, 33
 Печененко, Савва (Савелий) 9
 Пиотровская, Анна 12

Плющ, Леонид 77, 169, 178, (фото)
Подольский, Семен (фото)
Подрабинек, Александр 48, 169
Подъяпольский, Григорий 58, 133,
(фото)
Полянов, следователь Московской
прокуратуры 313, 314
Поляновский, Эдвин 19, 324
Померанц, Григорий 7
Пуго, Борис, министр внутренних
дел СССР (1990–1991), 59
Путин, Владимир 13, 231
Путман, Джеймс Д. 168
Пушкин, Александр 31, 32, 48, 233,
289, 290, 298
Пышков, Николай (фото)

Р

Рапп, Ирина (фото)
Райх Уортер 168
Резник, Генри 38
Рейган, Рональд 138, 197
Рейф, Игорь 11, 20, 38, 117, 235,
254, 259, 276, 291
Рубин, Виталий 180
Руденко, Мыкола (Микола) 11, 135,
169, 227, 228, (фото)
Руденко, Раиса 11
Русаковская, Майя 37
Русначенко, Анатолий, историк 225

Руцкой, Александр, вице-прези-
дент РФ (1991–1993) 59
Рыбалко, военачальник 217
Рязанов, партийный функционер
215

С

Савенко, Юрий 63
Сахаров, Андрей Дмитриевич,
академик, физик, нобелевский
лауреат 7, 38, 39, 48, 49, 58, 60,
125, 127, 169, 177, 179, 182, 231,
245, 246, 248, 249, 252, 257, 267,
268, 275, 278, 303, (фото)
Светлична, Надия (фото)
Сердюк, зам. председателя парт-
комиссии ЦК КПСС 26, 211
Серебров, Феликс 26
Синявский, Андрей Донатович 21,
160, 238
Скорик, Олексий 12
Славгородская, А. М. 165
Славский, Ефим 268
Слуцкого, Борис 241
Смирнов, Алексей 19, 47, 49, 50,
54, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 163,
234, 291
Смирнов, С. С. 19, 47, 49, 50, 52, 54,
55, 57, 58, 62, 64, 65, 163, 234,
235

Снежневский, А. В., психиатр, действительный член АМН СССР 44, 63

Солженицын, Александр Исаевич, писатель, нобелевский лауреат 21, 125, 127, 177, 238, 239, 249, 256, 274, 282, 311

Сталин, И. В. 154, 155, 161, 190, 195–198, 239, 274, 310

Старчик, Петр 39

Стокотельный, Павло (фото)

Стоун, Алан А. 168

Стус, Василь 52, 227, 228

Суперфин, Габриэль 35

Суслов, М. А. 27

Т

Табачник, Дмитрий 144

Тальце, Маргарита Феликсовна, врач-психиатр 27, 62, 115

Телесин, Юлиус 324

Теллер, Эдвард 175

Тендряков, Владимир 248

Терновская, Людмила 11

Терновский, Леонард 169, 317

Тесла, Василь 9

Тимофеев, Лев 55, 167

Тимошенко, Ю. В. 141

Топчиев 218

Трифонов, Юрий 248

Троцкий, Л. Д. 218, 219

Турова, З. Г. 166

Турчин, Валентин 258, (фото)

Турчин, Татьяна (фото)

У

Улановская, Майя 251, 252

Улицкая, Людмила 12

Умеров, Ильми 140

Ф

Файнберг, Виктор 37

Фаллада, Ганс 237

Федоров, Юрий (фото)

Фрунзе, М. В. 23, 26, 65, 66

Фурасов, Михаил 52, 55, 56

Фурман, Владлен 241

Х

Хасбулатов, Руслан, председатель ВС РФ (1991–1993), 59

Хаген, Марк Вон (фото)

Харнас, Александр 57, (фото)

Хасянов, Борис 116, 120

Хаустов, Виктор 7, 298

Ходорович, Сергей 54, 55

Ходорович, Татьяна 133, 169, (фото)

Холапов, Ибрагим 133

Хрущев, Никита Сергеевич *40, 93, 156, 164, 167, 224, 238, 239, 240, 253*

Ц

Цукерман, Борис *9, 43, 161, 312*

Ч

Чалидзе, Валерий *221, 274, 311, 312*

Чердынцев, Иван *65*

Черненко, Моисей (Митя) *9, 54*

Черных, Борис Иванович *55*

Чубаров, Рефат *142*

Ш

Шафаревич, Игорь *81, 178*

Шевченко, Тарас *2, 77, 81, 225*

Шевчук, Юрий, профессор (фото)

Шиханович, Юрий *35*

Шлепотин, Юрий *65*

Штейнберг, Зинаида (Зельда) *9*

Шукшин, Василий *51*

Щ

Щаранский, Анатолий *180*

Шахсуаров, Виктор (фото)

Щекотова, Инна Андреевна *278*

Э

Эльбаум, Марк (фото)

Эренбург, Илья *86*

Эфроимсон, В. П., генетик *284*

Ю

Юртер, Фикрет *136*, (фото)

Ющенко, Виктор, президент республики Украина *142*

Я

Якир, Петр *34, 35, 38, 40, 43, 48, 58, 129, 169, 170, 172, 248, 249, 250, 266–268, 270, 272, 304, 306, 307, 311, 313, 320–324*

Якобсон, Анатолий *52, 251, 252, 324*, (фото)

Янукович, Виктор *12, 13*

Ярым-Агаев, Юрий (фото)

Яхимович, Иван *295–298, 301, 305, 310, 311, 323, 324*

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

От составителя 5

ВЗГЛЯД ИЗ ДАЛЕКА

Эдвин Поляновский.

Мятежный генерал..... 19

Галина Койнаш.

А сумасшедший говорил,
что два плюс два равно четырём 68

ПО ГРАНИ ОСТРОЙ

Леонид Плющ.

Человек судьбы..... 77

Юрий Гримм.

Пациент «Сербского» 83

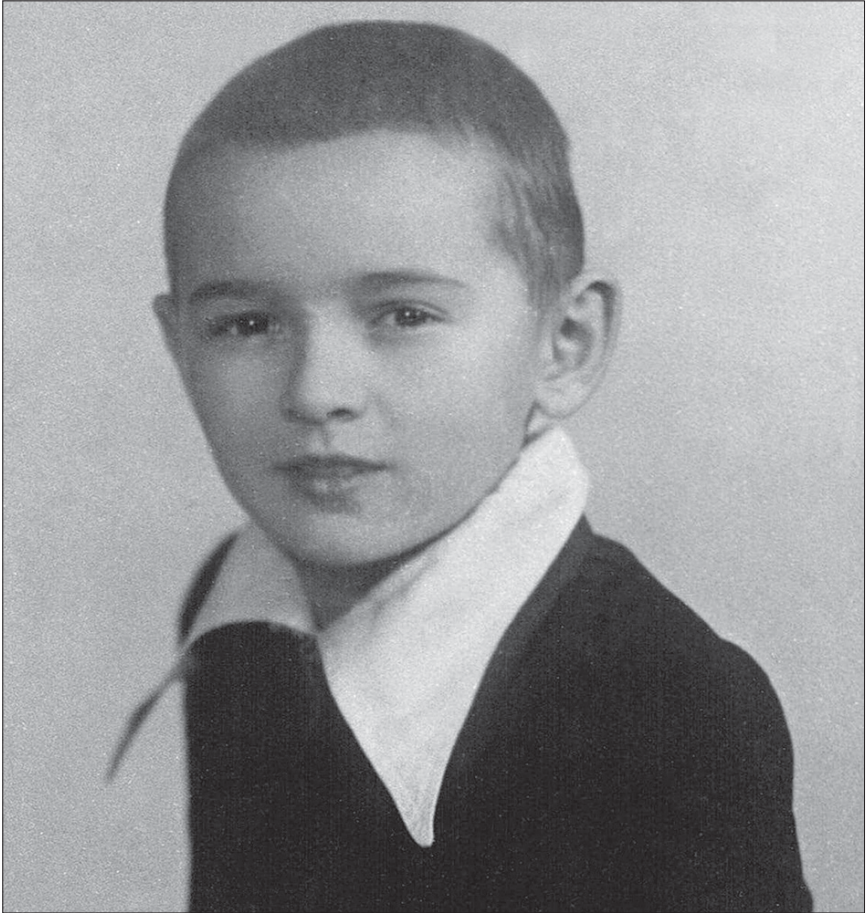
Мустафа Джемилев.

«Он был более чем другом
для крымскотатарского народа» 122

Сергей Ковалёв.

Событием был он сам 145

<i>Генрих Алтунян.</i> Цена свободы.....	153
<i>Юрий Орлов.</i> Об отдельной роли П. Г. Григоренко в распаде Советской системы.....	174
<i>Гомер Баев.</i> Вспоминая Григоренко	183
<i>Наум Коржавин.</i> В защиту банальных истин.....	186
<i>Мыкола Горбаль.</i> Свой среди своих	225
<i>Андрей Сахаров.</i> Из воспоминаний.....	231
<i>Игорь Рейф.</i> Каждый прозревает в одиночку.....	235
<i>София Каллистратова.</i> О «Деле» П. Григоренко, И. Яхимовича и др.	295
<i>Андрей Амальрик.</i> Я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским.....	303
<i>Леонард Терновский.</i> Как все на свете, ИГ имела свою предысторию.....	317
Именной указатель.....	325



Андрей Григоренко. 1953 год



*Зинаида и Петро Григоренко с сыновьями:
Анатолием, Олегом, Георгием, Виктором и Андреем. 1954 год*



Дальний Восток. Петро Григоренко с группой офицеров. 1962 год



*Петро и Зинаида Григоренко, Наталья Великанова,
о. Сергей Желудков, Андрей Сахаров. 1969 год*



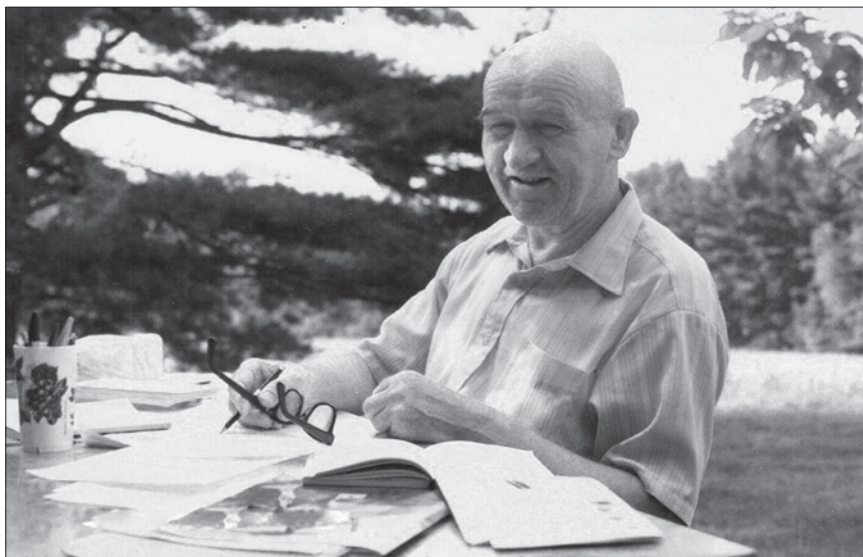
Задержание Анатолия Яковсона на Красной площади в Москве 21 декабря 1969 года



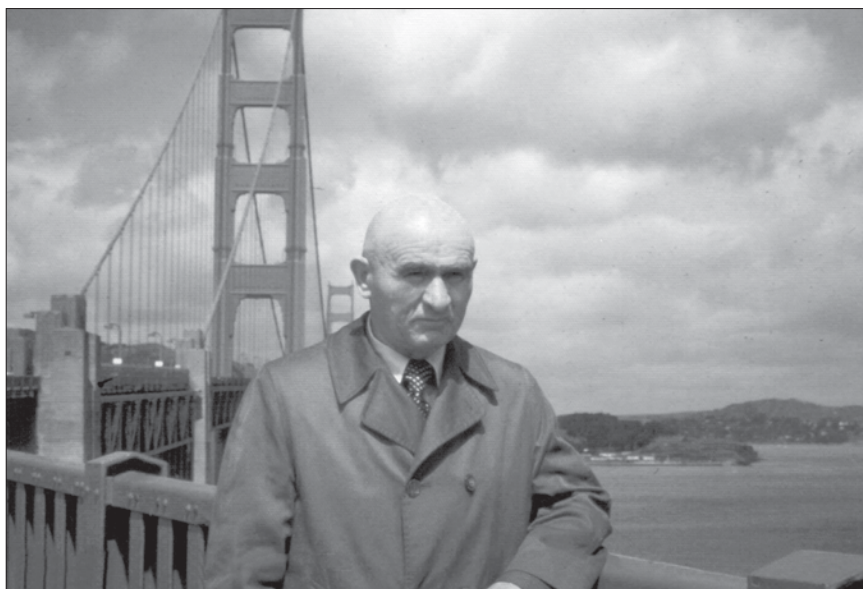
*ИГ: Сергей Ковалёв, Татьяна Ходорович, Татьяна Великанова,
Григорий Подъяпольский, Анатолий Левитин-Краснов
и «поддержавший» Андрей Григоренко.
1974 год*



*Мария (Маша) Великанова-Григоренко, Петро, Зинаида,
Олег и Андрей Григоренко. 1978 год*



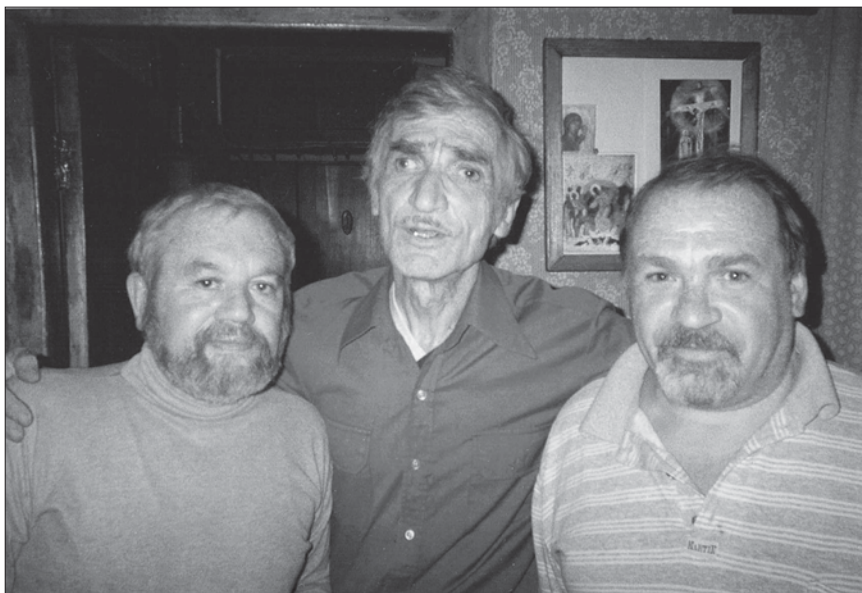
*Петро Григоренко во время работы над книгой воспоминаний
Верховина, Глен Спей, Нью-Йорк. 1978 год*



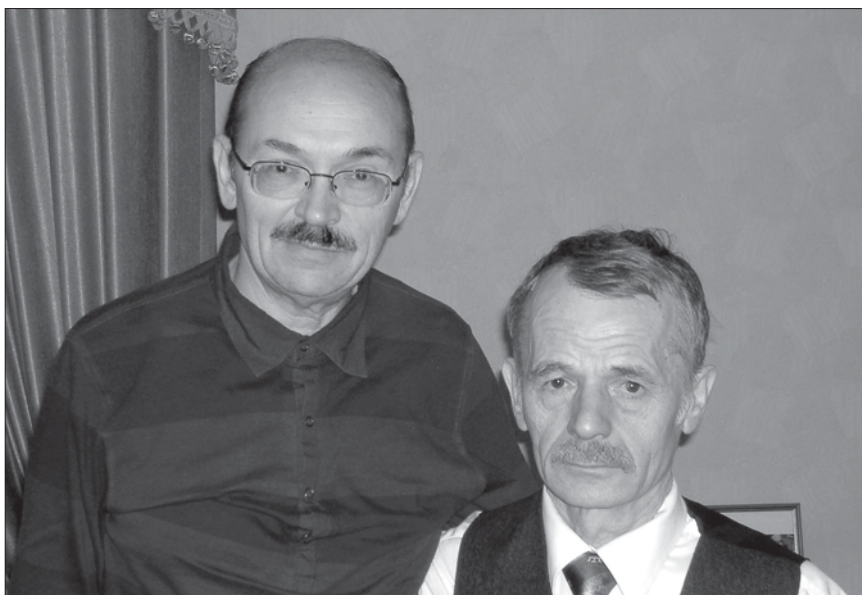
Петро Григоренко на мосту Голден Гэйт, Сан Франциско, Калифорния. 1978 год



*Три Мушкетёра: Мустафа Джемилев, Микола Горбаль,
Андрей Григоренко, Сафинар Джемилева, Генрих Алтунян.
1997 год*



Александр Харнас, Юрий Гримм, Николай Пышков. 1997 год



Андрей Григоренко и Мустафа Абдулджемиль (Джемилев). 1997 год



*Первые Григоренковские Читения
в Научном Обществе Тараса Шевченко в Нью-Йорке.
Слева на право: Фикрет Юртер, Павло Стокотельный, Надия Светлична,
Марк Эльбаум, Андрей Григоренко, Виктор Шахсуаров.
2001 год*



*Татьяна Осипова-Ковалёва и Юрий Ярым-Агаев.
2005 год*



*Юрий Орлов.
2005 год*



*Павел Литвинов и Людмила Кац-Кушева-Зорина.
2005 год*



*Виктор Балашов и Владимир Козловский.
2005 год*



*Владимир Альбрехт.
2005 год*



*Елена (Люся) Боннэр.
2005 год*



*Владимир Дремлюга.
2005 год*



*Юрий Федоров и Эдуард Кляйн.
Нью-Йорк, 2006 год*



*Профессор Марк Вон Хаген.
Шестые Григоренковские Чтения в Колумбийском Университете.
Нью-Йорк, 2006 год*



*Павел Литвинов и профессор Юрий Шевчук.
Шестые Григоренковские Чтения в Колумбийском Университете.
Нью-Йорк, 2006 год*



*Валентин и Татьяна Турчин.
Нью-Йорк, 2006 год*



*Андрей Григоренко, Софья Карасик-Недобра, Римма Алтунян,
Владислав Недбора, Ирина Рапп и Давид Лифшиц.
2007 год*



*Андрей Григоренко, Софья Карасик-Недбора, Римма Алтунян,
Владислав Недбора, Ирина Рапп, Елена Алтунян.
2007 год*



*Софья Карасик-Недобра и Андрей Григоренко.
2007 год*



*Семен Подольский, Ирина Рапн, Андрей Григоренко,
Софья Карасик-Недобра, Владислав Недобра. Мемориал Жертв тоталитаризма.
Харьков, 2007 год*



*Андрей Григоренко. Мемориал Жертв тоталитаризма.
Харьков, 2007 год*



*Леонид Плюц, Мустафа Абдулджемиль (Джемилев) и Андрей Григоренко
около памятника Михайлу Грушевскому в Киеве.
2007 год*



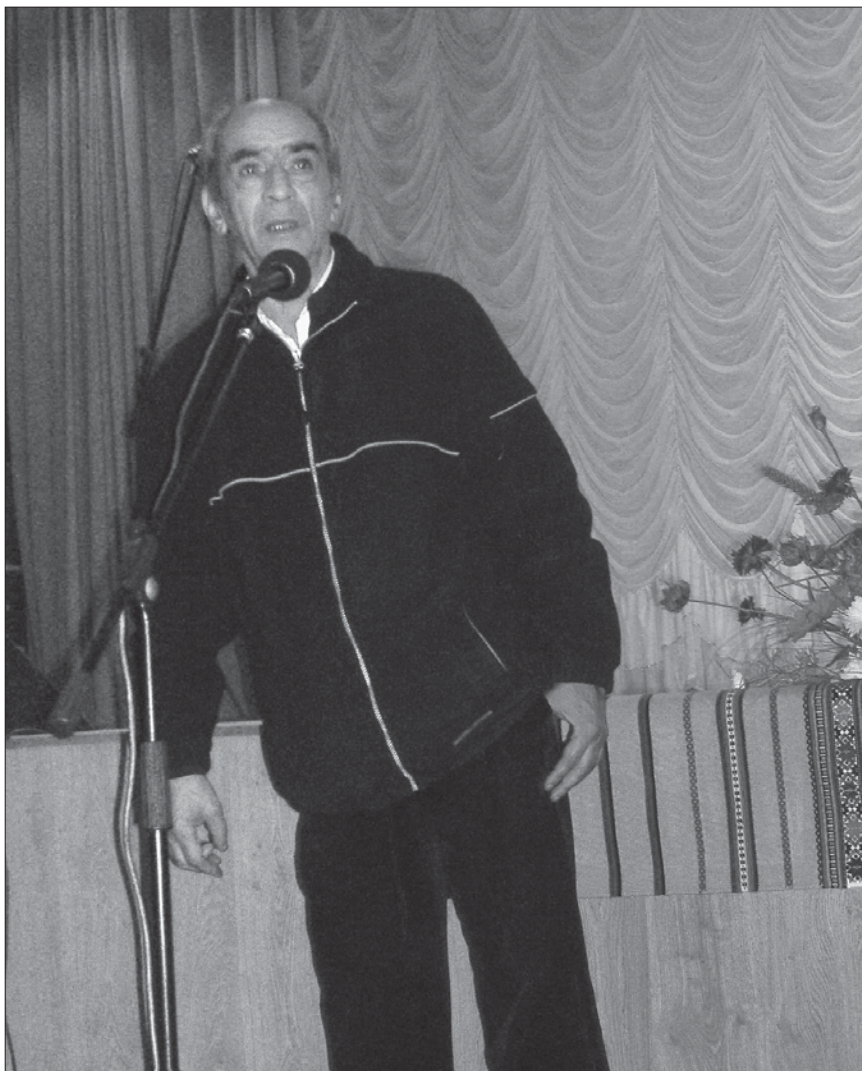
*Леонид Плюц и Мустафа Абдулджемиль (Джемилев).
Киев, 2007 год*



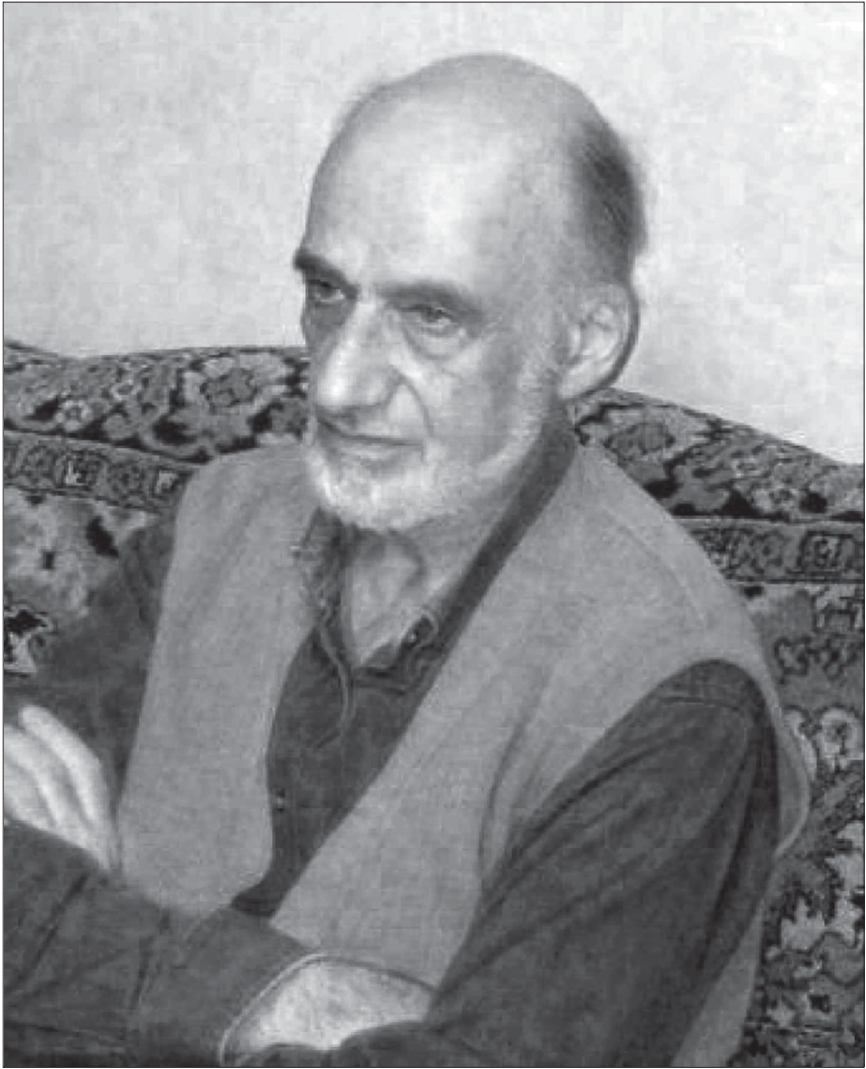
*Торжественное заседание по случаю столетнего юбилея Петра Григоренко.
Акъмесджит (Симферополь), 2007 год*



*Замтира Асанова.
Акѓмесджит (Симферополь), 2007 год*



*Леонид Плющ выступает на торжественном заседании
по случаю столетнего юбилея Петра Григоренко.
Киев, 2007 год*



*Игорь Рейф.
2010 год*



*Александр Лавут и Сима Мاستинская.
Москва, 2011 год*



*Юлия Бабицкая-Кейдан (младшая дочь Константина Бабицкого и Татьяны Великановой),
Мери (Маша) Великанова-Григоренко, Кирилл Великанов.
Москва, 2011 год*

У книгу включені вибрані спогади різних людей про одну з центральних фігур руху за права людини в неіснуючому більше СРСР. Це — ветеран Другої світової війни, генерал, громадський діяч, правозахисник і публіцист Петро Григорович Григоренко (1907–1987). Покійний генерал отримав широку міжнародну популярність у другій половині ХХ століття, став єдиним радянським генералом, позбавленим радянського громадянства і найбільш відомим у світі українським патріотом. Його діяльність і публіцистика залишаються багато в чому актуальними і сьогодні.

Літературно-художнє видання

**ЛЮДИНА,
КОТРА НЕ ЗМОГЛА МОВЧАТИ...**

*Сучасники про видатного борця за Права Людини
генерала Петра Григоренка*

(У двох частинах)

Частина перша

(російською мовою)

ISBN 617-7266-17-3



Відповідальний за випуск *Є. Ю. Захаров*
Редактор *А. П. Григоренко*
Коректори: *І. Б. Захарова, І. Ю. Рапп*
Комп'ютерна верстка *О. А. Мірошниченко*

Підписано до друку 27.05.2015
Формат 60×84 1/16, Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Умов. друк. арк. 19,53. Облік.-вид. арк. 15,60
Наклад 1000 прим. Зам. № ПЛ-05/15

ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА»
61002, Харків, а/с 10430
<http://khpg.org>
<http://library.khpg.org>

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.